В. КАРДИН

МИНУТА ПРОБУЖДЕНЬЯ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Герой повести «Минута пробужденья» — декабрист Александр Бестужев, офицер-гвардеец, писатель, критик, соиздатель журнала «Полярная звезда». Он вывел на Петровскую площадь в декабре 1825 г. один из восставших полков. Из каземата Петропавловской крепости отправил Николаю I письмо, обличающее самодержавие. Сослан рядовым на Кавказ. Ему было запрещено печататься под собственной фамилией, и он вскоре прославился как Марлинский. Легенды окружали жизнь и таинственную смерть революционера, опального писателя.

- Часть первая
- Часть вторая
- Вместо эпилога
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27

- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42

Часть первая

Нас было пять братьев…»

1

Когда свеча догорит, наступит утро.

Пока что — фитиль тихо потрескивает, язычок тянется к дрожащим отсветам на лепном потолке. Воск беглыми слезинками скатывается в медную чашечку шандала.

Рядом второй подсвечник — со щитком от ветра, с изогнутой ручкой. Без него не обойтись, идучи ночью от главного здания через булыжный двор к флигелю, поднимаясь по деревянным ступеням…

* * *

Смотрящие на Мойку окна в первом этаже здания светятся допоздна. Они гаснут, и задумчиво притоптывающие на морозе тени — одна в шинельке с облезшим лисьим воротником, вторая в нагольном тулупе — исчезают. Не менее чудесно возникают они — возможно, другие, очень похожие, — с первым светом, зажелтевшим в утренних окнах. Выгнутые чугунные решетки между рамами защищают от воров, но не от созерцателей, облюбовавших этот угол у Синего моста.

Окна же дворового флигеля, позади дома Российско-американской торговой компании, в лепешку расшибись, с улицы не увидишь. Когда они гаснут, когда пробуждаются, ведомо лишь господу богу.

Установлено, что никто в округе не изводит столько свечей, сколько обитатели этого дома. Купит прислуга пуд, два сальных монастырских свечей — а назавтра опять пуд. Правда, выяснили: хозяева и гости ставят зажженную свечку на круглый стол о трех ногах и норовят срубить ударом кинжала.

Ничего предосудительного в такой забаве не усмотрено, она вполне приличествует господам офицерам и статским, благо бессмысленна и, следовательно, никому ничем не угрожает. Граф Милорадович, военный генерал-губернатор Петербурга, добродушно посмеялся, когда ему о том доложили («Я же говорил: сущая безделица, бурление фантазии…»). Он пошевелил холеными пальцами, как бы давая представление о безобидной

игре и досужем воображении. Однако наблюдение не велел снимать, добавив насчет графа Аракчеева: им установлено, за ним и слово. Не та уже сила у Аракчеева, потому Милорадович, посмеиваясь, присовокупил, что достаточно обычных аргусовых очей: не упускать, кто наносит визиты, невзначай обмолвиться словом с кучером, слугами… Давая наставления, здоровенный, горбоносый Милорадович брезгливо морщился. Он славился как боевой генерал, гарцевавший под картечью; осколок сносил султан — граф закуривал трубку. Став генерал-губернатором столицы, Милорадович затевал фейерверки, гуляния, сорил деньгами, своими и казенными, не видя между ними разницы, покровительствовал театру, был поклонником балета и танцорок, держал открытый дом, где на стенах висели полотна Тициана, Сальваторе Розы, Верне, планы города, «сладострастные картины», клетки с птицами, где на столах разбросаны были трубки, янтарные мундштуки, высились холмы никогда не читаных книг. Он имел отдаленные понятия о законах и собственных обязанностях, к своим полицейским функциям относился слегка конфузясь. Но и не вовсе беззаботно.

Статские и офицеры, невинно развлекавшиеся вокруг трехногого стола, знали о Милорадовиче, его повадках и слабостях, о соглядатайстве куда больше, нежели он знал о них, забавлявшихся.

Это знание не мешало жителю флигеля уноситься мечтой в далеко мерцающее прошлое, возвращаться назад, при слабых отблесках свечи исписывать листы, посыпать их песком и отбрасывать, не слыша легкого хруста добротной бумаги. С разбега останавливаясь, он грыз перо, словно взмыленный копь удила.

Писал он, опершись спиной о подушки и подвинув крышку красного дерева, которая при посредстве механического устройства выдвигалась из конторки работы великого умельца — мебельщика Гамбса. Ее изготовили, удовлетворив все прихоти заказчика.

С нежного возраста тянулась эта привычка, с милых дней, когда мальчиком читал и рисовал, не покидая софы. Еще любил он вскарабкаться в вольтеровское кресло, листать альбомы гравюр. Он и сейчас в дружеской компании забирался с ногами на сиденье, и нередко кто-нибудь, дурачась, опрокидывал стул сзади…

Трепетное пламя мерцало на инкрустированной крышке конторки, на тронутой зеленью литой ножке подсвечника, освещало трубку с прокуренным до черноты мундштуком, стопку бумаги, лежавшей поверх журналов и небрежно сложенных газет.

Рисунок на ковре, полоски на обоях и в тон им полосы на штофных шторах были так же слабо различимы, как миниатюры на степе, сафьяновые корешки книг в полках. Ширма, отгораживающая туалетный столик, изразцовая печь тонули в полумраке.

Он дорожил тишиной и ясностью рассветных часов. Успеть, побольше успеть, покуда на светлеющих шторах не выступило распятие оконного переплета. Человек общительный, он остро испытывал чувство корпоративности в эти уединенные часы. За стеной, если напрячь слух, чихает Сомов (насморк у него начинается осенью и излечивается к концу мая).

Орест Михайлович в халате давно сидит за письменным столом, заваленным книгами, рукописями, корректурными оттисками, среди такого ералаша, в каком черт сломает ногу.

В кабинете на первом этаже Российско-американской компании Кондратий Рылеев, только-только оправившийся от воспаления горла, давшего жабу, обернув пушистым шарфом тонкую шею, склонился над удаленным от окна секретером.

В особняках на Мойке и Фонтанке, на Миллионной, на Английской набережной, на Невском сквозь стылую зимнюю темень одиноко мерцают ранние окна. Среди них и такие, что зажжены отнюдь не житейской необходимостью: отправиться к должности, явиться в присутствие, на дежурство. Здесь — другое, своего рода вызов. Нам дарована привилегия позднего пробуждения, внушено: чем позже, тем аристократичнее. Мы ее отвергаем, дорожим днем, начинающимся затемно. Как у наших соотечественников в деревнях и селах, в каменных казармах и бараках.

Они ничуть не отказывались от балов, званых обедов, вечеров, карнавалов, от бурных застолий в ресторации Доменика, от нескончаемых — в табачном дыму — словопрений, от ночных шалостей. Все это по-прежнему входило в их уплотнившуюся теперь жизнь, и потому требовалось немалое напряжение, дабы, соответствуя обретенным символам веры, встать одновременно со слугами.

Рано поднявшиеся молодые петербуржцы, торопясь, посвящали утреннее уединение всевозможным наукам, сочинению повестей, стихов, а также государственных прожектов, чтению серьезных книг. Просвещение стало совместной целью и личной надобностью, жажда учености не ведала насыщения. Они поклонялись наукам, веря, что образование обновит отечество и отворит его подданным врата в царство справедливости и свободы.

О том и писал сейчас человек во флигеле, укрытом громадой

дома Российско-американской компании. Он пробудился без чьих-либо напоминаний, без зевоты, мгновенно сбросив полудрему. Постепенность вообще была чужда его складу, он стоял за принцип «вдруг и сразу». Нужное слово всегда под рукой, как острая сабля у исправного офицера. Мысль, не топчась на месте, должна обретать свое развитие. Дорога картина, рожденная фантазией, но пусть сменяется новой, та уступит место следующей. Жизнь красна постоянными переменами. Их тем больше, чем раньше начинается день.

Папенька, поднимавшийся с петухами, повторял: «Morgenstunde hat Gold im Munde»[1]. Золотые слова!

Однако почему отец внушал своим отпрыскам эту мудрость по-немецки? Она не менее убедительна в русском звучании: «Кто рано встает, тому и бог дает». Нет торгашеского привкуса, есть авторитет небесной власти.

В таком направлении, отстаивая русские начала, движется и пиеса, которой он сегодня занят. Кстати, новый герой Пушкина — мсье Онегин склонен следовать по стопам отцов, лишь обновив, в соответствии с модой, свой костюм и манеры.

Отцы помышляли европеизировать Россию, обрядив ее в одежду с чужого плеча, внушали идеи, рожденные в западных умах. Увлеченные обычаями и мыслями, что вызрели под черепицей немецких городов и в библиотеках вольтериянцев, они не замечали русского гения.

До чего стойкое поветрие! Война 1812 года, одушевив народ и армию России, и та не осилила его до конца. Не напрасно сетовал молодой стихотворец: «…рукою победя, мы рабствуем умами, клянем французов мы французскими словами».

Недавно почивший в бозе император Александр, избавитель Европы от Наполеона, плюнул в лицо солдату, коему обязан своими лаврами. Каждый русский, по его высочайшему изречению, — или плут или дурак…

О немецком засилье при дворе лучше умолчать. По поводу галломании выразимся, соотнеся ее с литературой… Что-то в этом духе недавно им написано.

В ящике конторки нашарил книгу, отыскал подчеркнутое место.

«Мы всосали с молоком безнародность и удивление только к чужому. Измеряя свои произведения исполинскою мерою чужих гениев, нам свысока видится своя малость еще меньшею, и это чувство, не согретое народной гордостью, вместо того, чтобы возбудить рвение сотворить то, чего у нас нет, старается унизить даже и то, что есть…»

Патриотическая боль, но и почитание чужестранных

дарований. Отечественные тоже на виду. Пламенные глаголы о «Бахчисарайском фонтане» и «Цыганах», высочайших точках поэзии. Высочайших. Ergo, и остережение. Куда поместить «Онегина»? Поэма набирает силу. Но устремление Пушкина к бытовым мелочам истинно тревожит.

Об этом, однако, — письмом в Михайловское, к опальному поэту. Разумнее, впрочем, не письмом, — прежде чем попасть к неугодному для властей адресату, в чьи только лапы оно не попадет, чей враждебный глаз не скользнет по строчкам. Хороша бы с Пушкиным чистосердечная беседа за бокалом шампанского. Почему бы нет? Ведь зван. И не однажды. Не однажды воображали с Рылеевым это свидание…

Утренняя тишина вводит в обман и в искушение; сами собой строятся воздушные замки. Живем, однако, на грешной земле; куда ни глянь — полосатые будки, опущенные шлагбаумы, унылые аргусы.

В дневном свете пробежать наброски. Неспешно сообщить окончательную форму, обогнуть подводные рифы, одолеть сложности, уготованные самой судьбой. Об одной из них упоминал тот же «Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 годов». Строкой выше слов о «безнародности»: «мы воспитаны иноземцами». Это и о самом себе.

Если быть точным, его и брата Николая образование справедливо числить русско-французским. Благодаря папеньке — человеку независимых суждений, верной любви к отечеству, к искусствам и наукам. Но и он не был свободен от тенет своего века, нередко (все-таки реже других) взирал окрест сквозь чужеземные очки. Диво ли, что сыновья, ратуя за русскую речь и русский обычай, начиная письмо на родном языке, невзначай сбивались на французский. Иные сверстники терялись, норовя поверить бумаге свои патриотические мысли по-русски. Да и мысли, ежели вникнуть, не столько о вызволении национального духа, сколько об общественном вызволении людей.

Тут-то и зарыта собака, тут — держи ушки на макушке, чтобы цензор видел: автор печется об отечественной словесности, упрочении православия, чистоте христовой веры. И только.

Он отложил изгрызенное перо, потянулся, поднял подсвечник. Две страницы соскользнули на паркет.

Окно все так же темно. На слабо колеблемой ткани играют отблески. Не оконная штора, но парус на ветру, стяг на древке, чадра, скрывающая юный лик, языки неистового пламени, облака, бегущие за горизонт… До чего он это любит! Созерцать умиротворяющую морскую зыбь, неохватную синь небес, ну хотя бы ткань, дрожащую в мерцании оплывшей свечи!

Не морская то безграничность, не небесная, не ткань, отмеренная аршином, — поле для умопомрачительной гонки, турнирное ристалище.

Кем выдуманы «муки сочинительства»! Какому неудачнику взбрело эдакое!

Он наделен счастьем искрометно расцвечивать слог, даже обращаясь к сухим философическим материям. Что же говорить про стихотворчество, про повести о гордом прошлом Руси, о свободолюбивом Новгороде, рыцарских поединках…

Однако страницам не место на полу.

Уверяют, будто волшебник Россини, чей «Севильский цирюльник» уже третий год срывает овации в Петербурге, наделен таким щедрым гением, что, когда листок с нотными знаками падает с дивана, сочиняет новую арию, не желая наклоняться в поисках потерянной.

Быть может, синьор Джоаккино Россини — великий ленивец, и, подобно нашему Крылову, ленив настолько, что не желает изменить позу и достать листок, не покидая постели? Достаточно ведь сесть на край ее, выпростать из-под пухового одеяла ногу, вытянуть, еще немного, еще. Вот один листок, вот второй.

Может, у гениального итальянца короткие ноги? Он же, Александр Бестужев, ростом не обижен, силушкой не обделен.

Бестужев лег на спину, сдвинул одеяло, задрал, не сгибая, обе ноги. Повторил упражнение, удовлетворенно постучал ладонью по твердому животу, по ребрам — жирок не завязался.

И тут же память отбросила его далеко назад.

Они лежат на обласканной солнцем траве, он и старший брат Николай. «Посчитаем, кто больше?» — затевает Николя.

Чего считать, Саша после трех упражнений бессильно раскинулся рядом. Николай, безразличный к его конфузу, снова и снова поднимает ноги, не сгибая их в коленях.

Состязание повторяется изо дня в день, покуда отец однажды не нарушает сыновью игру. Седая прядь падает на лоб Александра Федосеевича, шрам, стянувший щеку, сообщает улыбке загадочность.

Что есть соревновательство? — рассуждает Александр Федосеевич, ведя сыновей по аллейкам, окружающим дачу на Крестовском острове, не свойственно ли оно самой человеческой натуре? Из-за ранения, изуродовавшего челюсть, отец говорит медленно, повторяет иные слова.

Соревновательство, жажда состязаться сказываются в судьбах людей, наций и государств. Но как? Вопрос капитальный. Сколько жизней сгублено — фигурально и в истинном смысле — погоней за златом, состязанием между кошельками, стремлением

обогнать ближнего чином, званием, покровительством властей предержащих. Но есть и состязание умов, талантов, помыслов, направленных к общему благу.

Предмет близок Бестужеву-старшему, автору известного трактата «О воспитании», удостоившегося высочайшего одобрения. Правда, Александр еще ходил в цесаревичах, щеголял радикальными воззрениями, не скупился на посулы…

Однако каждая ли отцовская мысль внятна сейчас сыновьям?

Саша неизменно стремится первенствовать. Не далее как минувшим воскресеньем с меньшими братьями он плыл на лодке, вдруг прохудилось дно. Саша, сорвав с себя куртку, заткнул дыру, пригрозил бросить разревевшегося Петрушу за борт, коли не смолкнет, сел на весла и подгреб к берегу.

Родители были слишком взволнованы, чтобы сразу воздать Саше должное. Он же молча снес обиду. Сейчас отец восстанавливал справедливость.

Рассудительный Николай осторожно спросил папеньку: то, что стряслось в лодке, Сашины действия — тоже соревновательство?

Безусловно. Друзья избрали Сашу главарем, своим Ринальдо Ринальдини. Свободный выбор — результат сопоставления. Не так ли? Сопоставляя доблести, добродетели и — слабости, кому-то отдают пальму первенства. Такое соревновательство, такой выбор содействуют общему благу, открывают государству великие горизонты, вручая бразды правления достойнейшим… Да будет устремление к первенству свободным от корысти и суетного тщеславия, да не глушит чистое биение сердца…

Спустя несколько лет после нравоучений на Крестовском острове, в слабо освещенном дортуаре кадетского корпуса, после команды ко сну звенел ломкий голос Александра Бестужева: «Господа, продолжим состязание…» Тонкие мальчишеские ноги вздымаются над кроватями. «Раз, два, три, четыре…» Александр весело одерживает победу.

…Мысль об ободрении Бестужев развил в более зрелые времена, во «Взгляде на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 годов». Повернул, однако, ее по-своему: «Ободрение может оперить только обыкновенные дарования». Гении же — он воспользовался метафорой — в ободрении не нуждаются, как молния не просит людской помощи, чтобы вспыхнуть и реять в небе. Ободрения нет — и слава богу.

На это возразил Пушкин.

«Ободрения у нас нет — и слава богу! отчего же нет? Державин, Дмитриев были в ободрение сделаны министрами. Век Екатерины — век ободрений; от этого он еще не ниже другого.

Карамзин, кажется, ободрен; Жуковский не может жаловаться. Крылов также. Гнедич в тишине кабинета совершает свой подвиг; посмотрим, когда появится его Гомер. Из неободренных вижу только себя да Баратынского — и не говорю: слава богу! *Ободрение может оперить только обыкновенные дарования.* Не говорю об Августовом веке. Но Тасс и Ариост оставили в своих поэмах следы княжеского покровительства. Шекспир лучшие свои комедии написал по заказу Елизаветы. Мольер был камердинером Людовика; бессмертный Тартюф, плод самого сильного напряжения комического гения, обязан бытием своим заступничеству монарха; Вольтер *лучшую* свою поэму писал под покровительством Фридерика… Державину покровительствовали три царя — ты не то сказал, что хотел; я буду за тебя говорить».

О нет, говорить я буду сам за себя! Эту драгоценную привилегию не уступлю даже Пушкину. Потому на конторке теплится, истекая воском, утренняя свеча.

Ободрение делает зависимым. Зависимость незримыми путами вяжет крылья гению. Прошлый раз, в последнем «Взгляде», это сказано не совсем отчетливо. И Пушкин сразу уловил, сразу отозвался.

Бестужев снова пробежал письмо, дивясь точности, с какой Пушкин излагал любые воззрения. До того близок, что роднит даже несогласие, выраженное с доверительностью, сердечным «ты». Безошибочно схватил зерно бестужевского «Взгляда» и подхватил: «Все, что ты говоришь о нашем воспитании, о чужестранных и междуусобных (прелесть!) подражателях, — прекрасно, выражено сильно и с красноречием сердечным. Вообще, мысли в тебе кипят».

Сколь верно он ощутил это кипение мысли, заставляющее браться за перо, когда другие еще вкушают сладость утреннего сна.

Дружба, завязавшаяся в письмах, подразумевала согласие и спор. Однако в переписке, тем паче со ссыльным, не все выложишь. Поэтому Бестужев кое-что и домысливает.

«Ты достоин ее создать», — в том же письме обращался Пушкин к Бестужеву, рассуждая о критике. У Бестужева, однако, нет причин ограничивать свое будущее критикой и, внимая Пушкину, отказываться от *«быстрых* повестей».

…День начинался скрипом ворот в конюшне, гулкими ударами копыт о булыжник, руганью прислуги, уверенной, что господа ее не слышат, тюканьем топора, коловшего дрова. Сомов, не в силах сдержаться, зашелся в безостановочном чихании.

Размочалившееся перо — лень точить новое — летало над бумажным листом. Бестужев отдавался неизъяснимому восторгу.

В мускулистом теле свежесть, будто секунду назад из моря.

2

Свободу детей в поступках и влечениях Александр Федосеевич ставил выше всего. Для Саши — домашние называли его «прилежным» — она означала также невозбранный доступ к вместительному книжному шкафу отца.

Сашу занимали повести о благородных разбойниках, сказки о волшебствах, этнографические сочинения, альбомы с картинками, запечатлевшими калмыков, алеутов, самоедов. В загроможденном мебелью кабинете на высоких этажерках, под стеклом драгоценные коллекции: граненые камни, минералы, камеи, редкости из Геркуланума и Помпеи. Горный корпус (выбор одобрен родителем) — ворота в мир, начинавшийся экзотическим рисунком, причудливым изломом минерала.

Уйдя по ранению от армейской службы, Александр Федосеевич сблизился с меценатом Строгановым, президентом Академии художеств, вступил в должность правителя канцелярии при президенте. В доме Бестужевых обедают известные художники, сыновья берут уроки живописи у лучших профессоров.

Рисункам на страницах дневника юного кадета Горного корпуса удивляться нечего. Но почему дневник?

Откуда эпиграф, украшающий обложку: «Рука дерзкого откроет; другу я сам покажу»? Как соединялись скрытность и доверчивость, склонность к тайне и готовность исповедоваться?

Страсть записывать, еще каракулями, родилась одновременно с первым чтением. Я не хуже того, чья книга передо мною. Безотлагательно себя испытать. Нет чистого листа? Сгодятся выкройки сестер. Ничего не откладывать на завтра…

В кадетском классе не угасает дух соперничества. Месячные экзамены устанавливают первое место. Саша Бестужев ночей не спит, зубря таблицы, имена, схемы. Математические науки и немецкий язык взывают к трудолюбию. Но — математику побоку. Сочиняется пиеса «Очарованный лес» для кукольного театра в Горном корпусе. Автор един в четырех лицах: он же актер, декоратор и костюмер…

Ему прощали насмешки и любили за неистощимость выдумок.

«Итак, господа, наше состязание…» «Почтенная публика приглашается на спектакль…» «Мадам и месье, первый приз за успехи в инженерных науках — шарф цвета «innocence parfaite»,

второй — шарф цвета «doux sourise», третий — цвета «soupir etouffe» [2].

Блестяще закончивший Морской корпус брат Николай оставлен в нем воспитателем. Взяв Сашу в учебный рейс, он запретил ему лазить по мачтам, исполнять работу, доверяемую гардемаринам.

Саша предъявил ультиматум: либо его высадят, либо уравняют в правах с гардемаринами.

Николай вынужденно уступил. Александр натянул матросскую робу, широкие парусиновые брюки, заломил набекрень фуражку, подпоясался веревкой и побежал по рее крепить штык-болт.

Вскоре гардемарины величали его «стариком», то бишь сильным и бесстрашным кадетом, обладающим властью над ними.

К концу двухмесячного крейсирования вызрело: Горный корпус не по мне, да провалятся в тартарары эти шахты и штольни, заживо погребающие человека! Что на свете чудеснее моря! О нем Александр Бестужев сочинит роман, героем — папенька, раненный на палубе в бою со шведами…

Макет театра, занимавший половину Сашиного стола, снесен в амбар. Освобождается место для модели фрегата.

Расстаться с Горным корпусом, освоиться на учебной палубе, козырять флотскими словечками легче, нежели овладеть точными науками. Он страдальчески смотрит на сурово молчащего Николая — неужели и Колумб нуждался в этой цифири?

Он вслушивается в разговоры Николя с его другом Константином Петровичем Торсоном.

Торсон круглолиц, голубоглаз, русоволос; голосом тих, движения плавны. Не твердость бы тона, не Анна бы 3-и степени за храбрость, Саша счел бы его красной девицей. У Николая Бестужева неподатливость в складке тонких, как у отца, губ, твердые скулы обрамлены бакенбардами, ровная линия носа, доверчиво открытый лоб.

Во взаимной откровенности Николая и Торсона нечто большее, чем только лишь давность знакомства.

Саша улавливает: намалеванный им идиллический морской вид фальшив. Не все ладно на флоте. Смелые, пекущиеся о пользе офицеры оттеснены, в чести подхалимы и пролазы. Беспросветно матросское житье…

Что ж, сносить тяготы обучения математическим наукам ради того, чтобы посвятить себя унылой морской службе? Увольте. «Поворот все вдруг».

Это «вдруг» раздосадовало Николая. Куда ведет такое

непостоянство? Младший брат Михаил, ставший гардемарином и в мечтах видевший рядом с собой Сашу, приуныл.

А в Сашиной вихрастой голове уже зреют новые планы. Он пойдет по стопам отца-артиллериста.

Желательна — никуда не деться — властная мужская рука, дабы положить конец затянувшемуся верчению вокруг собственной оси. Близких обескураживала нестойкость в устремлениях, а также упорство, с каким Александр повадился в соседнее имение Савицких для прогулок со своей сверстницей Софьюшкой. На людях он обращался к ней «Софья Васильевна», но быстро уводил в сосновую рощу, подальше от встревоженных родительских взоров. У Софьюшки румянились и без того пунцово-налитые щечки, когда она слушала говорливого кавалера, расписывавшего морские баталии, экзотические — ого-го какие! — странствия, на ходу рифмовавшего:

Приятно видеть перлы слез,

Которы тмят прелестны взоры,

Подобно как на листьях роз

Сверкают слезочки Авроры.

Нашлась, к счастью, мужская рука, приведшая все в соответствие. Рука поднималась над генеральским эполетом, — тяжелый кулак назидательно опускался на край стола. Петр Александрович Чичерин на правах друга покойного отца сурово выговаривал Саше:

«Как понимать: вчерась — горное искусство, нынче — морское, завтра — артиллерийское, послезавтра, глядишь, — кавалерийское!..»

Солдатский фрунт — не суженая, любить его не обязан. Но решил подвизаться на армейском поприще, — фрунта не минуешь. Однако во власти генерала облегчить тяготы оного.

Кулаком Петр Александрович стучал по причине душевного негодования и для устрашения юноши, чьим будущим не замедлил распорядиться. Берет юнкером в свой лейб-гвардии Драгунский полк, месяцев пять-шесть солдатчины и — офицер. Потом — вольному воля, держи экзамены хоть в начальники штаба.

Матушка одобрительно качала головой в такт ударам генеральского кулака и опасливо поглядывала на сына, отличавшегося от остальных ее отпрысков неуемным своенравием

и фантазерством.

Свойства эти не помешали ему честно тянуть солдатскую лямку, слыть надежным товарищем, отчаянным наездником и стать, чего и добивался, любимцем полка.

Лейб-гвардии Драгунский полк дислоцировался в Петергофе. Бестужев, получивший в 1817 году первый офицерский чин, квартировал неподалеку, в местечке Марли, именовавшемся так по пруду, где рыбешек для кормления созывали колокольчиком. Двадцатилетний прапорщик сиживал на пеньке, крошил в воду хлеб, наблюдал за быстролетными рыбьими стайками. Ему нравилось название — Марли.

Бестужев из Марли, просто — Марлинский. Или — Александр Марлинский…

Псевдоним нужен был не больше, нежели корм и без того сытым карасям. Впрочем, псевдоним, глядишь, сгодится в литераторской деятельности. Такая перспектива не отвергалась молодым офицером. Копошились в мозгу кое-какие сюжеты. Легкие и быстрые, словно рыбьи стайки в пруду Марли.

* * *

…Сейчас Бестужев сидел, поджав под себя ногу, в шелковом халате, схваченном витым шнуром. Выбритый до лоснящейся синевы, с напомаженной темной шевелюрой, заостренными вверх стрелками усов. Голубая чашка хранила тепло недавнего чая, в фарфоровых рюмках белела яичная скорлупа, на тарелках остались крошки бисквита, обрезанные корки. Серебряный поднос отодвинут.

Бестужев машинально следил за постепенным растворением в воздухе табачного дыма. Он отсутствовал, оставаясь во власти утренних занятий — долго с фырканьем мылся, тер чернильное пятно на указательном пальце, аккуратно водил бритвой, надув щеки, старательно причесывался, медленно завтракал, меланхолично набивал трубку. Чей-либо приход, нарушающий поэтическую отрешенность утренних часов, подобен был бы грубому вторжению.

Человек, бывший у него в услужении, приноровился к барину. Ставя и унося поднос или пепельницу, подвигая коробку с табаком и тавлинку, снимая щипцами нагар со свечей, он ловко избегал взгляда хозяина, неслышно скользил в войлочных чунях.

Сегодня Бестужев не дождался в постели, покуда наступит день. Смутное биение сердца заставило встать до срока. Не докурив трубку, со стопкой черновых заметок поспешил к

письменному столу, над которым слуга зажег парный канделябр.

* * *

Слава отыскала его в Марли; следовала по пятам в Петербург, сопровождала в походах Драгунского полка. Слава, сопутствующая дуэльным поединкам, амурным похождениям, офицерскому разгулу — залихватской круговерти, преодолевающей казарменную монотонию, парадно-фрунтовое армейское однообразие.

Кто смолоду, облачась в офицерский мундир, не вожделеет шумной известности? Но не всякий удостаивается. Нужно не просто обменяться выстрелами, заведомо зная, что они лишь вспугнут галок. «Мой принцип: дуэлировать так дуэлировать, пробочных поединков не признаю». С хладнокровной усмешкой ждать, пока противник, нервничая, нажмет на курок, самому послать пулю в воздух и, не оглядываясь, покинуть утоптанную снежную площадку. Вот как надобно. Не повод важен — эффект. Умение сделать вид, будто победа далась сама собой, ты ею облюбован. Это уже и о женщинах, и о вольтижировке, и о трижды проклятых парадах…

Блестит паркет, шелестят платья, вспыхивает золото эполет, лестен шепот из углов: «И она?.. Еще одна богиня низвергнута с пьедестала…» «Низвергнута? Почему бы не вознесена?!»

А великая сила острого словца, его долгим смехом отдающееся эхо?

Став адъютантом у главноуправляющего путями сообщения генерал-лейтенанта Августина Бетанкура, а затем у его преемника герцога Александра Вюртембергского, Бестужев снискал расположение своих шефов. И не только их. Чернокудрая Матильда, дочь Бетанкура, влюбилась в папенькиного адъютанта. Генеральша спешно отвезла дочь в Москву — подальше от повесы-гвардейца. Генерал, однако, не уступив напору супруги, оставил адъютанта при себе. Не менее доверял Бестужеву и брат императрицы Марии Федоровны, рыхлый толстяк герцог Вюртембергский, любивший поесть и похохотать, ценивший в службе не столько суть ее, сколько внешнюю сторону. Адъютант умел создать желательную видимость, понимал, что герцог себе на уме, добродушная смешливость маскирует хитрый расчет. Был начеку, рискованно смеялся, повторяя нелепые распоряжения, имитируя немецкий акцент главноуправляющего российскими дорогами.

Просители томились в приемной, Бестужев, полируя ногти и

поигрывая носком лакированного сапога, развлекал герцога, черпая курьезы из бездонного колодца, какой являло собой дорожное дело. Вспоминал, как государь высочайше наказал новому генерал-губернатору в Витебске взять за образец путепрокладывательный опыт ярославского губернатора. Государю настолько полюбились ярославские дороги, что он запамятовал о сухой солнечной погоде, которая стояла, когда он изволил по ним путешествовать. Витебский же генерал-губернатор отправился учиться уму-разуму в проливные дожди и с великим трудом достиг Ярославля…

Под Москвой дороги были в столь плачевном состоянии, что граф Сакен, оставив в грязи коляску, добрался до белокаменной верхом и выразил сожаление московскому генерал-губернатору: ежели б тот занимал свой пост в 1812 году, Наполеону не войти в Москву…

Перед всяким царским вояжем дороги прихорашивались. Наспех засыпали ямы, рыли канавы, выкладывали дерном. Не успев посадить березки, втыкали их без корней. В городах и селениях лачуги обшивали тесом, красились крыши на фасадной стороне.

Воистину неисчерпаемая сокровищница анекдотов — российские пути-дороги, — вместе с тем и зерцало, отражающее горькую правду. Но сластена-герцог горького не жалует. Сотрясаемый смехом, колышется мягкий живот, распирающий мундир. Этот смех — знак начальственной веры в то, что ты не только горазд шутки шутить, но и сумеешь обнаружить кривду, с толком исполнишь волю главноуправляющего.

Все переплетается, закручивается, и не ухватить, где кончается анекдот и откуда начинается служба, где ты диктуешь и где тебе, ты ли выбираешь начальника, он ли делает выбор, ты назначаешь свидание или тебя ловят в тонко расставленные силки…

Освоившись в вельможных особняках, прозвенев шпорами по мраморным лестницам и накладному паркету Зимнего дворца, замечаешь: адъютантские аксельбанты возносят все выше, дарят новыми связями, знакомствами, открывают прямые, как Невский проспект, пути к служебной карьере, к заманчивой женитьбе, к богатству.

3

Ни одна из возможностей не отринута Александром Бестужевым. И ни одна не использована.

Поверхность жизни бурлила, кипела, слепила. Поднятый на уровень груди пистолет Лепажа разряжался сухим хлопком, гарцевали кони, гремела полковая музыка, в бокалах играло шампанское, зычный мужской хохот сменялся дамским щебетанием, томительные дежурства — уроками «овидиевой науки», написание нудных рапортов — спешными, на перекладных, командировками…

Теплилась, не вспыхивая, надежда сочетаться браком с Софьюшкой Савицкой. Ей слались меланхолические письма, прослоенные стихами, как торт кремом.

«А я скучаю по обыкновению, сижу дома по привычке и занимаюсь по охоте. Много читаю, мало пишу, а еще менее сочиняю. По общему уделу людей думаю и раздумываю; в неудачах приговариваю «все к лучшему!». Об *смертной косе* думаю редко, ибо люблю жизнь, хоть и не боюсь смерти, веселюсь, когда можно (это не часто бывает). Радоваться здесь нечему.

Я не живу почти — дышу,

Скучаю сам — других смешу,

И хладность дружбы

Мечтами золотя.

Играю цепью службы,

Как малое дитя.

…Мы (т. е. когда я говорю «мы», то разумею «лейб-драгуны») собираемся тешить царя, и чистимся, чтобы как можно красивее забрызгаться для блага отечества и славы вахт-парадного Олимпа…»

Маменька получала послания заботливые, обстоятельные, успокаивающие.

«О здоровье своем скажу, что оно в лучшей исправности. Доказательством тому, что я из бани купался в озере и, слава богу, невредим, несмотря на холод».

Хочется развлечь маменьку в ее бесконечных хлопотах по имению в Сольцах.

«Раза два был в театре — актеры дурны, — забавила только одна пиеса — *Берлин в 1924 году,* где представлен мужик на паровой сохе, дилижанс на шаре, письменная почта в бомбах и

растительная помада, от которой посеянные на голове цветы расцветают в 5 минут для балу, и платье шьется прямо на теле вмиг, белый медведь вместо постельной собачки, автомат-секретарь, вьючные киты и тому подобные глупости, якобы вероятно в будущем веке будущие».

Брату Николаю — дельно и спокойно из Выгоничей, городка в сорока верстах от Минска, где остановился Драгунский полк:

«Что сказать тебе о моей жизни? Я провожу ее не могу сказать весело, но приятно. Две девушки, хозяйки мои, милы, любезны, — без кокетства, без натяжки, и это делает их общество занимательным… Налетные гости, мои приятели, редкую неделю не навещают путника, и вечера настают прежде, нежели заметим день… Осенние дороги так испорчены дождями, что я принужден был ехать в Минск, как Дон-Кишот. Форма и куча генералов делают жизнь в городе весьма принужденною».

Летает перо в письмах приятелям:

«…Вступил в должность к герцогу Вюртембергскому; сентябрь и октябрь проездил с ним по северному краю России; по приезде стрелялся с… Рингером, который волей божьей промахнулся, и я подарил ему патрон».

«…Я танцевал с… 13 августа во дворце. 12 декабря она была мила, как ангел. Я не вылезаю из белых панталон и из башмаков — это прескучно, тем скучнее, что не на кого вздыхать».

Но временами неуловимая тень падает на умопомрачительные светские, служебные, гусарские победы.

Ненастным октябрьским деньком двадцатого года Бестужев, испросив отпуск для поездки к брату, спешит в Кронштадт.

Укрываясь от ветра воротником набухшей шинели, козырнув двумя пальцами, минует часового. Кому здесь, среди лейб-гвардии семеновцев, бросится в глаза офицер Драгунского лейб-гвардии полка?

Кронштадтская крепость — перевалочный пункт для семеновцев, уже вдохнувших гнилостный смрад Петропавловки и ожидающих новой Голгофы. Они восстали против полкового командира, пожелали избрать офицеров «из своего брата-солдата», выпустили воззвание.

Бестужев ходит и слушает, слушает и думает.

Героев Нарвы, Бородина, Кульмы на возвратном пути из Франции встречали триумфальными арками; по одну сторону арки — «Храброму российскому воинству», по другую — «Награда в отечестве!». Полковник Шварц привечал костлявым кулаком по скулам, паучьими пальцами вцеплялся в седеющие усы. Заставлял солдат недвижно стоять часами, маршировать со стаканом воды на кивере, — прольется, пеняй на себя. Еще приказывал колоть

солдат вилками, связывать им ноги в лубки…

Бестужев отправился в Кронштадт, чтобы, обогнав других, выведать о семеновском происшествии.

Он бы не ответил внятно, что подвигло его на негаданную поездку. Жадное любопытство? Желание меж первых разузнать о событии, вдруг нарушившем отлаженный порядок вещей? Интерес к тому, как нарушается этот благословенный порядок, каким манером?

Но покамест никто таких вопросов ему не ставил и сам он ими не терзался. Однако безотчетно чувствовал: надобно, не мешкая, посетить Кронштадт, своими глазами увидеть семеновцев, отважившихся на небывалое, своими ушами услышать. Надобно, и все тут… Он еще не угадывал, зачем ему это знание.

Царь Александр, разгневанный восстанием Семеновского полка и наказывая всю гвардию, усылает ее в поход по западным губерниям.

Намерение государя не отличалось политической дальновидностью; многие офицеры нашли общий язык с вольнолюбивыми шляхтичами, походная жизнь давала пищу для нежелательных сопоставлений.

Баловней судьбы из поколения Александра Бестужева судьба отечества тревожила не менее, чем их предшественников, снискавших расположение фортуны до 1812 года. Сама эта тревога восходила к дням Бородина, в ней трепетало пламя московского пожара.

Они читали либеральные сочинения и запрещенные рукописи, знали английских, немецких, французских историков, публицистов, экономистов. Они умели смотреть и из окна дорожной кареты.

Летом 1821 года Бестужев делился с матерью путевыми впечатлениями:

«Жаль только видеть господских крестьян, латышей и поляков — и частию русских, которые здесь все раскольники-филиппоны [3]. Ни на одном нет лица человеческого — бледны, худы, измучены. Многие в целую неделю получают от господ полгарца ячменю на человека. Можете представить себе их положение».

Но не пишет того, что бедственное положение крестьян, открывшееся в походе, каким-то образом вяжется в его уме с семеновским происшествием. Связь расплывчата, не вполне ему очевидна. Но она есть, есть, а потому ждет своего осмысления.

Чего уж там, с матушкой не грех поделиться и туманными идеями, — ей все внятно. Однако незримая сила удерживает от

чрезмерной откровенности. Маменьке-то можно довериться, а почте — не след.

Нарушена победная музыка парада и карьеры, сбит ритм. Параду и карьере угодны плавность, постепенность. Даже усердие надо неусыпно контролировать, подобно тому как адъютанты сверяют свои часы с часами герцога Вюртембергского — именными, швейцарскими, подаренными курфюрстом… Успешно одолевая служебные ступени, Бестужев теперь то и дело воспарял мыслью, вместо того чтобы глядеть под ноги и почтительно взирать на вышестоящих.

Спустя год после первого офицерского чина он, снедаемый нетерпением и дерзкими помыслами, просил Цензурный комитет дозволить — ни мало ни много — издавать журнал «Зимцерла»[4] с обширной программой: иностранная и отечественная литература, переводы в стихах и прозе, критика, стихотворения, смесь…

Размах наполеоновских планов покорял победителей Наполеона и держал настороже тех, кто числил умеренность не просто человеческой добродетелью, но и свойством, государственно необходимым.

«К выполнению такого обширного плана потребны также и обширные сведения, а не менее тоге и практическая опытность, чего в г. Бестужеве ни отрицать, ни предполагать по его слишком молодым летам (ему 20 лет) Цензурный комитет не может».

В программе, поданной в Цензурный комитет, прапорщик Бестужев умолчал, что оную программу «Зимцерлы» надлежало выполнить единственному автору, он же издатель.

Цензурный комитет выразил также неудовольствие языком и слогом молодого драгуна, целящего в издатели. «В десяти не более строках три ошибки против правописания…»

Листок гербовой бумаги с насмешливо игривым завитком подписи дрожит в руке. Дрожат побелевшие от негодования губы.

Бушуй, кипятись, — Цензурный комитет не позовешь к барьеру.

На счастье, рядом добрый советчик и поклонник бестужевских дарований — Николай Иванович Греч. Бестужевских, — поскольку Греч дружил и с Николаем, и с Михаилом, чуял незаурядность братьев. Видел: у Александра мысль острая, безразличная к авторитетам, слог красочный. («Бестужевские капли», — подумал про себя, а сказал позже, окончательно заручившись расположением братьев.)

Дружба началась с морского путешествия во Францию в 1817 году. Пассажир Греч держался шибералистом, сторонником просвещения и ланкастерских школ. Чем дальше корабль «Не

тронь меня» отплывал от берегов России, тем красноречивее, отважнее становился Греч, покидающий кают-компанию только из-за приступов морской болезни, которую лечил черносливом! Флотскими офицерами тоже владели смелые идеи, и они подставляла разгоряченные лица ветру, задувавшему с берегов Ла-Манша.

Приятельство Бестужевых и Греча упрочилось на суше. В «Сыне отечества», издаваемом Гречем, печатались лучшие имена. Николай Иванович в зеленой куртке подошел, сутулясь, к Александру, обескураженному отказом Цензурного комитета: «Сын отечества» ждет его творений (снял очки, сочувственно нагнул лысеющуко голову).

Больше всего Бестужеву и нужен именно журнал, где будут печатать все, что выйдет из-под его торопливого пера: стихи, повести, критику.

Переводы из Лагарпа ждут печатного станка. Сочинены стихи, задуманы повести (ради них изучается русская старина и прошлое Ливонии). Первые же критические пиесы вызывают такой шум, что автор невозбранно проходит за кулисы театра (благо писал и о драме), радушно встречен в литературных салонах. Его новые собеседники — Баратынский, Дельвиг, Гнедич, Воейков, Федор Глинка.

Снова поклон Гречу, — он помог свести знакомства. «С вашей легкой руки, Николай Иваныч, с помощью ваших литературных «четвергов»…» «Сущие пустяки, не стоит благодарности…»

(Очень даже стоит, щурится Николай Иванович, имеющий обыкновение рассчитывать на два-три шага вперед. Можно приручить дарование, помнящее, скольким оно тебе обязано.)

Греч знакомит Бестужева и со своим закадычным другом — коротконогим Фаддеем Венедиктовичем Булгариным.

(Полезный человек, думает Бестужев, он тебе и редактор и сочинитель; учен, умен, ловок. Только вот жабоподобен, как говаривали кадеты, рылом не вышел.)

(Далеко пойдет, прикидывает Булгарин, глядя на Бестужева; горяч и талантом не обижен. Бронь боже, не зарвался бы, гордыня бы не обуяла.)

Бестужев допускает чуть покровительственный тон Греча: Николай Иванович первым заметил и дал ход. Но когда Булгарин норовит поучать, высокомерничает, отпор незамедлителен. Подслащенный, однако, польской шуткой. Фаддей Венедиктович отвечает высшей, на его взгляд, похвалой: «Pan Aleksandr — typowy Polak» [5]

Булгарин лукавил; Бестужев еще слабо владел польским. Он усовершенствовался позже, в походе по западным губерниям,

читая Мицкевича, Нарушевича, Красицкого, Немцевича.

Своим комплиментом Фаддей Венедиктович смягчил шероховатость. Бестужев был падок на лесть; взаимоотношения вошли в колею равенства. Теперь уже Бестужев позволял себе высокомерные насмешки. Булгарин сносил их беззлобно и платил гостеприимством.

Литературные виктории слились с офицерскими и амурными. Однако успех, хотя и пьянит слегка, не заглушает единожды возникшего намерения. Ждать — не в его правилах. Но когда очень надо, явит терпение, исподволь пестуя идею собственного журнала.

В начале 1820 года Александр Бестужев вступил в Общество любителей российской словесности, наук и художеств, в конце того же года — в Вольное общество любителей российской словесности. Первое возглавлял Александр Ефимович Измайлов, выпускавший журнал в розоватой обложке — «Благонамеренный», второе — Федор Николаевич Глинка, издававший «Соревнователя просвещения и благотворения». (И брат Николай начинал в «Благонамеренном», но республиканские по духу «Записки о Голландии» напечатал в «Соревнователе».)

Общество любителей российской словесности, наук и художеств дало Александру Бестужеву оппонентов, и даже литературных недругов. Вольное общество любителей российской словесности, эта «ученая республика», подарило друзей-единомышленников. Глинка, ветеран Аустерлица и Бородина, сближал людей разных дарований и наклонностей. В «ученой республике» господствовали независимые мнения, романтическая верность отечеству и русской словесности. Читались исторические трактаты и стихи, сочинения в прозе и прожекты государственного совершенствования.

Семеновского «дела», аракчеевщины, участи крестьянства касаться было не заведено. Однако, попивая пунш, вслушиваясь в речи собратьев-писателей, Александр Бестужев ловил себя на мыслях, уносивших его к затянутому осенней непогодой Кронштадту… Существовали и другие предметы: французская революция, восстания в Испании, Неаполе, Португалии, Пьемонте, Греции — подразумевавшиеся, но не называемые. И не всегда произносимые, но легко угадываемые имена — Риего, Квирога, Ипсиланти, Занд, Вашингтон…

Раскаты литературных баталий в питерских салонах и на страницах столичных журналов достигли слуха читающей публики в городах и весях России. В письме, отправленном из Кишинева 21 июня 1822 года, Пушкин протягивал Александру Бестужеву руку дружбы:

«Милостивый государь,
Александр Александрович,

Давно собирался я напомнить вам о своем существовании. Почитая прелестные ваши дарования и, признаюсь, невольно любя едкость вашей остроты, хотел я связаться с вами на письме, не из одного самолюбия, но также из любви к истине. Вы предупредили меня. Письмо ваше так мило, что невозможно с вами скромничать. Знаю, что ему не совсем бы должно верить, но верю поневоле и благодарю вас, как представителя вкуса и верного стража и покровителя нашей словесности…»

Советы о том, как обходить цензуру («очень глупа», «ужасно бестолкова»), предполагали в адресате единомыслие по вопросам общего свойства.

Еще недавно в дружеских связях Бестужева царила случайность, а то и нехитрый деловой расчет. Теперь он обретал более надежный и достойный критерий, распространявшийся не только на литературу…

Он не порвал с Булгариным и Гречем, участниками полемик в «ученой республике». Однако крепла уверенность — оправданная или нет? — что он их раскусил, узнал красную цену, и ему по плечу, сохраняя приятельство, сохранять и такое знание.

Не оглушали уже громкие имена, собственная известность; рядом дымили сигарами и трубками, пили чай, рассуждали о всевозможных материях люди, стяжавшие признание на полях жарких битв и в журнальных баталиях. Вершилось неизбежное самоопределение.

И — осуществлялась идея, еще недавно встретившая злобно-ироническую отповедь Цензурного комитета. На обложке нарядного томика, над лирой, украшенной венком, звездочка и два слова: «Полярная звезда». Под лирой, отмеченной датой «1823», — надпись: «Изд. А. Бестужевым и К. Рылеевым». Еще ниже — «в С. Петербурге».

Стоял сочельник 1822 года. Но, несмотря на рождественский холод, мглистые дни, лучи от лиры с такой яркостью били в глаза издателей, что выступали радостные слезы. Александр Бестужев не пытался их сдерживать. Он верил в собственное возрождение, в словесность, окрыляющую души, в новизну, что усовершенствует, облагородит жизнь.

4

С порога кабинета Бестужев повел взглядом — массивный стол развернут к окну, овальные миниатюры на стенах, экран

перед камином (дыму больше, чем тепла, труба, не чищена), застекленный книжный шкаф под потолок. Прямо напротив — дверь в сени, укрытая добротной шторой (обнаружив, что из сеней дует холодом, Рылеев заботливо распорядился повесить штору).

Он сел на мягко пружинящую софу, облюбованную Михаилом. Самый веселый среди братьев Мишель любил оставаться на ночь в кабинете Александра; на этой софе он лежал при недавней болезни; брал книги из шкафа, и его бы воля — лежал бы целую зиму.

Вспомнив о брате, Бестужев виновато поцокал языком. Он совершенно забыл: вчера около полуночи Мишель говорил о прибытии матушки с сестрами, о воскресном обеде на Васильевском острове… Александр знал за собой ветреность, даже легкомыслие, — только не по отношению к матери и сестрам. Однако сегодня обмишурился. Он нещадно себя поносил, одновременно подбирая доводы, умаляющие вину. Безмятежно вверился утреннему сочинительству, ибо глубоко у сердца держал приезд матушки, внявшей его просьбе…

Видя, сколь наполняется вольготно начавшийся день, Бестужев подошел к письменному столу. На широкой столешнице лежали вздувшиеся от влаги, но уже подсыхающие корректурные листы, — жирные колонки набора вдавлены в рыхлую бумагу, «отбиты» жесткой щеткой.

Минувшим вечером о типографских листах не упоминалось. Сидели за полночь, обсуждали предметы настолько рискованные, что голоса приглушались сами собой. Корректурные листы «Звездочки» — так назвали следующую книжку, — тогда еще мокрые, сохли на трех укрепленных вдоль стены досках, обтянутых холстом. Сооружение изобретено Рылеевым. Читая корректуру, он двигался от листа к листу; подсвечник, притороченный проволокой к его поясу, скользил по верхней планке.

Вчера Рылеев не подходил к доскам.

Выходит, едва гости разошлись, он держал корректуру; затемно, пока Бестужев витал в облаках вдохновения, направил к нему — через двор — посыльного, велев не беспокоить Александра Александровича, занести листы в кабинет из сеней.

Не первый день их дружеству, три нумера «Полярной звезды» позади, а Бестужев обнаруживает в Рылееве все новые добродетели.

Еще не знакомые, они неотвратимо шли друг другу навстречу. Рылеев начинал свои «Думы», Бестужев в ту же пору решил воскресить в поэзии героический лик прошлого, Дружба

упрочила единомыслие, повела к сообща намеченному изданию. «Аяксы», — ухмылялся Греч, гордясь своим содействием этому союзу.

Бестужев легко, взрывчато загорался. Но и остывал, забывая о недавнем всплеске. Рылеев вечно охвачен пламенем, его не гаснущий отсвет в блестящих темных глазах. Лицо меняется зависимо от того, откуда смотришь. Профиль беззащитен. Но чуть повернулся, и — крутой подбородок, сведенные брови выражают твердость, упрямство. Откинул лобастую голову, — по-девичьи мечтательный абрис.

Рылееву довелось побывать в пленяющем победителей Париже. Рано опробовал романтическое перо, подпоручиком уволился из армии, женился. В литературе заявил о себе не лирическими элегиями, но мнимым подражанием Персию — гневной инвективой «К временщику». Аракчеев обличался настолько открыто, что почли за благо не узнать его и не поднимать шума.

Рылеев не жаловал армию, петербургский свет, офицерские сборища; достойнее статское служение отечеству и сочинительство в гражданственном духе. На дуэльные поединки выходил не менее легко и смело, чем Бестужев, поводом избирая все-таки не ссоры из-за кадрили.

Открытого и впечатлительного, его тяготит любая тайна. Тем тоже разнится он от Бестужева, который временами склонен скрытничать, любит «военные хитрости». Что не мешает сорваться, сболтнуть лишнее. Сболтнув, спохватится, напустит словесного дыму… Повадка не дипломатическая, но умеет входить в отношения с людьми.

Альманах — корабль громоздкий, пассажиров — что в Ноевом ковчеге. Держать на плаву мало, надо провести курсом, намеченным не одним капитаном, а, вопреки законам судовождения, двумя.

«При составлении нашего издания, — писал Бестужев в «Сыне отечества», — г. Рылеев и я имели в виду более чем одну забаву публики. Мы надеялись, что по своей новости, по разнообразию предметов и достоинству пиес, коими лучшие писатели удостоили украсить «Полярную звезду», она понравится многим; что, не пугая светских людей сухой ученостью, она проберется на камины, на столики, а может быть, на дамские туалеты и под изголовья красавиц. Подобными случаями должно пользоваться, чтобы по возможности более ознакомить публику с русскою стариною, с родной словесностью, с своими писателями».

Писатели заслуживали такого знакомства: Пушкин, Жуковский, Вяземский, Баратынский, Гнедич, Дельвиг, Денис

Давыдов, Федор Глинка, Крылов… В окружении славных имен выступали и сами издатели. Рылеев — с четырьмя «Думами» («Рогнеда», «Борис Годунов», «Мстислав Удалый», «Иван Сусанин»). Бестужев — с двумя повестями («Роман и Ольга», «Вечер на бивуаке»), с обзорной критикой («Взгляд на старую и новую словесность в России»).

Стихи и проза не затмили необычного, начинающегося Ломоносовым обзора отечественной литературы. Бестужев вышел за грань искусства, упомянув о «тумане, лежащем теперь на поле русской словесности». Не требовалось острой проницательности, дабы сообразить, что имеется в виду…

Журнал лег на камины, на столики в гостиных и кабинетах, дав издателям нежданный доход — около двух тысяч рублей. Не внакладе остались и авторы, — впервые писательский труд вознаграждался полновесной монетой. Это тоже составляло планы редакторов: литератор, получающий гонорар, независимее, смелее…

На гребне успеха «Полярной звезды» Бестужева вынесло в Москву. По-весеннему золотились церковные купола, но на мостовой еще держался укатанный снег, полозья кареты морозно скрипели, Бестужев чувствовал себя триумфатором, вступающим в коленопреклоненный город. Приглашения, званые обеды, торжественные ужины. Успевай пожимать руки, кланяться, чокаться. Мелькание, безостановочная карусель. Однако он задерживается подле людей интересных, подле Американца — остряка и циника Федора Толстого, историка Калайдовича, Дениса Давыдова, около бывшего куратора Московского университета князя Голицына, профессора медицины Лодера… Помнит о «Звезде», о пополнении числа авторов. Обстоятельно беседует с Петром Андреевичем Вяземским, дивясь беспощадному уму и отменному вкусу курносого князя, щурящегося, норовя спрятать глаза за продолговатыми стеклами очков. Взаимно обещают закреплять письмами согласие во мнениях. Бестужеву кажется, правда, будто согласие это до определенной точки; далее не исключены и расхождения.

Обрывая бег по коврам, мрамору, паркету, Бестужев изыскивает время для монастырей, древних гробниц, храмов. Коснуться седой старины, вдохнуть ее сухой воздух, чтобы наполнились им повести, которые он напишет, обнародует в альманахе…

Второй нумер «Полярной звезды» выходит в конце двадцать третьего года. Книжка еще изысканнее, чем первая, нарядно украшена гравюрами. Полторы тысячи экземпляров раскупаются за три недели. Издатели дают обед в честь авторов. Рылеев

удостаивается золотой табакерки от императрицы Елизаветы и перстней от нее и от Марии Федоровны. Бестужеву тоже пожалована табакерка от Елизаветы и перстень от Марии Федоровны. Царь на присылку альманаха отвечает рескриптом.

Но Измайловский «Благонамеренный» объявляет поход против «Полярной звезды». Подают голос разномастные недоброжелатели.

Однако Пушкин из Одессы шлет дружественное послание. У него довольно снисходительные претензии. А поддержка — прямая. «Ты — все ты, — обращается он к Бестужеву, — т. е. мил, жив, умен. Баратынский — прелесть и чудо, *Признание* — совершенство… Рылеева *Войнаровский* несравненно лучше всех его *Дум,* слог его возмужал и становится истинно-повествовательным, чего у нас почти еще нет. Дельвиг — молодец. Я буду ему писать. Готов христосоваться с тобой стихами, но сделай милость… пощади. Прощай, мой милый Walter» [6].

«Полярная звезда» восходит не над пустыней. Вокруг немало повременных изданий. К ним добавляются «Русская старина», выпускаемая Корниловичем и Сухоруковым, «Северные цветы» Дельвига, «Мнемозина» Кюхельбекера и Одоевского. «Полярная звезда» все же удерживает свое заметное место. Успех альманаха неотторжим от успеха Бестужева-романиста, критика, поэта. От его энергии, напора, искрометного темперамента. Репутация отчаянного гвардейца-дуэлянта приумножает славу модного литератора.

Рылеев покидает Петербургскую уголовную палату, где он отличался от прочих судей неподкупностью, идет правителем канцелярии в Российско-американскую компанию. По его воззрениям, она должна привлечь купеческие капиталы, содействовать экономическому обновлению отечества. Он селится в доме компании у Синего моста, Сюда же, не мешкая, перебирается Александр Бестужев.

У него квартира близ Юсупова сада, в казенном здании для адъютантов главноуправляющего путями сообщения. Ему отведены комнаты в полупустом доме матушки на седьмой линии Васильевского острова (матушка с дочерьми обычно живет в Сольцах, в имении). Но постоянное местопребывание Бестужева — под общей кровлей с Рылеевым, с Катоном, как он шутливо величает друга.

В пору ноябрьского наводнения, когда вода достигла второго этажа и прислугу охватила паника, Бестужев спасает библиотеку и вещи отсутствующего Кондратия. Сам переезжает в дворовый флигель, к простудливому Оресту Сомову, надежному сотруднику

и въедливому корректору «Полярной звезды»…

По части трактиров и ресторацій Петербург уступает Москве. Но и здесь сытный, дешевый обед — никак не редкость. В гостинице Гейде на Васильевском острове — два рубля ассигнациями, без пирожного, у Клея на Невском — за два рубля с лафитом, у Дюме — изысканно и недорого, у Леграна на Большой Морской — вкусно, хоть и однообразно, у Андрие на Малой Морской за пять рублей — с закуской и вина вволю, у Александра на Мойке — тишина и уют, у Сен-Жоржа, почти напротив Александра, деревянный домик, каждому отдельная комната…

Однако и гурманы и люди неприхотливые сбегаются часам к двум пополудни на «русские завтраки», что заведены Рылеевым: графин очищенного вина, кислая капуста, ржаной хлеб.

Исхитрившись, Александр Бестужев уклоняется от обеда у герцога Вюртембергского (кухня, к слову сказать, у герцога отличная) и поспевает к «завтраку». Он разгуливает по комнате, в одной руке вилка с пластами капусты, в другой — сигара. Уже сегодня вечером его импровизированные эпиграммы начнут кочевать по гостиным.

Бестужев уверяет, что чахнет без кислой пищи. Ему мила печать русизма, какую Рылеев накладывает на свою жизнь.

После третьей книжки альманаха Бестужев прочно обосновывается во флигеле. Четвертая книжка «Полярной звезды» в прежнем объеме не удается, год близок к концу, времени в обрез, материалов недостает, иные авторы злоупотребляют деликатностью Рылеева, для иных Бестужеву не хватает выдержки. Как раз тут — случится же такое! — размолвка между издателями.

Кондратий не посвятил Бестужева в одну свою историю. Сюжет деликатнейший, интимный, болезненный. Но Рылеев все-таки счел допустимым советоваться с Николаем Бестужевым. Александра обуяла обида. Горько упрекнул Рылеева в письме: «… ты много виноват передо мной своей неоткровенностью…»

Булгарин почуял: меж «Аяксами» нелады, Бестужев в воспарении — и проворно зазвал его к себе на дачу. Бестужев согласился, удалился за город, прикинувшись больным.

На булгаринской даче жила Елена Ивановна, Ленхен, — добрейшее, лукавейшее существо. Плечики сдобные, как кухены, губки — трубочки с кремом. После обеда Бестужев с Леночкой отправлялись по малину. Фаддей Венедиктович — без сюртука, живот дыней отвисает между помочами — сопровождал до калитки, желал удачи, велел посылать к черту. Леночка — чудо предусмотрительности — по дороге в лес уславливалась с

крестьянкой, что на обратном пути купит малину, назначала цену.

Удивлял и Фаддей: не дурень ведь, догадывался, какую малину собирают Ленхен и Алекс, однако встречал улыбкой, расползшейся по лягушачьей физиономии.

В письме к матушке Бестужев оповестил, что живет у Булгарина на даче, спит и ленится.

Открытая Леночкина благосклонность, участие мирно взирающего Фаддея ставили в тупик. Бестужев еще не привык, что литературная известность плодоносит и подобным образом, покоряя расчетливо-тщеславного хозяина и не обремененную правилами хозяйку.

Вдруг подкатило к самому горлу: провались она пропадом, эта меркантильно-радушная семейка, эти картофельные салаты, теплые пенки с малинового варенья, что варится под яблоней…

* * *

Ровно год назад, в августе, вместе с Кондратием они укатили в Батово, рылеевское имение.

Поездка намечалась давно. Теперь гадали: в Батово либо в Михайловское, к Пушкину? Накопилось немало спорных предметов, какие надлежало укромно обсудить с «консулом нашей Литературной Республики». Убедить его, что начало «Онегина» уступает «Бахчисарайскому фонтану», ниже «Цыган». Напрасно он отклоняется от романтического направления, ему ли не слышать зов времени, не видеть, как ждет оно героя с высоким самоотвержением. «Чудотворец» слышал иное, иначе отвечал времени. (Разногласия разногласиями, но — «консул», «парнасский чудотворец» — вне полемик.) Отныне встреча с Пушкиным достижима; Михайловское — не дальний свет.

Накануне отъезда из Одессы Пушкин отправил Бестужеву большое письмо. В нем — сердечные, не без печали слова: «Мне грустно, мой милый, что ты ничего не пишешь. Кто ж будет писать?»

Выбор маршрута зависел и от герцога Вюртембергского. Герцог не желал, чтобы адъютант, склонный к не всегда безобидным анекдотам, набирался мыслей у опального поэта.

Герцогу импонировала слава, какой удостоился его адъютант на литературном поприще. По логике, свойственной начальствующим лицам, он считал себя к ней причастным. Остерегаясь вместе с тем, как бы успех не вскружил голову подчиненного, он высказывал большую, нежели прежде,

строгость. С поездкой в Михайловское велел повременить, но, расщедрившись, дал неделю на обследование Гатчинского тракта.

Бестужев достаточно разбирался в ухищрениях дорожного ведомства и загодя видел свой рапорт относительно Гатчинского тракта (рапортами, хранившимися в канцелярии, можно было вымостить не один тракт).

Они оба с Рылеевым устали от городской суеты, от изнурительных хлопот, капризов авторов, цепляния цензуры, от наскоков Измайлова и шпилек Каченовского. В Батове наслаждались сельской тишью. Бестужев взял с собой Байрона на английском, Рылеев — свои любимые «Spiewy Historyczne»[7]Немцевича. Часами в садовой беседке у самовара читали друг другу. Польские строфы, английские. Планировали, составляли «Звезду».

Бестужеву вспомнилось, как в дни западного похода цесаревич Константин Павлович на параде соизволил обратить на него внимание, спросил, чем увлекается. Сочинительством? Отменно. При такой посадке, гренадерском росте господин Бестужев обязан написать книгу о верховой езде.

Александр в лицах воспроизвел разговор, вытянулся, сидя верхом на лавке, взял под козырек.

Кондратий зашелся в смехе. У царствующей фамилии страсть к парадам в крови, она бы и литературу приспособила к фрунту да конюшне. Не пахнет ли голубая императорская кровь навозом?

— Истинно так, — поддержал Бестужев. В эту веселую минуту у него вылетело из головы: он последовал совету цесаревича, успел напечатать первую главу — «Общие понятия о выездке». Действительно любил лошадей, следил за европейской литературой для берейторов…

Они затянули на два голоса: Рылеев — тенором, Бестужев — густым баритоном:

Боже, коль ты еси,

Всех царей в грязь меси,

Кинь под престол

Мишеньку, Машеньку,

Костеньку, Сашеньку

И Николашеньку

Ж…й на кол.

Счастливые, одушевленные возвращались в Петербург. Гроза, сотрясавшая столицу, не омрачила настроения. А в доме у Синего моста караулила беда — умирал крошечный сын Рылеева Саша, Большеглазая, худенькая Наталья Михайловна (из ласковых имен, какими Рылеев награждал жену, Бестужев пользовался лишь одним — Ангел Херувимовна) обратилась в безгласную тень…

…И он, Бестужев, обиделся на вернейшего из друзей, поддался амбиции, променял его общество на двусмысленное гостеприимство Фаддея, невинно-плотоядные улыбочки Ленхен!

Не скрытничал Кондратий, сил не находил в себе; не хотел валить на Александра часть груза. Без того хватало каждому…

* * *

Пополировав молча ногти, Бестужев снял накрахмаленную салфетку, сложил ее. Лобызнул пухленькую лапку Елены Ивановны, похлопал по плечу Фаддея, крикнул, чтоб закладывали.

Булгарин всполошился, Леночка заахала: на ночь глядя, дождь собирается, дорога ужасная. «Das ist Wahn-sinn!» [8]

Он ничего этого уже не слышал. Все, что за спиной, растаяло.

Не постучавшись, вошел к Рылееву (несмотря на поздний час, окна светились сквозь решетки). Тот поднялся. Лицо радостно-смущенное. Но ни малейшего удивления.

— Надо посоветоваться; один манускрипт… Я утвердился относительно «Звездочки»… Почитай, пожалуйста, пиесу.

— Получил мое письмо? — тихо спросил Бестужев, опускаясь в кресло и подвертывая под себя ногу. Рылеев кивнул лобастой головой.

— Забудь о нем. Кивнул вторично.

— Прикажу чаю. Ты с дороги. Черная кошка, пробежав, скрылась… Уменьшение числа страниц в альманахе не уменьшило издательских хлопот. Для сочинительства оставались короткие утренние часы. И то не всякий день.

* * *

Сегодняшнее воскресное утро — удача. Но и она близится к концу. Корректурные листы, легшие горкой на письменный стол,

зовут к себе.

Занавеси на широком окне делались прозрачными. Состояние отрешенности уходило.

На столе поверх сероватых корректурных листов четвертушка бумаги. Еще не различая слов, Бестужев узнал руку Рылеева,

5

Дормез с оцарапанной дверцей, кряхтя, въехал на мост. Кони, опасливо пробуя заснеженный настил, мягко опускали копыта. Невский лед исполосован тропинками, бороздами мальчишеских санок.

Прасковья Михайловна глянула в оконце — впереди справа тускло маячил шпиль Петропавловской крепости — и перекрестилась. Подумав, перекрестилась вторично.

В этом месте чуть не погиб ее сын Саша. Прохаживался с беззаботной гурьбой, увидел, не веря себе: с гранитного парапета в реку метнулась тень.

Александр отстегнул саблю, сбросил мундир и — в воду.

Со всей страстью отчаяния несчастный отбивался от незваного спасителя. Оба чудом не пошли ко дну. Но Александр одолел, вытащил бедолагу. Нанял извозчика, отвез к себе домой. Целую ночь говорили. Утром снабдил деньгами и отпустил умиротворенным.

С Сашей неведомо, что сам выкинет и куда поманит близких. Прасковья Михайловна собиралась в Петербург к Новому году. Неспешно и обдуманно вела подготовку. Ни с того ни с сего послание от Саши: выезжайте безотлагательно…

Сидевшие против младшие дочери дремали. Елена, старшая, выпрямилась рядом с матушкой, затянула ворот пелерины — вся в напряжении. Ее заражало маменькино состояние, она делила с ней дорожные треволнения, суету сборов, беспокойство от братова письма.

Матушка не расставалась с письмом. Не доверяя себе, будучи слаба в грамоте, просила Елену еще и еще раз читать его, тщетно пытаясь постичь скрытый смысл. Конверт покоился в муфте, хрустел под пальцами.

От села Сольцы, лепившегося к волховскому берегу, до столицы рукой подать. Но легко ли в спешке упаковать сделанные исподволь припасы. Бочонки, банки, бутылки, битые гуси, куры, дичина, сушеные грибы и ягоды, моченые яблоки, пластовая капуста, варенья, соленья… Стоило тронуться, и на розвальнях, замыкавших обоз, понадобилось менять полозья. У тяжеловесного дормеза в пути лопнула рессора — дополнительные траты, непредвиденная ночевка, постоялый двор, — клопы, под отклеившимися обоями шуршат тараканы…

* * *

Жизнь Прасковьи Михайловны незакатным светом озарило великое чудо и омрачила безутешная беда.

Пятнадцатилетняя нарвская мещанка капризом случая оказалась подле тяжко раненного офицера артиллерии.

На корабле «Всеволод» в сражении со шведами у острова Сескара он наводил пушку, высунулся из бокового люка и рухнул подкошенный. Вместе с мертвецами его отволокли в трюм: кончится битва, и его обмоют, похоронят на берегу. Офицера любили и, вопреки морскому обряду, хотели предать земле.

Начали обмывать, послышался чуть уловимый стон, поднесенное к устам зеркало запотело.

Раненый был настолько слаб, что его, не довезя до лазарета, оставили вместе с дядькой в окраинном домике. Жившая по соседству расторопная девушка с косицами и смешным толстоватым носиком из сострадания помогала словоохотливому дядьке.

Контуженный, с развороченной скулой, немощный от потери крови, артиллерист стонал, мычал, уставясь в низко нависший потолок, и не сразу обнаружил, что ухаживает за ним не один Федор, но и какая-то девица; на ней козловые сапожки, расшитый сарафан. Она что ни день меняет ленты, сплетя косицы в тяжелую косу, варит бульоны и кисели.

Два месяца без малого пестун Федор через соломинку кормил барина. Параша, затаясь, сидела рядом, смотрела на нескладно забинтованную голову, глаза, темные от боли; выбившаяся из-под корпии прядь прилипла к широкому потному лбу.

Будет жить офицер, и она будет; умрет — ее жизнь оборвется, не начавшись.

Офицер выжил. Федор получил вольную, а она — забрюхатела. Не изведала ни растерянности, ни страха. Не венчанная родит сына. Будет на то господня воля, еще родит, безразличная к людским пересудам, отцовскому гневу.

Сына нарекли Николаем. Через некоторое время потомственный дворянин Александр Федосеевич Бестужев предложил нарвской простолюдинке руку и сердце.

Накануне Бестужев совещался со своим другом Пниным. О чем — Прасковье Михайловне неизвестно. Но знала: Иван Петрович — незаконный сын князя Репнина, слышала и про обычай побочным детям аристократических отцов давать усеченную фамилию родителя. Приняла бы как должное, если и ее Коле писаться «Стужевым».

Со спокойным достоинством вошла Прасковья Михайловна в столичный свет, и умолкли злые языки. Такое достоинство рождается любовью и уважением мужа, покоем и миром в доме,

почтением детей.

Она родила пятерых сыновей и трех дочек. Саша посвятил матери детские вирши:

…С *днем ангела вас поздравляю!*

Желаю вам здоровой быть,

Счастливой жизни век желаю,

В довольстве, в радости чтоб жить…

Стихи не выражали всей полноты сыновней любви, и Саша завершил поздравление прозой:

«Извините, любезная матушка, что они писаны непорядочно и вольно; но я еще не учился поэзии и не знаю ее правил, — ежели я не умею писать или говорить о моей любви к вам, то умею оную чувствовать.

Любящий вас сын *Александр»».*

Владимир Лукич Боровиковский, один из наиболее одаренных и наименее льстивых художников той поры, в 1806 году написал портрет Бестужевой. Как и обычно, на его полотнах женщина слегка наклонила голову; темные локоны обрамляют задумчивое лицо; изысканная линия подбородка, раскосо прорезаны глаза, мягко выгнута шея. Нежные пальцы левой руки поддерживают правую. И все же не салонная красавица. Энергия и живая одухотворенность в чертах. Тяжелая грудь, бедра много рожавшей крестьянки. Широковатый нос выдает «беспородность».

Сквозь всю жизнь пронесли сыновья восхищение матерью, Александр гордился «башмачком» — носом, унаследованным от родительницы.

Безмерное уважение к матери дети переняли у отца. Как переняли и многое другое.

Александр Федосеевич был чужд назиданий и нравоучений; остановит нашкодившего сынишку: «Ты недостоин моей дружбы, я от тебя отступлюсь — живи сам собой, как знаешь». И все.

Бестужев-старший всему отдавался самозабвенно: изучал науки и обучал им в Артиллерийско-инженерном корпусе, воевал (в послужном списке отмечено: «…в сражениях со шведским флотом и в погоне за оным находился, при разбитии которого за отличность… произведен артиллерии капитаном»), сочинял трактат «О воспитании», издавал с Пниным «Санкт-Петербургский журнал», отстаивавший идею гражданского равенства, вел уроки в Академии художеств, сочинял прожекты, управлял гранитной

фабрикой…

Счастливый в браке, он не поддавался годам, был юношески легок, поджар, деятелен. Только клок волос, когда-то выбивавшийся из-под корпии, поседел да потемнел рубец, бороздивший щеку. Он не омрачаемо весел, рискованно шутит над собой: в бытность корпусным офицером отрекомендовал кадета Аракчеева генералу Мелиссино, который дал ход будущему сатрапу, — mea culpa[9].

Такого рода шуточки Бестужев отпускает при своих старших — Николя и Александре. Пускай привыкают постепенно к независимым мыслям. Постепенно. Сам он далек от рассудительной умеренности. Будь благоразумнее, не выскочил бы налегке в зимнюю ночь, когда донесли, что лопнула медеплавильная печь, не простыл бы…

Беспросветным вдовьим отчаянием заволокло все вокруг тридцатипятилетней Прасковьи Михайловны. Синеватые мешки легли под поблекшими глазами, горе унылыми складками рассекло щеки. Коротать бы дни в монастыре. Да — дети. Подумала о них не как статская советница — как баба простая: восемь ртов.

Александр Федосеевич оставил по себе доброе имя и малый достаток. В Петербурге — казенная квартира, в Новоладожском уезде — небогатая деревенька.

Из-за козней какого-то кляузника, судебной волокиты семья десять лет без пенсии…

Попросили, потом грубовато потребовали — освобождайте квартиру.

Еще незряче озиравшаяся по сторонам Прасковья Михайловна почувствовала: дети — не только «рты». Николай, кончивший Морской корпус, определил туда же Михаила, позднее — Петра, помог мечущемуся Александру.

Елена и раньше не слишком жаловала сверстниц — то визгливый, то щебечущий девичий цветник. Теперь взяла на себя обременительные переговоры с жуликоватым управляющим в Сольцах, не гнушалась деловой цифири, скрупулезно вела книгу приходов и трат.

* * *

…Дормез скатится с моста, возьмет вправо, на Седьмую линию, и впереди покажется дом, арендованный Прасковьей Михайловной у купца Гурьева. Он не слишком велик, но на Васильевском острове еще мало таких — о семи окнах, крытых

железом, на подвалах, с нарядным крыльцом, пилястрами и наличниками.

Чего кручиниться — сыновья успели по службе, отмечены начальством. Александр — адъютант, издатель и сочинитель; сподобился императорского рескрипта. Николай год назад произведен в капитан-лейтенанты, состоит директором Морского музея (две тысячи рублей в год). Михаил весел, но не беззаботен: из флотского экипажа с повышением переведен в гвардию, штабс-капитан Московского полка, командир роты, несущей караул в Зимнем дворце. Кроткий Петр флегматичен, однако расшевелится — заслушаешься: красноречив и логичен. Главный командир кронштадтского порта адмирал Моллер привечает своего адъютанта Бестужева-четвертого. Самый младший, Павлик, — юнкер, после артиллерийского училища намерен поступить в гвардейскую конную артиллерию. Поступит.

Все удается сыновьям, все отзываются о них с выгодной стороны, ценят усердие, литературный слог, дарования. Кому не ведом кронштадтский театр, созданный Николаем и Михаилом?..

Но что-то гложет сердце Прасковьи Михайловны. Ни один из сыновей не женат. Михаил, сказывают люди, хочет свататься к старшей дочери вице-адмирала Михайловского. С матерью, однако, своими видами не делился. Александра, того и гляди, подстрелят на дуэли. Положительный Николай увлечен замужней женщиной, не первый год в виновной связи. Дочерей Любови Ивановны Степовой Прасковья Михайловна не смеет приласкать как своих внучек. Хотя — какой секрет? — дети эти Николая.

Зато твои дочери при тебе. Радуйся, Прасковья Михайловна. Радуется и — отгоняет печаль. Пусть и не вовсе бесприданницы, зато невесты незавидные. Собой не слишком хороши, стеснительны. Елена угловата, мужского общества сторонится. Неразлучные близнецы Машенька и Оленька конопатые, носатые. Всякий выезд для них мука мученическая. Робки сверх меры, слезливы не по годам, мало соединительны с другими людьми, живут успехами братьев, да «кофейными»[10] премудростями, коими напичкали их в Смольном монастыре.

Накануне отъезда в Петербург Прасковья Михайловна занялась наружностью и нарядами дочерей. Навестила Савицких. Софьюшка, все еще девица, по-прежнему румяная, звонкоголосая, следила за французскими журналами, где нарисована одежда ко всякому сезону, попадались у нее и русские — «Модный вестник», «Всеобщий модный журнал». На туалетном столике три книжки «Полярной звезды». Слегка краснея — пятна сквозь румянец, — Софьюшка выразилась в том смысле, что Александр Александрович чрезмерно суров в своих критиках, но повести,

повести — очарование… Прасковья Михайловна разговор повернула на туалеты, получила от Софьюшки советы и три выкройки. В моду входили укоротившиеся юбки с кружевами по подолу, поля на шляпах прежние, но надобны ленты, либо перья…

Прасковья Михайловна быстренько прикинула, что станет шить для дочерей дворовая девка, что закажет немке-модистке на Невском. По старинному, от бабки унаследованному секрету наказала дочерям, отходя ко сну, обкладывать лицо парной телятиной — ради мягкости кожи. Утром для гладкости и белизны — дынное семя, тертое с бобовой мукой, огуречное молоко. Чтобы извести веснушки — раздавленные сорочьи яйца. От прыщей — травяной раствор.

В дормезе полумрак, и Прасковье Михайловне не определить окончательные результаты своих косметических трудов. Материнское сердце тоскливо нашептывает: не столь они и велики.

Колокол у Андрея Первозванного ударил к вечерне, когда дормез остановился возле парадного крыльца.

Всякий раз, возвращаясь на Васильевский остров, она испытывала волнение, рожденное встречей с сыновьями, жившими своей, недоступной ей жизнью.

Перед домом дожидались две запряженные парой кареты, дежурили «ваньки». Видимо, у сыновей гости. Ничего необычного — суббота.

Николай и Александр извещены письмом, что матушка будет на неделе. Но Елена угадывала дорожные осложнения и точного дня не проставила.

Николай без шинели, сюртук внакидку, бросился к маменьке…

День декабрьский, но оттепельный. Снег по краям мостовой пожелтел, набряк. Над трубами прозрачный дымок, с крыши ленивая, как в начале весны, капель.

— Гости? — мать покосилась на извозчичьи сани и кареты. — Не помешала?

— Грех вам, — огорчился Николай.

Гости торопливо покидали дом. Каждый прикладывался к ручке, стучали каблуки, звякали шпоры.

Она не разбиралась в мундирных тонкостях и в эполетах, но отличала флотских офицеров от сухопутных, армейцев от гвардии. Статские ей сегодня не попались. Николай заверил, что увидит и статского, повел на второй этаж в конец анфилады, к своему кабинету.

Ничто не укрылось от хозяйского глаза. Ни плешины на

ковре, устилающем внутреннюю лестницу, ни пыль на балясинах, ни трещины на раме зеркала в расписанных под мрамор сенях.

Николай, проследивший взгляд матушки, засмеялся: все, дескать, в порядке, чистота, дескать, корабельная.

Чистота и порядок мужские, думает Прасковья Михайловна и треплет первенца по щеке, пахнущей колонской водой.

Она на ходу распоряжается, какие припасы куда сгружать, что в подвал, что в сарай на дворе, что на ледник. Повару велено не мешкая ставить опару, варить бульон для студня, готовить формы для вафель, печенья, для желе, завтра к шести утра разжечь плиту.

Проходя через комнаты второго этажа, мать замечает, что Саша, похоже, редко бывает у себя, у Мишеля и вовсе запустение. Неужто сын в лазарете?

Здоров, успокаивает Николай, на дежурстве, у него казенная квартира при лейб-гвардии Московском полку.

Николай занимал квадратную торцовую залу с окнами на обе стороны. По стенам картины и ландкарты, за зеркальными дверцами шкафов книги и модели кораблей. Над письменным столом миниатюра в коричневой рамке — портрет Степовой.

Собрание, видать, только-только завершилось. В пепельницах недокуренные сигары, на чайном столике чашки, стаканы, блюдца.

Навстречу мягко ступает круглолицый, голубоглазый Торсон. От изразцовой печки отделился единственный среди гостей статский — Кондратий Федорович: шея обмотана шарфом, выражение беззащитности, на щеках бледность.

Бестужева перекрестила Константина Петровича и Рылеева, трижды облобызалась с каждым. Торсон откланялся, Рылеева задержала.

— Ты, Кондратий Федрыч, сдается, не в лучшем состоянии, горло повязал. Погоди, трава у меня в дорожном ларце…

Мил он ей, дорог, Рылеев. Его союз с сыном Сашей подобен дружбе покойного мужа с Пниным; совместно издают альманах.

Сверх того, однажды Кондратий Федорович защитил ее и удержал Сашу от безумства.

Некто оскорбленный отказался дуэлировать с Александром. Злобу свою низко сорвал на его матери. Подкараулил возле церкви, обрушил град оскорблений: с мещанским отродьем драться не станет, о сына простолюдинки дворянских рук не замарает…

Узнав об этом, Александр не находил себе места, и, кто ведает, до чего бы додумался, не окажись рядом Рылеева.

— Доверься мне. Прошу. Глупостей наделаешь. Не время…

Через несколько дней новая весть облетела город. Рылеев встретил на улице обидчика Прасковьи Михайловны, исхлестал по роже, приговаривая, что не станет драться с трусом, шкурой барабанной, рогоносцем…

Сейчас в доме, охваченном колготой, Рылеев был почти членом семьи. Он понимал: Прасковью Михайловну тревожит отсутствие второго сына, а никто лучше его не посвящен в Сашины дела. Пообещал отыскать Александра.

Прасковья Михайловна взяла с Кондратия Федоровича, как и с Торсона, слово завтра быть к воскресному обеду.

— Непременно, — пообещал Рылеев. В руках трость с роговым набалдашником, на плечах енотовая шуба. — Непременно…

Михаил приехал поздно, сестры уже отошли ко сну. Торопливо скинул шинель в сенях, снег с воротника таял на кресле. Только что от Александра; дежурит у своего герцога, завтра к обеду обязательно будет… Михаил отказался ночевать дома, сославшись на обязанности по службе.

В окно Прасковья Михайловна видела фонари у возка, ожидавшего сына. Спешит, не отпустил лихача.

Михаил был возбужденнее обычного, Николай задумчивее…

Ей пора в постель: завтра столько забот, — подумать страшно. Но страх — радостный, заботы — в охотку. К воскресному обеду, в кои-то веки, собиралась вся семья — пятеро братьев и три дочери. Тревога, не отпускавшая эти две педели, разом иссякла. Какие для нее причины? Впереди редкий день, небывалый. Спаянное любовью семейство сядет за праздничный стол, подле матери.

Прежде чем удалиться в свою вдовью опочивальню — самую дальнюю комнату второго этажа, в конце, противоположном кабинету Николая, она поднялась на антресоли, в полутемную каморку Федора. Получив вольную, старый слуга не пожелал расстаться с Александром Федосеевичем, пестовал его сыновей и теперь доживал свой долгий век с помутившимся от старости разумом. Узнал он Прасковью Михайловну или нет?

В утихшем наконец-то доме она снова спустилась вниз. Ноги гудели. Наказав сенной девушке не проспать, поднялась к себе.

Ложась, вспомнила про Сашино письмо. Удивительно, никто из сыновей о нем не обмолвился.

Достала из муфты сложенный пополам конверт, прежде чем задуть свечу, не спеша, по складам перечитала письмо, отправленное сыном из Петербурга 28 ноября 1825 года.

«Я думаю, до вас дошли уже вести, любезная матушка, что государь скончался в Таганроге 19-го числа от желчной

лихорадки, рожи и воспаления в мозгу. Здесь эту новость получили в 11 часов вчерась — сей час собрался совет, Николай Пав. велел присягать Константину, но Оленин сказал, что есть духовная. Принесли — и там найдено было, что царствовать Николаю за тем, что Константин отказался, за себя и наследников. Однако Ник, все-таки не хотел перебить у брата, начали присягать. Все приняли это хладнокровно и тихо. Полки, шедши на присягу, не знали кому, — но тихо обошлось. Теперь есть и манифест Сената. Однако никто не знает, примет ли Копст, — а в Москве, говорят, Николаю присягнули, за тем, что дубликат духовной там был. Недоумение везде. Везде говорят тихомолком. Слез немало видно, даже и в первые минуты во дворце, когда я был там с герцогом. Приезжайте скорее сюда. А я отложу на несколько времени свою поездку в Москву; надо оглядеться. Смирно ли у вас? — а здесь как будто ничего не бывало, несмотря на неожиданность. Государыня молодая больна — бедняга, ей плохое будет житье. Старая государыня печальна. Ник. Пав. распоряжается всем и не показывает отчаяния. Ждут перемен больших, не знают, когда будет император, он поехал в Таганрог. Мы все здоровы, у меня лишь теперь насморк небольшой. Будьте здоровы… и покойны, любезная матушка. Нетерпеливо жду вас увидеть и, дай бог, поскорее. Поцелуйте за меня милых затворниц, спешу писать только о важном, ибо другие мелочи на ум не идут.

Прошу благословения

сын ваш

Александр Бестужев

P. S. Поздравляю с протекшим днем именин ваших. В мой ангел были у меня гости на ужин и *с дамами.* Знакомые все по здорову».

Засыпая, Прасковья Михайловна сквозь первую дрему слышала негромкие голоса. Николай вернулся с кем-то из братьев. С кем, не разобрала. Сморил сон.

6

Четвертушка бумаги как-то боком, чужеродно лежала поверх груды корректурных листов. Стихотворный столбец, заполнявший ее, был безотносителен к этим листам, Александр Бестужев прочитал его раз, другой,

По чувствам братья мы с тобой, —

Мы в искупленье верим оба;

И будем мы питать до гроба

Вражду к бичам страны родной.

Когда ж ударит грозный час

И встанут спящие народы, —

Святое воинство свободы

В своих рядах увидит нас.

Любовью к истине святой

В тебе, я знаю, сердце бьется;

И, верно, отзыв в нем найдется

На неподкупный голос мой.

Он не притронулся к взятым из спальни записям, которые делал с дорассветного часа. Все крест-накрест зачеркнуто двенадцатью строками, сочиненными в час, когда он парил в эмпиреях, ожидая чьих-то восторгов и угадывая чье-то озлобление.

Бестужев всматривался в листок, полировал ногти; внутри вздымался тяжелый вал.

Строки звали не к дуэли на перьях, не к журнальному единоборству. От них веяло картечью и кровью, они беспощадно скрепляли братство.

Он ни о чем не забывал, даже подхваченный пестрым вихрем, обремененный служебным долгом, поглощенный альманахом. В моменты отвлечения подспудно ждал: вот сейчас… Торопливо исписанные страницы; обгрызенные перья полетят в пылающий камин, в корзину с мусором. Грядет не угадываемое.

Лучше других Рылеев понимал Бестужева, ценил его, снисходил к слабостям. Но сейчас сам подал сигнал, не отделяя своей участи от бестужевской.

Александр никогда не думал о Рылееве с такой нежностью, никогда не был так готов к его зову и — настолько захвачен врасплох.

— Барин ждут к завтраку.

Помедлив, слуга, мявшийся в нерешительности возле двери из сеней, повторил:

— Ждут.

Ладно скроенный парень, кудрявый и курносый, в сапогах, пахнущих ваксой, из доверенных слуг Кондратия.

— Снег бы с сапог счистил. Лужа натекла… Передай Кондратию Федоровичу: барин благодарит, уже позавтракал. Ступай!

Дьявольски хотелось есть. Что такое пара яиц всмятку да чай с бисквитом для человека его телосложения! У французов спопугайничали — «завтрак должен возбуждать аппетит». Для русского организма самое верное — досыта наесться с утра, как матушкой заведено.

В любое бы утро Бестужев побежал к Рылеевым. Там известны его гастрономические вкусы, на столе обязательно будут соленые огурцы, оливки, каперсы, груздья… Но сегодня каждому лучше завтракать в узком семейном окружении. Тем более Кондратию и Наталье Михайловне; в этот год, после мучительных испытаний, они словно заново узнавали друг друга.

Александр подумал о воскресном обеде в «бестужевском гнезде» на Седьмой линии Васильевского острова. Сам он не позвал бы Кондратия на этот обед. Не измена дружбе. Но надвигавшееся подкатывало вплотную, неумолимо очерчивая круг возле каждого.

Бестужев, дернув шнур, раздвинул шторы. Солнце не проникало в кабинет. Но, вопреки мохнатой изморози на внешнем стекле, сделалось столь светло, что он подул на свечи. Сладковатый чад от фитиля плыл по комнате.

Отодвинул тонкий листок со стихотворением. Корректурные оттиски — Сомову, невелик труд; подписать успеется завтра, все равно по воскресеньям типография не работает. Но между сегодня и грядущими днями — пропасть.

Наводя через нее мост, Бестужев одержимо отдался новому занятию. Ни линейки, ни картона под рукой не оказалось, в ход пошла недавно исписанная, а теперь перевернутая чистой стороной бумага. Сгодились детские занятия рисованием, уроки в Горном корпусе, дорожный опыт адъютанта, когда чертеж составляется в карете, в чистом поле, в седле.

Рылеев сетовал: нет карты Петербурга, планов Зимнего дворца. Бестужев отговаривался: царская семья — не иголка в стоге сена, понадобится — найдем…

Глупо, легкомысленно. Необходимы планы дворца и города. Это ведь он сам ошеломил всех: «Можно и во дворец забраться».

Ошеломил и зашагал дальше.

Время брошенных на лету словечек миновало. Нужен внятный план. Вообще, нужна внятность. Идея пленила высотой и ясностью. Но стоило подвергнуть ее обсуждению, и ясность убывала…

* * *

Теперь это уже давнее. А было вот как.

Вышла первая «Полярная звезда». Воодушевление плескало через край, Бестужев велеречиво рассуждал о всеобщем усовершенствовании и натолкнулся на холодноватую усмешку Рылеева. Альманаху, пусть в нем печатаются гении из гениев, не преобразить народную жизнь.

«Народную?» — вскинулся Бестужев.

«Неужели наша мысль не идет далее дворцов, гостиных, парадов!..»

Подобный наклон — не полнейшая для Бестужева неожиданность. Что-то близкое улавливалось у папеньки, в его трактате и прожектах. Брат Николай не делал секрета из сравнения российских порядков с европейскими, не скрывал восхищения революционными взрывами. Торсон выше всего ставил британскую конституцию.

Александр Бестужев и сам умел подмечать нелады там, где принято обнаруживать гармонию. Менее всего наблюдал ее, странствуя по российским дорогам. Однако способность видеть, сострадать людской беде не обязательно побуждает к общественному деянию. Достаточно благотворительности, нелицеприятной правды, брошенной в пустые глаза сановника. Жертвователь и правдолюбец горд своей широтой и отвагой, оставаясь рабом закоснелого порядка вещей.

Нужны недюжинные душа и ум, решительное самоотвержение, дабы по собственной воле в корне изменить свою роль. Отныне ты не краснобай — распространитель крамольных анекдотов, но деятель, рискующий свободой и жизнью.

Так развивал свои взгляды Рылеев, когда вместе с Бестужевым возвращался после собрания в «ученой республике».

Все сильнее жестикулируя, Рылеев замедлял шаг, а то и вовсе останавливался. Бестужев, свесившись над оградой моста, смотрел вниз. В мертвенном свете белой ночи Фонтанка несла прутья, листья, клочья сена. В тени, падавшей от моста, вода казалась неподвижной. Выйдя из мрака, река возобновила свой

бег.

Бестужев начинал догадываться: Кондратий ведет разведку, это не единоличный его почин, за ним какие-то люди.

Клонящиеся к перевороту идеи Рылеева не слишком разнились от того, о чем Бестужев говаривал с Николаем и Михаилом, о чем шумели в собраниях Вольного общества, на «литературных четвергах».

«Что должно воспоследовать за словами? — Бестужев, не снимая рук с перил, обернулся к Рылееву. — Не действовать — грезы останутся грезами».

Рылеев сказал, что действия ждут своего срока. Александру почудилась обидная уклончивость. Если Рылеев склонен к ней, следовательно, он, Бестужев, неверно определил степень взаимной доверительности. Пожаловался на ночную сырость и предложил быстро двинуться домой.

Он проглотил застрявшую в горле досаду. Кто-то додумал не додуманное им. Другие проделали умственную работу, которую надлежало ему самому довести до конечной точки, а доведя, решиться на следующий шаг, ведущий к действию.

Теперь Бестужев видел: действие намечено и неотвратимо. Уклончивость Рылеева — верное тому подтверждение.

Что ж, он не из тех, кто ждет у моря погоды. Сегодня к нему еще приглядываются, пробуют на зубок, но завтра… Завтра все, кому надлежит, увидят его решимость, удостоверятся в напрасной применительно к нему осторожности. Он делом докажет свою верность «духу времени», о коем многозначительно упомянул Кондратий.

Рылеев не заметил, либо не пожелал заметить обиженного тона. Скорее же всего ему необходимо было прийти к умозаключению, чтобы совершить дальнейший шаг. Он не скрытничал и не ахти как строго держивался конспиративных правил, даже посвящал свою мать в подробности. Но, вербуя единомышленников, умел выжидать.

Осмотрительность Кондратия Федоровича касательно Александра Бестужева оправдывалась и тем, что он видел родство их темпераментов, слабости друга как-то отражали его, рылеевские слабости.

В дальнейшем сам Бестужев, вовлекая новых членов, выказывал осторожность и только однажды потерпел фиаско. Не раскрыл лишнего, но человек, которого он считал готовым к действиям, в последний миг отдалился, тем породив долгое недоумение и задев бестужевское тщеславие…

Осенью 1823 года Рылеев открыл Александру Бестужеву тайну противуправительственного заговора…

В Северном обществе не угасали прения о конституционном проекте Никиты Муравьева. Муравьев двигался от «республиканской цели» к умеренности, к *«выгодам* монархического представительного правления». Рылеев шел в противуположную сторону, отстаивая республиканский идеал и активную тактику. В наперснике и соиздателе он хотел обрести не только нового заговорщика, но и союзника в полемиках.

Вступая в общество, Бестужев не заметил Рубикона. Ощутил лишь холодок в спине. Есть, значит, люди, шагнувшие от смелых слов к опасному делу. Риск совсем не тот, что от язвительных шуток по поводу императорского рескрипта (матушка, однажды услышав от сына эдакое, заткнула уши…). На кон поставлены жизнь, честь, достояние. Давно близкий к заговорщикам в мнениях, он не помышлял о действиях. Вопрос, брошенный Рылееву на мостике, горбившемся над Фонтанкой, оборачивался против него самого. Почему кто-то другой должен намечать программу? Почему столь бесстрашный в речах, он ждал совета, кем-то для него прочерченной линии?

Не потому ли люди, имевшие цель и программу, не слишком спешили включить его в сообщество?

Рылеев объяснял смущение Александра растерянностью, ободрял, успокаивал: цель будет достигаться не вдруг, поспешность не в намерениях Северного общества, впереди годы…

Заверения эти лишь растравляли уязвленное самолюбие. Бестужеву милее был бы безотлагательный рывок, позволяющий показать себя: вот я каков! Он ораторствовал на дискуссиях о законах, конституции, имущёственном цензе, представительном правлении. Но дискуссии эти остужали его пыл, обрекали на созерцательство.

Выяснялось, что наличествуют общества в Москве, на юге, в западных губерниях…

Отныне Бестужев среди людей, обретших себя на тех же перепутьях, что и он, трепетно хранивших память о 1812 годе, помнящих восстание семеновцев и революционную волну в Западной Европе. Он не уступал другим своей образованностью, запойно читал Геерена, Смята, Вольтера, Руссо, Констана, умел ввернуть цитату. Войдя в думу петербургской «управы», отстаивал радикальные воззрения.

На длительном совещании, когда не видно конца речам, потерян счет выкуренным трубкам и Рылеев осушает третий стакан холодной воды с лимоном (любимое питье), Александр Бестужев, оседлав стул, взывает о внимании. Достает из-за обшлага адъютантского мундира листки, разглаживает,

извиняется, что станет читать.

Собравшихся несколько изумляет патетичность оборотов («… Кто бескорыстно принес в жертву родине свою кровь и молодость, кто первый запалил наследственный дом…» «В те времена добрые люди не прятали сердца под приветной улыбкою: были друзьями и недругами явно…»). Штабс-капитан, рассуждая в духе и смысле общества, уходил в прошлое. Тогда и нравы, мол, были чище, сердце соотичей открытее, вольный дух смелее. Невелика новация. Однако Бестужев, продолжая чтение, переходит к государственному и церковному самоуправлению, международному праву, урокам российской истории, отношениям с западом и востоком.

Его одаряют аплодисментами, кто-то восклицает браво»…

Глубокой ночью на улице брат Николай под фонарем воззрился на Александра: как сие понимать? Что за нужда склеивать фразы из разных повестей? Уместны ли эдакие фортели?..

Александр доволен: уместны, он надергал фразы не у кого-либо — из собственной повести «Роман и Ольга», ее герои, новгородцы XIV века, уже постигли государственные истины…

Положим, не герои, но автор, уточняет Николай, но за то ли Пушкин порицает Александра и Рылеева, что они в своих исторических пиесах понуждают людей прошлого рассуждать о сегодняшних темах?

Александру вольготно меж единомышленников, но и различия во взглядах не возводят преград, он умел убеждать. Немногие отличались его общительностью и немногие вовлекли в «управу» Рылеева столько заговорщиков, в их числе братья Петр и Михаил (по настоянию Александра и в целях заговора Мишель перевелся в гвардию), восторженный идеалист Одоевский, Якубович — горячий «кавказец» с черной повязкой на лбу, угрюмый и вспыльчивый Каховский…

Бестужев блюл правила конспирации и того же требовал от других.

«Пожалуйста, не сердись, любезный Туманский, что я не писал долго к тебе. По почте невозможно и скучно, а другим путем не было случая. Да и ты — сумасшедший: вздумал писать такие глупости, что у нас дыбом волосы встают. Где ты живешь? Вспомни, в каком месте и веке! У нас, что день, то вывозят с фельдъегерями кое-кого…»

Выглядя порой небожителем, мечтателем не от мира сего, на самом деле он трезво смотрел вокруг:

«Дибич силен, а Волконский стал дворецким без околичностей. Поговаривают о присоединении министерств к

Сенату; власть Аракчеева растет, как гриб, и тверда, как пирамида… В Петербурге ужасная скука… Солдатство и ползанье слились в одну черту, и офицеры пустеют и низятся день ото дня».

Скрытная жизнь знала свои приливы и отливы. Случалось Рылееву укорять Бестужева за неисполнительность, и Бестужев подчас дивился — Рылеев не к месту откровенничает. Загорались споры в собраниях, и вспыхивали ссоры под крышей дома Американской компании.

Бывало и так, что жизнь — явная — сама собой (покидали комнату два-три человека) становилась тайной; беседа, начавшаяся литературой, продолжалась предметами, отнюдь не безобидными. Как не безобиден был план второго этажа Зимнего дворца, над которым сейчас, в неярком утреннем свете декабря, трудился Бестужев.

Поглощенный рисованием, он въедливо допрашивал память. Общего расположения недостаточно. Нужны особенности анфилад, череда зал, галерей, покоев. Вырисовывая, он восторгался — какое великолепие! сколько совершенства!..

Эти шаги он бы никогда не спутал — быстрые, чуть шаркающие, отрывистая дробь согнутым пальцем о косяк; дверь, открытая рывком. В проеме, меж двух занавесей — Рылеев. Сегодня уже без шерстяного шарфа, в руках трость и шляпа, лаково блестят короткие сапоги. Под распахнутой шубой — твердый воротник, подпирающий болезненно-бескровные щеки. Енотовая шуба — дорогой презент Российско-американской компании, повод для шутливо-завистливых насмешек. Бестужев и сейчас не в силах отказать себе в них, испытывая неудобство от того, что Кондратий давно на ногах, одет для выездов, а он все еще в халате.

— Не слишком ли роскошна такая шуба для господина карбонара? Не присядет ли он в хижине бедняка?

Рылеев мимолетно улыбается. Сядет разве что на минутку, не раздеваясь. Близоруко подносит к глазам листы. Прекрасно, даже излишне старательно: нам нужен обыкновенный план… И заливается:

— Я ведь «планщик», Пушкин нарек…

(Удивительно, право, что в эти дни все нарастающей тревоги их не оставляло чувство близости с Пушкиным. Он где-то рядом, войдет, рассмеется, заговорит, быть может, подденет… Это в последнем письме Пушкина к Бестужеву: «Кланяюсь планщику Рылееву, как говаривал покойник Платов, но я, право, более люблю стихи без плана, чем план без стихов. Желаю вам, друзья мои, здравия и вдохновения».)

— Кондратий, не поспешил ли ты отказаться от шарфа?

— Нынче тепло, около трех градусов на термометре Реомюра. Барометр, заметь, на «ясно».

— Самое время — к «буре».

— Природа не в нашей власти. У нас и без нее достанет хлопот…

Рылеев сожалеет, что Александр не разделил с ними завтрак; обменялись бы мыслями, тем паче он запиской зазвал Владимира Ивановича. Барон Штейнгель, ночевавший у директора компании Ивана Васильевича Прокофьева, вскоре посетит Бестужева, у него кое-какие достойные внимания соображения…

У Бестужева свои, не лишенные двойственности отношения с почтенным Владимиром Ивановичем. Но раз Рылеев утверждает…

Для себя Кондратий набросал обширную программу визитов. Увидится с Трубецким, побывает на Седьмой линии Васильевского острова. Еще прежде обеда поцелует ручку у Прасковьи Михайловны…

— Тебе нужен Николай?

— Желательна определенность с морским экипажем.

Определенность — вот что ныне всего необходимее.

Намеченные встречи, разъезды — это и поиски определенности. Столь же отчетливой, сколь линии на планах, вычерченных Александром. Два листа Рылеев возьмет с собой, покажет Оболенскому. Беседа с ним поможет обрести ясность во многих начинаниях.

Рылеев произносит это со значением, выделяя слово «многих».

Бестужев любит князя Евгения Оболенского. Однако последнее время Евгения, члена Верховной думы, преследует опрометчивая идея: вправе ли они, едва различимые единицы среди сотен тысяч, покушаться на переворот, почти насильственно меняющий порядок вещей в стране? А если большинство населения удовлетворено нынешним устройством, не ищет лучшего и не стремится к нему?

Бестужев, не медля, возразил: идеи не подлежат законам большинства-меньшинства. Рылеев в свою очередь говорил насчет общей пользы от перемен в образе правления, о российских жителях, коим из-за невежества затруднительно выразить собственные суждения, о бесчисленных примерах, что свидетельствуют о народной поддержке.

Члены тайного общества не знают корыстных целей, продолжал Кондратий Федорович, идут на отказ от сословных привилегий, материальных выгод. Оберегая свою честь и честь общества, победив, не воспользуются властью, уступят ее

Великому собранию, Народному вече. В случае же неуспеха…

Это звучало веско. Но не все гарантии были достаточны, план передачи власти после ее захвата расплывчат; сохраняется туман и в вопросе о временном правительстве. Трудно отвлечься от подозрения о чьих-то честолюбивых вожделениях, угрозе диктаторства.

Бестужев и сам в минуты завихрений воображал себя боготворимым отцом нации. Но гнал подлое фантазерство, невольно подкрепляющее сомнения Оболенского. Вдруг да еще у кого-то такие мечты!..

Рылеев постоянно говорил о рыцарстве заговорщиков. Однако и тут взор скептика обнаруживал противоречие. Общество, дабы воплотить замышляемое, нуждалось в сильных личностях. Сильные же личности — история давала уроки на сей счет — всего более жаждут диктатуры.

«В ком усматриваешь российского Наполеона?» — подступал Бестужев к Евгению Оболенскому.

Оболенский имен не называл, в отличие от некоторых «северян», не подозревал Пестеля в диктаторстве, радовался, что друзья помогли избавиться от неуместных сомнений. Но вскоре снова поддавался колебаниям, уверяя, правда, будто они не отразятся на его поступках.

Время споров миновало, доспорим после победы, думалось Бестужеву. Однако близость к решающей черте порождала новые разногласия среди заговорщиков. Сам он, считавший себя солдатом, временами не был свободен от неуверенности.

Лучше, чем кто-либо, понимал Кондратия, понимал, с каким сердцем тот писал ночью адресованное лишь ему стихотворение.

Рылеев направился к двери. Порывисто отодвинув тяжелое кресло, Бестужев догнал его, обнял, почувствовал щекочущий мех на щеке и теплоту слез на глазах.

— Свидимся у нас на обеде. Ты не забудешь?

Кондратий все помнит, он загодя составил синодик. И Бестужеву не худо записать ближайшие дела, и прежде всего встречу с Гаврилой Степановичем. Не приказания, а дружеские просьбы, смягченные милым напоминанием Рылеева о детском дневнике Александра, о рабочих записях, какие тот умело вел последние два года на пустых листах книжки, изданной Главным штабом; все занесено, а прицепиться не к чему.

Рылеев засмеялся и продолжал смеяться, выйдя в сени.

Бестужев спустился с ним до крыльца, они еще раз обнялись.

Когда карета Рылеева выехала с мощенного булыжником двора Российско-американской компании, Бестужев ощутил: само пребывание в этом доме становилось чем-то обязывающим.

7

27 ноября 1825 года днем в дворцовой церкви Зимнего начался молебен во здравие императора Александра. Во здравие молиться было поздно, — еще 19 ноября в 10 часов 50 минут пополуночи государь почил в бозе. Но двор оставался в неведении об этом скорбном факте. Фельдъегеря с депешами месили осеннюю грязь на пути к Варшаве — граф Дибич спешил оповестить цесаревича Константина Павловича, наследника престола, о кончине старшего брата. В рапорте Дибича, доставленном 25 ноября, Константин именовался императором.

Но живущий в Варшаве Константин царствовать не желал и строчил письма брату Николаю, убеждая его взять российскую корону, — такова была воля покойного государя.

В разгар запоздавшего дворцового молебна о продлении всеавгустейших дней Александра камердинер из-за двери подал знак Николаю; тот вышел в бывшую библиотеку, находившуюся рядом. Залу монументально мерил шагами горбоносый Милорадович. Выражение отчаяния на холеном лице кутилы и рубаки не оставляло каких-либо надежд. Однако граф не ограничился миссией вестовщика, он счел должным лично поддержать великого князя и с солдатской прямотой бухнул: «C'est fini, courage maintenant, donnez Texemple» [11].

Молебен остановили, плачущих женщин повели в их покои, при дворе наложили траур.

Но Милорадович не полагал свою миссию завершенной. Великий князь Николай явил не только желательное самообладание, но сверх того нежелательное для Милорадовича стремление к самовластию. Петербургский генерал-губернатор, одновременно главнокомандующий гвардией и других частей гарнизона, счел уместным напомнить Николаю, что тот не любим гвардией и зарываться не следовало бы. Меланхолически глядя в лепной потолок, выразился в том смысле, что у него-де, Милорадовича, в кармане шестьдесят тысяч штыков, с таким оркестром можно заказывать любую музыку…

Николай, стиснув зубы, приступил к присяге императору Константину, не догадываясь, что не далее как вчера Константин в Варшаве присягнул императору Николаю…

Началась великая чехарда, именуемая междуцарствием, братья расшаркивались в письмах друг перед другом, удерживаясь от казарменных выражений, которые вот-вот готовы были сорваться с пера.

…Северное общество воспрянуло. Петербургская «управа» располагала теми же сведениями, что и двор. Утром 27 ноября

для «северян» император Александр еще лежал в Таганроге, прикованный недугом к постели, и Рылеев помышлял о положении в полках на случай вполне вероятной присяги, — царя, судя по депешам, никакими молебнами не поднять на ноги. Расторопный посыльный созывал Николая Бестужева, Торсона и Батенькова в дом у Синего моста. Рылеев и Александр Бестужев ждали их в кабинете, где еще дрожали утренние свечи. Решение приняли небывало быстро — ехать по казармам, выяснять умонастроение солдат, офицеров.

Весть о смерти императора погнала Александра Бестужева в Измайловский полк (адъютантские эполеты открывали полосатые ворота любых казарм). Полк, послушно исполняя команду, присягнул Константину.

Это, однако, не удержало заговорщиков, — надо было готовить войска для всяких непредвиденностей.

На ночь глядя в кабинет Рылеева как оглашенный ворвался Якубович — черная повязка сползла на глаза, усы торчком, длинные брови взлохмачены: «Царь умер; это вы его у меня вырвали!» Якубовича постарались остудить. Рылеев обнял его, заботливо поправил повязку и помаленьку выдворил в сени.

Следующим вечером на уголке рылеевского стола, ловя краем уха разгоряченные голоса, Бестужев писал матери, чтобы та, не мешкая, выезжала в Петербург. За этим же столом вчера вместе с Рылеевым и Николаем они тщетно трудились над прокламацией к войскам. Запутанность обстановки мешала внятному призыву. Тогда отправились по ночным улицам; останавливая солдат, открывали обман: от полков утаили завещание покойного царя, в нем — свобода крестьянам, солдатская служба укорочена до пятнадцати лет. Желанная новость наутро достигла окраинных казарм.

Бестужева и Рылеева не коробила выдумка с завещанием — агитаторский прием, не более.

Пока изготовлялись кольца с надписью: «Наш ангел на небесах», пока в витринах выставляли увитый гирляндами литографированный портрет «Константина первого, императора и самодержца всероссийского», пока чеканили монеты с курносым профилем (новый государь сильно походил на благословенного и благополучно приконченного отца), по столице катился беспокойный слух: Константин Павлович отрекается от престола в пользу нелюбимого войсками Николая.

Тайное общество опять оживилось, подогревая прежде всего недовольство гвардии. Совещания сменялись совещаниями, полки втягивались в заговор. Не стихала подготовка к выступлению, и не кончались споры вокруг него. Motto [12]«Теперь или никогда!»

Энергия и мысль Рылеева — во всех начинаниях «управы»; ее члены называют себя «солдатами Рылеева». После 27 ноября, особенно после 9 декабря, они уподобились скаковым лошадям, взнузданным временем. Шенкеля давал Рылеев.

Бестужевым владело общее возбуждение, усиленное соседством с Кондратием. Однако и сейчас он способен был отвлечься ради сочинительства, очередной красавицы или портного, «строившего» новый мундир. Потом, наверстывая, бросался выполнять поручения Катона. Он и сам давал поручения: они воспринимались всеми, словно бы шли от Рылеева. Имена, красовавшиеся рядом на обложке «Полярной звезды», существовали неотделимо. Для осведомленных Бестужевы выступали во множественном числе — к декабрю двадцать пятого года в заговоре состояли четверо из пяти братьев.

* * *

Облачившись в мундирный сюртук, Александр Бестужев отправился через двор навестить Наталью Михайловну. Его озадачивала откровенность Рылеева с женой в разговорах об «управе».

Наталья Михайловна не находила себе места, и Бестужев с трудом отвлек ее, затеяв возню с Настенькой, обещая свезти малышку в лес, познакомить с настоящим медведем, ручным, понимает человеческую речь… Барон Штейнгель, человек основательный, солидно подтвердил: такие медведи встречаются.

Приход Штейнгеля заставил бросить игру с Настенькой. Они налегке миновали двор, поднялись во флигель. Владимир Иванович грузно сел, заполнив собою кресло, Бестужев плюхнулся на софу, по привычке поджал под себя ногу.

Штейнгель скользнул из-под очков по чертежам на столе, неопределенно покачал головой — «зачем это? нужно ли?» — и уставился на Бестужева.

— По вашей милости, Александр Александрович, очей не сомкнул.

Бестужев растерянно вскочил. Он редко беседовал с бароном, но уважал его, подавляя в себе безотчетный ропот. Владимир Иванович еще ничего не сказал, а хочется возразить; уже сказал, возразить нечего, а все-таки хочется. Не от величественного ли спокойствия Штейнгеля при общем волнении?

Пятый десяток и — хоть бы седой волосок в шевелюре, в аккуратно подбритых, сходящих на нет бачках. Не сомкнул глаз, но свеж, румян, как если б вдоволь выспался.

Владимир Иванович слушал невнятные извинения Бестужева («в чем виниться?»), кашлял («вот оно, каково по холоду налегке бегать, не юнцы, чай»).

Вчера за обедом у Прокофьева (Иван Васильевич — гурман и хлебосол, средь зимы в хрустале свежая земляника) — воистину состязание в свободомыслии. Сенатор граф Хвостов туда же: «Я либералист, я либералист!..» Греч с Булгариным наперегонки в анекдотах; Фаддей Венедиктович такое выкладывает об особе Константина Павловича… Даже про мадам Араужо [13].Бестужев не отстает, Булгарина по плечу похлопывает…

Барон Штейнгель с натугой сдерживал омерзение.

Отошел вечером, в положительной беседе с Кондратием Федоровичем, с членами общества. Однако Бестужев и тут выкинул коленце.

— Вы, вы, почтеннейший Александр Александрович, ногу на порог кабинета… да зычно, аки на плацу: «Переступаю через Рубикон, а руби — кон, значит, руби все, что попало…»

Бестужев разглядывал розовые ногти. Водится за ним: «ради красного словца…» Положим, матушку и папеньку он не заденет; кого другого — не взыщите. В воспламенении последних дней Якову Ростовцеву при часовых гаркнул: «Дело доходит до палашей…» Что ж, из-за какого-то ляпания ночей не спать?

Бестужев пустился в сумбурные объяснения.

Отрывисто, точно саблей, Владимир Иванович рубанул ладонью. Жест этот, вскинутая голова — разгладилась белая складка второго подбородка — понудили Бестужева заподозрить, что тихость баронова, невозмутимость — верхний покров, под ним — расплавленная магма.

Владимир Иванович Штейнгель — сын провинциального чиновника и купеческой дочки, хлебнувший нищеты и розг в детстве; двадцать семь лет в офицерских эполетах; доброволец, отличившийся в Отечественной войне, отставной подполковник, известный всюду ревностным исполнением обязанностей и ненавистью к взяточникам…

В странствованиях по стране Штейнгеля не покидали скрываемые ото всех изумление и гнев. Где он, предел стяжательству, хапанью, мздоимству, казнокрадству? При эдакой прожорливости и сибирскую тайгу не мудрено слопать, не поперхнувшись корабельными соснами.

Щепетильное бароново бескорыстие на самых хлебных местах рождало змеиное шипенье: «Не нашего бога сын, колбасная душа».

С исступлением реформатора, верящего в разум и добро, не допуская помарок, Штейнгель составлял прожекты, имевшие

целью искоренить губительные нравы. Клал докладную записку в плотный конверт, скреплял сургучной печатью. Прожекты тонули в бездонных бюрократических омутах, как в гроб, ложились в пыльные папки.

Отставка — начальству изрядно надоел неистощимый прожектер — не охладила реформаторский пыл. С тоской Владимир Иванович думал о будущем страны, сочинял новые планы.

Хватким, близоруко сощуренным глазом Рылеев определил ценность барона для «управы», его связей в чиновничьем и купеческом мирах. Обедали на застекленном балконе гостиницы «Лондон» — столик в углу, скатерть накрахмалена до скрипа, неслышно подают улыбчивые татары, мелькают фалды отутюженных фраков. Задевались различные темы, о любой у Штейнгеля свои мнения; конечный итог: «Неужто нет людей, которых бы интересовало общее благо!»

Не мешкая, Рылеев позвал в общество. Штейнгель растерялся, он испытывал неприязнь к любым тайным сборищам. Но мужество и порядочность исключали попятное движение.

Рыбой, заглотнувшей крючок, барон колыхнулся туда-сюда: «Я не мальчик, мне сорок второй, нужно знать, что за цель…»

Рылеев посулил, что в Москве Штейнгелю откроется Иван Иванович Пущин. Само имя — залог достойных намерений…

Потихоньку, помаленьку Штейнгель входил в тайные дела, всей душой принял девиз последних недель: «Теперь или никогда».

Услыша подробности отречения цесаревича, объявил Рылееву: «Сим случаем надобно воспользоваться». И нашел — как.

Поелику Россия к быстрому перевороту не готова и внезапная свобода подаст повод к безначалию, беспорядкам, конституцию ввести законной властью, престол — Елизавете, вдовствующей императрице. Женщины на русском троне пользовались народной поддержкой.

Бестужев насмешливо скривился от Штейнгелева прожекта, — он не верил в бескровное восшествие на престол Елизаветы Алексеевны, еще меньше верил, что дарует конституцию. При слабой правительнице и трех зубастых великих князьях не избежать дворцовых козней.

Штейнгель увидел в Бестужеве оппонента более оснащенного, нежели думал, но на бестужевские сарказмы не отвечал. Он продолжал искать план, устраняющий заряженное оружие.

В молниеносно сменяющиеся декабрьские дни Штейнгель еще болезненнее ощутил, как бы сказать, многоликость молодых

товарищей по заговору. Одни лишь вчерашние кульбиты Бестужевы чего стоят!

Завтракая с Рылеевым, барон советовал, чтобы манифест от Сената объяснил народу положение в России. Рылеев согласился, но в детали не входил и просил Владимира Ивановича перемолвиться с Александром Александровичем.

Штейнгель, еще во власти впечатления от вчерашнего «Рубикона», не рвался встречаться с Бестужевым, но, впервые разговаривая с ним с глазу на глаз, убедился: склонный к эффектным позам и саркастическим речениям напомаженный адъютант не менее склонен к размышлениям. Понравился и кабинет — вкус, строгость, на столе рукописи, корректурные листы. Барон начинал день в шесть пополуночи и ценил трудолюбие других. В овальной рамке на стене, видно, матушка…

Кабинет делает впечатление о хозяине. Оно, вопреки настроению, с каким вступил сюда Штейнгель, оказалось благоприятным для Бестужева. Владимир Иванович не отрицал достоинств Бестужева-сочинителя, читал критику, не всегда соглашаясь. Сам грешил — пописывал; как и обо всем на свете, имел суждения относительно словесности…

В аттестациях, какие легче легкого расшвыривал Бестужев, случалось, блестели крупицы истины. Штейнгель улыбнулся, услышав от Бестужева о назначении диктатором князя Сергея Петровича Трубецкого — «кукольная комедия».

Барон, не умея объяснить почему, недолюбливал Трубецкого. Это неумение вызывало досаду, — Штейнгель полагал: чувства тоже нуждаются в обосновании. Коли он не в силах мотивировать смутную неприязнь к Трубецкому, то постарается ее одолеть. Тем более Трубецкой ухватился за план возведения Елизаветы на трон.

Наперекор логике, эта поддержка насторожила Штейнгеля: нет ли у Сергея Петровича своей цели, отличной от той, какой домогался Владимир Иванович?

Барон Штейнгель отказался от замысла, связанного с Елизаветой, но не от идеи бескровного переворота. Ее и развивал грустно-задумчивому Бестужеву.

Владимир Иванович за прочность принципов и — разумную подвижность мнений, тактики. Только чтобы изменить мнение, нужны веские, очень веские резоны.

Штейнгель старался закрепить согласие, вроде бы возникающее между ним и Александром Александровичем; разрыв обнаружился меньший, чем виделось вчера в столовой Прокофьева и в кабинете Рылеева. Не всегда они сорвиголовы, эти молодые. Шаркун-гвардеец, модный автор, рассеянно

полирующий ногти, не последняя, видимо, скрипка в трудно настраивающемся оркестре.

Тем необходимее объясниться по поводу злосчастного «Рубикона».

Бестужева огорчила «кукольная комедия», сорвавшаяся с языка. Не к месту, барон и так держит его за болтуна. Если Александру Бестужеву временами недостает предусмотрительности, беда ли, когда у диктатора она в избытке? Эта разумная мысль вступала в конфликт с другой: всего не предусмотришь. Походный опыт и адъютантский научили; сколько ни репетируют парад, — какой-нибудь казус явится, как ни вылижут дорогу перед императорским кортежем — деревца насадят, беседки и ретирадные места оборудуют, — какая-нибудь нелепица выскочит. Однако что есть его опыт подле доблестного прошлого Трубецкого? Не выгоднее ли в видах общества осторожность? Разумно ли всегда соваться со своим несогласием?

До нынешнего утра подобные настроения его не посещали, он едва удержался, услышав от Одоевского: «Мы умрем! ах! как славно мы умрем!» Удержало не благоразумие — нежность к Саше, пиитической душе, отзывающейся на дуновение ветерка. У него достало воли заглушить бурный протест, — он отвергал жертвенную обреченность, даже когда в это мрачное искушение впадал Рылеев; слишком наслаждался жизнью. Лучше слышать из уст Кондратия: «Дерзай!», чем: «Ежели это будет несчастливо, мы своей неудачей научим других».

Но если разумная оглядка Трубецкого оправдывает рылеевское «Дерзай!», — «кукольная комедия» и вовсе некстати.

«Теперь или никогда!» — сказал он вслух, негромко. Владимир Иванович подался вперед. Принимает девиз. Потому-то и встревожен угрозой всеобщего разрушения: только в Москве девяносто тысяч дворовых готовы взяться за ножи, наших близких ждет смерть.

Бестужев не то чтобы вовсе отбрасывал подобные опасения, но имел свои взгляды и не видел причины сейчас подвергать их дебатам.

Штейнгель принял его молчание как согласие и разоткровенничался. «Дерзай!» Рылеева он пропустил мимо ушей; чего-чего, а застрельщиков, охотников идти на гибель ради цареубийства в отряд обреченных хватало. Зато о возможности неудачи («молоды, ох, молоды») думали мало. Он, как и Рылеев, не сбрасывал со счетов такого исхода и загодя, старый волк, высматривал, где рвать блокаду, При неудаче в Петербурге — ставить на коронацию в Москве.

Эту возможность Бестужев, даже страдая от нехватки времени

(из уважения к собеседнику не доставал часов), охотно бы обсудил…

Нарушая разговор, вошел, шаркая домашними туфлями, Сомов. Небритый, с красным носом и красными от неизлечимого насморка глазами. В шлафроке без шнура.

Он не чаял увидеть здесь отдаленно знакомого Штейнгеля, смутился, шмыгал носом, моргал.

Впервые Бестужев осознал двусмысленность положения.

Орест Михайлович — из друзей наиближайших. Безмерно влюблен в словесность, не гнушается никакой работой при издании «Соревнователя», «Полярной звезды». Бестужев ссорился с Гречем, в типографии которого печатали альманах, — Сомов улаживал конфликт. Рылеев не мог совладать с автором, — многотерпеливый Сомов находил язык со строптивцем. Он вылизывал корректуру с тщанием, какого недоставало редакторам.

Временем Сомов дорожил не менее своих знаменитых друзей. Сам был достаточно знаменит, — его статью «О романтической поэзии» Бестужев ставил в пример литераторам.

К достоинствам деловым и сочинительским добавлялось редкое по доброте сердце, бессребреничество, не кичившаяся собой готовность делиться хлебом и кровом. Спальня и кабинет Бестужева — часть квартиры, уступленная ему Сомовым.

В чем же щекотливость положения?

С достаточно далеким Штейнгелем Бестужев касался тем, каких избегал в общении с неизменным своим единомышленником и другом. Сомов почему-то не состоял в обществе.

Само собой так сложилось? Чей-то умысел?

Бестужев спросил Рылеева: нормально ли? откуда недоверие? Кондратий возразил: за Ореста ручается, как за самого себя, но желательны рядом люди, не связанные зароками и правилами общества, однако споспешествующие ему. «Не настораживает ли тебя деликатность Орестовой натуры?» — резал Бестужев. Рылеев смеялся: неужто он слывет поборником грубости?.. Все осталось по-прежнему.

Натянутость первых минут не исчезала, Штейнгель более не затрагивал Москву, коронацию. Бестужев, сглаживая щекотливость минуты, подыскивал тему, годную для общей беседы.

Орест Михайлович откровенно возрадовался, увидев на письменном столе корректурные листы; за ними и пришел, Кондратий Федорович еще вчера напомнил. Будет читать, с радостью будет.

Одной радости мало, облегченно улыбнулся Бестужев, надобна въедливость. Раз надобна, — вдоволь будет въедливости, шмыгал носом Сомов. К его простодушному энтузиазму добавлялось тактичное желание, конфузливо запахнув шлафрок, поскорее оставить кабинет.

8

Шторы колыхнулись, дверь, пискнув, затворилась. Штейнгель и Бестужев обратились к мыслям, ход которых нарушил Сомов. Текли они теперь в разных направлениях Бестужев пытался вообразить, сколь выгодна Москва, если, не дай бог, постигнет неудача в Петербурге.

Ранней весной этого года он воротился из белокаменной с противоречивыми впечатлениями. Казалось, москвичи менее подготовлены к выступлению, чем петербуржцы. Однако в московской «управе» безупречнейший и мудрый Пущин. Второе увлечение — Якубович: кипучая страсть, завоеванное на Кавказе реноме храбреца. Бестужев не удержался в письме к Рылееву: «Главная моя утеха — Якубович…»

Третья связь оборвалась, больно задев самолюбие, — афронт с вовлечением в заговор князя Петра Андреевича.

Во «Взгляде на старую и новую словесность в России» Бестужев поставил Вяземского следом за Пушкиным:

«Остроумный *князь Вяземский* щедро сыплет сравнения и насмешки. Почти каждый стих его может служить пословицею, ибо каждый заключает в себе мысль. Он творит новые, облагораживает народные слова и любит блистать неожиданностью выражений. Имея взгляд беглый и соображательный, он верно ценит произведения разума, научает шутками и одевает свои суждения приманчивою светскостию и блестками ума просвещенного. Многие из мелких его сочинений сверкают чувством, все скреплены печатью таланта, несмотря на неровное, инде, падение звуков и длину периодов в прозе. Его упрекают в расточительности острот, не оставляющих даже теней в картине, но это происходит не от желания блистать умом, но от избытка оного».

Не просто фимиам и не только защита; солидарность, одобрение «мелких сочинений» — эпиграмм, ходивших в свете. Сам Бестужев, как из рога изобилия, сыпал сравнениями и насмешками, добивался неожиданности сюжетов, оборотов, слов.

Пушкин, уловив их близость, еще 13 июня 1823 года писал Бестужеву:

«…Признаюсь, что ни с кем мне так не хочется спорить, как с тобою да с Вяземским — вы одни можете разгорячить меня».

«Первый консул» сближал их имена. Александру Бестужеву грезился московский союз: Бестужев — Вяземский. Наподобие петербургского: Бестужев — Рылеев.

Редкие отклики понуждали его столь серьезно задумываться над своими «Взглядами на русскую словесность…», как дружеские послания Вяземского. Петр Андреевич был пугающе, радующе непримирим.

«В вашей литературной статье много хорошего, но опять та же выисканность и какая-то аффектация в выражениях. Вы не свободны и подчиняете себя побочным условиям, околичностям. Кому же не быть независимым, как не нам, которые пишут из побуждений благородного честолюбия, бескорыстной потребности души? Достоинство писателя у нас упадает с каждым днем и если новому числу избранных не поддержать его, то литература сделается какою-то казенною службою, полицейским штатом или и того хуже — каким-то отделением министерства просвещения… Независимость — вот власть, которой должны мы служить верой и правдой. Без нее нет писателю спасения: и ум, и сердце его, и чернила — все без нее заплесневеет».

Глубже узнавая князя Петра Андреевича (переписка длилась), Бестужев сильнее к нему тянулся, все выше ценил его. К двадцать пятому году, к московской поездке, Бестужев не мыслил себе общества без участия Вяземского. Уже видел счастливую сцену, братские объятия, венчающие вступление растроганного князя в заговор.

Разногласия? Не беда.

Подобно большинству членов общества, Бестужев неистовствовал от одних только слухов о присоединении к Польше белорусских и украинских губерний, его патриотизм был уязвлен полонофильскими речами Александра, флиртом Константина со шляхтой; остзейское засилье при дворе вызывало неприязнь к немцам, всему немецкому.

Петр Андреевич, многомудро улыбаясь, давал Бестужеву выплеснуться. Улыбка обращалась в откровенно презрительную, когда сам он говорил об Александре и Константине; и малейших иллюзий господствующий правопорядок у него не порождал. Но Польша должна быть сама по себе. Антипатию к немцам отвергал; не в них корень зла. В девятнадцатом просвещенном веке такие взгляды не внушают уважения…

Пусть бы и оставался при своих мнениях. Надобно согласие в краеугольном — необходимость общества, необходимость — Бестужев повторял Рылеева — «D'en finir avec ce gouvernement»[14]

Эту филиппику Вяземский обрывал с категоризмом, неожиданным для него, вальяжно-ироничного секунду назад. Он против заговоров, тайных клятв, конспиративных совещаний.

Князю ли, умнице, не видеть: иначе, как тайным, обществу не бывать, правительство осетило Россию шпионами.

От подобных обществ — в России, в другом крае — вред, пагуба.

Ретируясь, Бестужев давал понять: имеются весьма влиятельные лица, кои не состоят в заговоре, но поддерживают связь, в нужное время выступят на политическую сцену, сыграют главные роли. Комедь, отмахивался Вяземский, комедь, да и только — сцена, роли…

Бестужев бил последним козырем: тайное общество тоже действует в видах закона.

Вяземский откликнулся обидным смехом: зачем тайности, ежели закон? Наш закон — что дышло, в отчаянных руках разнесет все окрест…

Бестужев догадывался: некоторые могут сторониться тайного общества, даже не вдаваясь в причины его и цели. Барон Штейнгель не удержался от презрительной гримасы, когда упомянули масонов.

— Вы, Владимир Иванович, не почитаете, кажется, масонство? Чем они вам не угодили?

— Я человек религиозный, в бога и святую троицу верую.

— Не всякий масон — безбожник. Тайные братства и государь поддерживал…

В бессонных размышлениях, как и в своих прожектерских трактатах, Штейнгель пытался объять все стороны бытия. Масонская тяга к мистическому ритуалу не мирилась с его рассудочностью.

— В тайном обществе, доверяюсь вам, Александр Александрович, что в гнилом болоте: какая-нибудь гадость заведется. Без солнца всякая нечисть лезет.

— И на солнце цветет пышным цветом. Против нее и объединились.

Штейнгель сожалел о начатой теме. Не понять Бестужеву страха, отвращения перед уличным мятежом, к которому ведет тайный комплот. Его неприятие бунта и неприятие самовластия имели один исток. Бунт и самовластие не дорожат личностью. Отсюда все пагубы — беззащитность, безответность и безответственность личности. Произвол власти в глазах Штейнгеля не слишком разнился от произвола взбунтовавшейся толпы. Еще в 1817 году он советовал «оградить лучшими мерами» «взятие под стражу гражданина»; «в чужих краях взятие под

стражу бывает непременно при 12 человеках присяжных — не худо бы и здесь…».

Ставка на надежный правопорядок, сильную власть, приверженную законам, подвигла его вступить в тайное общество. Оно отвергало тиранический строй, державшийся на всесилии малой кучки и полном бесправии подданных. Штейнгель критиковал выдвинутый Муравьевым имущественный ценз. («Почему богатство только определяет достоинство правителей? Это несогласно с законами нравственными», имущественный ценз — гибельный соблазн для гражданской добродетели…) Он готов был стать заговорщиком, уповая на благоразумие товарищей по тайному обществу. Но горестно обнаруживал: благоразумия хватает не всем, горячие головы вожделеют перемен куда более радикальных, чем реформатор Штейнгель. Барона настораживали и якобинские крайности Пестеля, и уклончивость Трубецкого. (Если и смел упрекнуть Трубецкого — не более как в уклончивости, соглашаясь, однако: диктатору не пристало быть рубахой-парнем.)

В эти декабрьские дни, особенно после 6-го числа, его не покидала новая тревога — сам заговор не целиком в руках и власти заговорщиков. Наружные силы навязывают свою опасную последовательность. Среди сочленов имеются и такие, кто берет эту последовательность как должное, ребячески радуется ей. Пьют, хмелея, не подозревают, что на Донышке. Там — мятеж, вместо сладкого вина свободы — моря крови, красный петух, гуляющий по Руси…

Штейнгелю становилось не по себе. Как и сейчас в неровном ухабистом разговоре с Александром Александровичем: полнейшее вроде бы взаимопонимание и через шаг — пропасть.

Сутки не истекли после обеда у Прокофьева, а Бестужев успел сменить столько несхожих обличий, что впору уподобить его герою маскарада. Но Владимир Иванович улавливает: никакие это не маски. Все в нем, все при нем. Реплики Бестужева слабо связаны между собой: народ, выйдя на площадь, не обязательно буйствует, вспомним новгородское вече; просвещение — лучшая гарантия от самоуправства; крепостное право — помеха к сближению сословий…

Оно, конечно, хорошо, мысленно одобряет Штейнгель, Бестужев не пшют, не вертопрах. Хорошо, да мало!

Бестужев на людях и Бестужев наедине с собеседником — разные лица. Появление третьего персонажа, Ореста Михайловича Сомова, изменило тон хозяина кабинета. У самого Штейнгеля, надо быть справедливым, он тоже изменился. Досаднее всего, что уходит от главнейшей проблемы. Владимир

же Иванович не видит ничего важнее ее…

Штейнгель прав: с какого-то момента мысль Бестужева повернулась совсем в другую сторону. Не отмахивается от собеседника, но выуживает из беседы, как из супа клецки, лишь то, что нужно.

Бестужев уловил опасения Владимира Ивановича, разглядел шотландским вторым зрением [15]:Штейнгель нижет цепочку от общества к московским дворовым, что наточили ножи, ждут не дождутся пустить господскую кровушку.

Насколько непременен уличный бунт? Почему, будет извинителен вопрос, Владимир Иванович связал себя с обществом, вынужденным к тайному образу действия?

Штейнгель по-стариковски развел руками. Обмяк, квашней растекся в кресле. Бессонная ночь складками проступила на сером лице.

Неглуп, выяснилось, Александр Александрович, только все равно ему не понять. Надобно Штейнгелеву жизнь прожить, нужду понюхать, в таежных снегах ночевать, разбойничий кистень под носом узреть, барашка в бумажке из кармана вышвырнуть да в морду дарителю… Что еще? Сочинить десятки прожектов, в уме выстроить ряды идеальных реформ, пережить их крушение, вручить — не кому-нибудь — Аракчееву докладную записку о наказании кнутом…

Может, Александр Александрович и без сибирских снежных заносов уразумел бы речи Штейнгеля. Только он и не пытался.

Противуправительственный заговор — тонкий механизм. Кто ты — безгласная в нем пружина? Мастер-умелец?

Не в самое подходящее время всплыли вопросы. После утренних строк Рылеева Бестужев отсекал все лишнее. Однако лишнее ли? Откуда, скажем, тайность общества? Шпионы, аргусовы полицейские глаза. Но сама тайна возводит барьеры между заговорщиками и людьми, которым — тут он упрям — место в когортах заговорщиков.

Достаточно словечка, и Орест Сомов — вернейший сочлен, посылай, куда требуется.

Однако сколько слов израсходовано в беседах с Вяземским, какое единение достигнуто, но князь отвернулся. Недоверчиво щурил глаза, прижимал к очкам лорнет.

Бывает: то ли член общества — то ли сбоку припека. Дмитрий Завалишин, лейтенант флотского экипажа, двадцать лет от роду, а наврал с три короба, — учредил вселенский Орден Восстановления, местопребывание в Калифорнии, с одинаковой прытью строчил письма государю и лез в заговор…

Бедолага Штейнгель, похоже, в общество попал не обманом,

по своей же охоте, ломая собственную волю, с холодным рассудком, который то принимал, то отвергал заговор и все-таки принял…

Из жалости Бестужев бросил ему спасительную нить. О масонах Владимир Иванович пусть порассуждает, это его не заденет.

Масоны, вспомнил Бестужев, объединялись в венты, ложи, окутывались тайной, однако никому вреда не нанесли.

— А польза какова? — подхватил Штейнгель. — Какой резон в единении практических людей, не ищущих практической пользы?

Он привалился к мягкой спинке кресла, сложил на животе пухлые руки, заинтересованно обернулся к Бестужеву.

— Масоны делятся на людей обманывающих и обманываемых. Даже в том разе, когда лишены корысти и не лишены рассудка.

Взгляд Штейнгеля был для Бестужева неожидан. Многие из сочленов «управы» когда-то состояли в ложах, брат Николай принадлежал к «Избранному Михаилу», дома берег молоток и фартук; Гаврила Степанович Батеньков — куда уж умнее и праведнее, верный друг Владимира Ивановича — был масоном.

Штейнгель миролюбиво заметил: и умные люди не свободны от слабостей («слабинок», деликатно уточнил), Батеньков отошел от масонства.

Насколько отошел, Бестужев не брался судить; время масонов в России миновало, те из них, кто сохранил человеколюбие, коего требовал «Избранный Михаил», получили новое поле деятельности.

Бестужев упрямо гнул о Батенькове. И масон был ревностный, и заговорщик не из последних. Берег благодарную память о масонском прошлом. В сражении 1814 года, израненный, лежал среди трупов, тоскливо ожидая кончины; его заметили два офицера французское гвардии, ибо, прикрывая рану, Батеньков сложил руку в виде масонского знака: офицеры приказали отвезти русского в госпиталь…

По просьбе Бестужева Батеньков повторял свою историю. В ней соединялось все, что Александр самозабвенно любил: чудо, тайный знак, спасение, И чем-то напоминало давнюю историю папеньки…

Бестужев миновал искушение масонством потому, скорее всего, что разминулся с ним во времени. Романтика «вольных каменщиков» развеялась, сами они угодили под запрет. Но на Западе масонство цвело. О том доподлинно известно Бестужеву.

Покойница герцогиня Вюртембергская более двух лет назад

поручила ему передать императору Александру письмо от графа д'Оррера, уведомлявшего об итальянских карбонарах, швейцарских и французских вентах, испанских революционерах, о тайных собраниях, зажигательных речах, террорных планах, складах оружия.

Желая успокоить, а заодно и позабавить взволнованную герцогиню, Бестужев рассказал, как в ответ на изречение герцога: «Дороги — зеркало отечества» — осмелился дать совет — не глядеть в зеркало, а взглянув, не забывать русскую пословицу: «неча на зеркало пенять…».

Герцогиня беспомощно улыбнулась, до нее слабо доходил смысл русских пословиц. Тем более что ни ей, ни ее мужу адъютант не обмолвился о кривой роже…

В унылой тиши ночного дежурства Бестужев перечитал письмо. Его потрясли всеохватность тайно сплетенной сети, прицел на вселенское кровопускание. Однако вскоре страх схлынул, оставалось впечатление сказочности, миражности, отдающей бредом.

Сегодня, встретясь с бароном Штейнгелем, он вспомнил о письме д'Оррера, соотнес подготавливаемое начинание с необъятным замахом масонов. Вырисовывалось нечто гигантское, но бесформенное, лишенное объединяющего стержня. Запальным шнуром к всесветному взрыву послужит выступление Северного общества? Нет оснований. Они сознавали себя в границах России, вернее, петербургских застав. Барон Штейнгель лучше Бестужева знал страну. Именно это знание вовлекло его в тайное общество и — внушало опасения. Оставшиеся часы он употребит на то, чтобы доказать Бестужеву, Рылееву, всем, кто рядом: надо любой ценой избегнуть кровопролития, посредством Сената созвать Великий собор, огласить манифест.

Бестужев, поджав ногу, сидел на софе. После ухода Сомова он прошелся по кабинету и вернулся на прежнее место, сунув за спину бархатную подушку.

Окно оттаяло, сквозь мокрое стекло слева виднелась недавно расширенная конюшня, — Рылеев завел собственный выезд; справа — сарай для дров. Впереди, заслоняя Мойку, тянулась махина Российско-американской компании, темнели ряды зашторенных окон.

Заметив недоуменный взгляд Владимира Ивановича, Бестужев пробормотал:

— Сенат, разумеется, Сенат, конечно, Сенат…

Вытащил из-за спины бархатную подушку и — в угол ее. Ударом ноги отшвырнул низкую скамеечку. Рванулся к столу.

Макнул перо, перекрестил лист, второй, — брызги полетели.

Не дожидаясь, покамест чернила высохнут, начал чертить, что-то бормоча.

На первом листе — четырехугольник, вроде кирпича («Зимний дворец, Владимир Иванович»), широкая подкова впереди («Верно, Главный штаб»), позади лентой Нева, сбоку — Адмиралтейство.

На втором листе размашисто: Сенат, памятник Петру Первому, огороженный участок строительства Исаакиевского собора («Возведению конца не видно, Владимир Иванович, бараки для рабочих окрестили Исаакиевской деревней»). И снова Нева, Адмиралтейство…

— Войска, дражайший Владимир Иванович, ваша правда, надобно не на Дворцовую площадь, а на Петровскую, к Сенату.

— Я ни о чем подобном…

— Сравните, вы тактик опытнейший. На Петровской площади все выгоды у нас.

Обескураженный Штейнгель вместе с креслом отодвинулся от стола. Не к тому ведь, не того ради душу выворачивал, призывал на помощь ледяную логику.

— О манифесте пекусь.

— Вам, барон, и карты в руки. Вы отменнейше гусиным пером изложите, А мы — трехгранное перышко… Подписью скрепим.

Разговаривать больше не о чем. Они стояли подле письменного стола. Бестужев выше, мощнее в плечах. Синий мундирный сюртук с золотой бахромой эполет — без морщинки, без складочки.

Штейнгель оправил смявшийся на животе жилет, застегнул коричневый фрак.

— Кондратий Федорович просил быть вечером. У себя назначил.

— Непременно, — подтвердил Бестужев.

Единственный, кажется, пункт, по которому они достигли согласия.

Александр Бестужев был доволен, более того, рад. Он с безусловной пользой провел этот час. Но не слишком ли много — час?

Следовало обновить диспозицию, учитывая, что войскам надо выйти именно на Петровскую площадь, построившись в каре перед Сенатом. Он не допускал, будто Трубецкой или Оболенский откажутся от счастливо найденного плана. Этот план не вел к отказу от его же, бестужевской идеи «забраться во дворец». Вопрос — где сосредоточить главные силы, куда стянуть надежные полки.

9

В сентябре, когда расширяли каретный сарай, во дворе работал рябой одноглазый плотник с мальчонкой — подмастерьем. Являлся ни свет ни заря, переодевался в холщовую рубаху с широкими рукавами, на ногах лапти, за кушаком топор. По мере надобности топор заменял пилу, молоток, долото, струг. Толстые бревна и легкие доски, стропила и балки для новых ворот — все обрабатывал топором.

Отложив перо, Бестужев зачарованно следил за одноглазым сноровистым мастером, который поглощенно тесал и обстругивал лесины, точными ударами вгонял гвозди.

Однако тот замечал многое, видел, что высокий, плечистый барин из флигеля, носивший треугольную шляпу по-адъютантски — углом вперед, любуется его работой. Чуть приплясывая, ходил под окном баринова кабинета или, расставив ноги, поплевывая на ладони, играючи обтесывал бревно.

Бестужев сообщил о плотнике Рылееву. В квартире Кондратия стояла мебель от дворцового столяра Егорова. При наводнении пострадали стены, пол и мебель, растрескались шкафы.

У Рылеева руки все не доходили до ремонта. Наталья Михайловна, приезжая из Батова, в лучшем случае безучастно наведывалась на кухню. Не могла оправиться после смерти сына.

Бестужев спросил у плотника: взялся бы он починить дорогую мебель? «Раз человеком делано, человек исправит». Бестужев недоверчиво скосился на топор, но одноглазый бойко парировал: «Не топор тешет — плотник»;.

Он и у Рылеева сыпал поговорками, прибаутками, заставляя их с Бестужевым улыбаться. Они любили смачную простонародную речь.

Рылеев выспрашивал одноглазого о житье-бытье и еще о том, какие он любит песни. Плотник помнил их множество, но не было тех, что хотел бы услышать барин…

Встреча со Штейнгелем заставила Бестужева вспомнить о плотнике. Если московские дворовые точат ножи на бар, почему бы петербургскому мастеровому не побаловаться острым топором?

Напрасно Владимир Иванович полагал, что Рылеева, брата Николашу и его не занимали такие вопросы. И о песнях Кондратий спрашивал неспроста. Песни, считал он, — «средство к раскрытию ума простого народа». Выступление войск, говорил Кондратий Федорович, лишенное народного сочувствия, обречено. Получив поддержку, даст бог, обойдемся без топоров и крови. Следовательно, нужна поддержка в строгих границах.

Но нелегко было обозначить такие границы, Отсюда и сомнения, споры, доводившие до отчаяния.

Песни в народном духе, пародии, подблюдные припевы, сочиненные пиитами-заговорщиками, — счастливейшая находка.

Бестужев и Рылеев писали песни, отдыхая в Батове, в Петербурге — уединившись ночью у Кондратия. Тайна — строжайшая. Идея покидает узкий кружок и уплывает в людскую глубь. Риск велик. Ну, как жандармская лапа схватит только что родившуюся песню: песне конец, родителям несдобровать. Вдруг да народ не принял песню, — умереть ей нигде не напечатанной. Не схватили, достигла простых сердец и — обрела продолжение. Но неведомо, кем и в каком духе будут сочинены новые строфы.

Царь наш — немец русский.

Носит мундир узкий.

Айда царь, ай да царь,

Православный государь!

Никакой он не «православный» — чужак, «немец». «Мундир узкий» — мода, отвратительная, неудобная для солдат.

Царствует он где же?

Всякий день в манеже.

Прижимает локти,

Прибирает в когти…

Развенчать самовластие, его ничтожность, манию величия. Мелок, звероподобен император. Вся-то его мудрость: «Царством управляет. Носки выправляет».

За воротами казармы — новая казарма, а там — вторая, третья, четвертая… Вся страна — казарма, царю любы только муштра и невежество.

Враг хоть просвещенья,

Любит он ученья.

Школы все — казармы,

Судьи все — жандармы.

Потом про «злодея из злодеев» — графа Аракчеева, про подхалимов и блюдолизов.

Но поднялись и другие люди. О них — вскользь, и об угрозе, какая над ними нависла.

А за правду-матку

Прямо шлет в Камчатку.

Бестужев не раз слышал, как про царя-немца распевают на офицерских пирушках. Иногда путали слова или соединяли с какой-либо другой песней. Бывало, например, с ими же сочиненной — «Ты скажи, говори».

Ты скажи, говори,

Как в России цари

Правят.

Ты скажи поскорей,

Как в России царей

Давят…

Бестужев смиренно улыбался, слушая, как поют их с Рылеевым песни; ошибались — не поправлял, присоединялся к общему хору. Он менее всего жаждал оваций. Самолюбие удовлетворялось успехом намерения: расчет точен, делается благое разрушительное дело.

Для офицеров, для петербургской публики придумана была песня «Ах, где те острова». Придумана с хитростью, отводящей подозрения от истинных авторов. Бестужев упомянут среди других фамилий. («…Где Бестужев-драгун не дает карачун смыслу…») И про Греча сочувственно, про Булгарина благодушно: «Не боится ногтей танты». (Ногтей — не царских, всего лишь тетушки, жившей у Булгарина.)

Подблюдная песня «Вдоль Фонтанки-реки» без экивоков учила, как обойтись с великими князьями, измучившими полки муштрой.

Разве нет штыков

На князьков-сопляков?

Разве нет свинца

На тирана-подлеца?

Сочиненные в тираноборческом запале куплеты, подхватывая, уводили дальше, чем поначалу собирались авторы.

Уж вы вейте веревки на барские головки,

Вы готовьте ножей на сиятельных князей;

И на место фонарей поразвешивать царей!

Тогда будет тепло, и умно, и светло. Слава!

Стал бы Владимир Иванович Штейнгель стращать Александра Александровича Бестужева ножами, знай, что тот сообща с Кондратием Федоровичем сочинил о кузнеце:

Как идет кузнец да из кузницы. Слава!

Что несет кузнец? Да три ножика,

Вот уж первой-то нож на злодеев вельмож,

А другой-то нож — на попов, на святош,

А молитву сотворя — третий нож на царя.

Не всегда, не слишком уверенно Бестужев и Рылеев ратовали за опасные орудия. Но слова из песни не выкинешь…

Над «возмутительными» куплетами «Ах, тошно мне и в родной стороне» потели долго. Пародировался известный романс Нелединского-Мелецкого. «Ох, тошно мне на чужой стороне…»,

стенала покинутая красавица. Зачем чужая сторона, думали новые авторы, в родной тошно. Не одним лишь брошенным любовницам.

У романса взяли форму и мотив. Песню наполнили бунтарством. В ней о барстве с плетью, живодерстве, о судьях и попах-обманщиках, о взяточниках, о подлой торговле людьми. Все отнято силой, что ж, и силой «выручим мы то…».

И приволье,

На раздолье

Стариною заживем.

Как, однако, забрать, когда вся сила у господ? На себя надейся.

А до бога высоко,

До царя далеко,

Да мы сами

Ведь с усами,

Так мотай себе на ус.

Ни одна, вероятно, песня столь не растравляла душу, как эта — «Ах, тошно мне и в родной стороне». Но чего-то ей недоставало. На топоры, веревки, кинжалы намека нет.

Манил кузнец с тремя ножами, — вот она, силушка. И страшная. Наточит четвертый, пятый… Где конец ножам?

Не за свои головы страх, — сами хоть на заклание: «жертвуем собой», «славно умрем», «обречены». Но — дети, родители, братья, сестры. Ошалеет красный петух — не остановишь. И не только за отчий кров опасенья — за отечество.

О бунтах, мятежной черни Рылеев и Бестужев размышляли тогда еще, когда Штейнгель слыхом не слыхивал о тайном обществе.

Барон в канунный час излил свои тревоги. Князь же Вяземский, вздрогнув, замолкал на полуслове, беседа подступала к опасной черте — будто пальцем касался наточенного лезвия, раскаленного железа. (Он обжегся, в одиночестве читая-

перечитывая крамольные песенные тексты. И — сберег их, сохранил копии в собрании собственных бумаг, когда авторы ушли в небытие…)

Их швыряло из крайности в крайность. От ножевой расправы к благоразумному возмущению. Но каким способом удержать стихию в строгих рамках благоразумия? Возбудить гнев легко, его и без песен в избытке. Разольется, потечет огненная лава, испепеляя все на своем неукротимом пути, померкнет легенда о последнем дне Помпеи.

Как тут без споров, ночных бдений, сломанных копий?.. Песнями продолжались шумные дебаты. Когда крамольную идею облекаешь в слова, не раз испробуешь каждое… Солдатам — свои песни, прочему люду — свои. Неодинаковые силы, и по-разному их направлять.

Офицерский переворотик, дворцовая интрига — не для Северного общества и не для Южного. Рылеев прав: дело тогда будет прочным, когда обеспечено «гражданским состоянием», опирающимся на военную силу, потому для солдат — песни особые. Народное восстание, мятеж черни не улыбались «северянам» и «южанам». Миновать Сциллу и Харибду и все же добиться свободы, всеобщего благоденствия.

Не надеясь на полки, затевать что-либо — чистейшее безрассудство. К этому не сразу пришел Бестужев, но придя, — не отступал. Повторял: полки, солдаты, армия, гвардия… Повторяя, постигал: солдаты — средство захвата власти. И — удержания народа. Войска в умелых руках — меч обоюдоострый: против самодержавной тирании и против могущей разбушеваться толпы.

Когда барон Штейнгель стращал уличными бунтами, Бестужев уже знал, кто не допустит этого. Уверился в своей правоте, но не был уверен — все ли удастся? Какие гвардейские полки и насколько надежны? Вникая в планы рылеевской «управы», вдруг увидел — разумнее вывести войска на Петровскую площадь, чем на Дворцовую. К Сенату, а не к Зимнему. Был и такой довод: сюда стечется гораздо больше народу, он укрепит настроение войск, будет под их охраной и надзором.

Бестужев из тех заговорщиков, кто ясно видел пропасть непонимания между заговорщиками и толпой. Язык разный.

Оба они, Рылеев и Бестужев, порицали друзей за галломанию. Сочиняя стихи и прозу, часто следовали старинным сказаниям. Но не заблуждались: дальше салонов их творения не пойдут. Потому и отважились на агитаторские песни и куплеты, подблюдные припевы. Дошли ли они по назначению? До полков — дошли. С солдатом легче договориться, чем с рябым

плотником, у которого чуть что — шуточки да прибауточки, сам себе на уме. За его острым топором гляди в оба, как бы одноглазый двуглазых не провел.

Куда ни кинь, надо готовить офицеров и нижних чинов. Не все согласны, в части нижних чинов. Не согласны — пусть умствуют, ждут у моря погоды. Александр выложил без утайки: начинать что-либо, не имея надежды на солдат, безрассудно.

Откуда бралась надежда?

Большинство в «управе» — офицеры, они могли составить мнение о подчиненных, Хоть и нелегко это; у нижнего чина крестьянский корень, память о двенадцатом годе, о европейских селянах, не ведавших крепостного ярма. Правда, гордость победителей попрана аракчеевским сапогом. Однако попрана, да не растоптана…

Управляющий в Сольцах — плут и соглядатай — норовил угодничеством, доносами снискать расположение барыни. Прасковью Михайловну его нашептывания не занимали, строгая старшая дочь грозила выгнать жуликоватого Егора, чтоб ноги его в доме больше не было, не видеть эту хитренькую бороденку, зыркающие глазки…

Александр Бестужев, редко навещая Сольцы, отстранялся от хозяйственных забот. С книгой и трубкой валялся на широченном диване, грыз перо, делал наброски. Либо ездил верхом по речному берегу, гулял по лесу. Но подгадывал вернуться к приходу Егора. Слушал, открыв дверь, из своей комнаты.

Бестужева занимали Егоровы россказни. Особенно про солдат, наезжавших в отпуск. Они, если верить управляющему, поносили царя-батюшку, обзывая его лжецом, обманщиком (сулил за спасение отечества скостить годы службы, накинуть жалованье; как прогнали французов, ничего не исполнил), потешаясь над земляками, уповавшими на государево милосердие.

Сходные вести и у Кондратия из своего Батова. О подобных же умонастроениях сообщали другие офицеры-заговорщики. Они старались эти настроения распалить, подбрасывали в огонь бревешко-другое. Но не всякое увещевание действовало. Сократить срок солдатчины, отменить крепость — принимается. Однако конституция, справедливые законы, Народное вече, просвещение — облако словесное. Пугача бы лучше вспомнили, кликнули клич к бунту, воззвали: жги да режь… Неправедная присяга? Трон должен наследовать Константин, а зарится Николай? Солдату что Николай, что Константин; к его пожелтевшим, прокуренным зубам всего ближе мосластый кулак фельдфебеля.

* * *

Надвигались дни круговоротные, двери беспрестанно хлопали (вход был со двора), на вешалке вперемешку висели шинели, бекеши, рединготы с пелеринами, шубы.

Рылеев бледен, не встает с дивана, шея забинтована, дыхание с хрипом, голос слаб. Бестужев привез доктора-немца. Коротконогого, важного, в фиолетовом фраке. Не раскрывая саквояжа, доктор ощупал тонкую шею Рылеева, приложил ухо к груди, посмотрел гортань и язык. Выражение недовольства удерживалось на свежем докторском лице. Лекарю все не нравилось: воспаленное горло, хрипение в груди, дым и духота в комнате, холод из плохо пригнанного окна. От сухого компресса проку не будет; делать влажный, менять каждые два часа, горло полоскать настоем трав (достал пакетик из саквояжа). Никаких волнений, словопрений. Тишина, тишина, тишина. Покой, покой, покой. Доктор погрозил перстом Рылееву, Бестужеву, двери, из-за которой слышались голоса. Всему неуемному дому.

Едва доктор исчез, между Бестужевым и Рылеевым завязался спор из-за полоскания горла. Кондратий полосканий не выносил, пакетик с травами так и не распечатали. Вошли люди, Наталья Михайловна сменила компресс, ее тяготила болезнь мужа, весь этот проходной двор… Однако Кондратий, поцеловав руку жены, уверил, что подобные условия для него целительны…

Еще через десять минут Бестужев забыл о докторских советах. Его подхватил поток, берущий начало у ложа больного Рылеева в этих комнатах, пахнущих табаком, болезнью и типографской краской. Рассыльный частями доставлял листы будущей «Звездочки», надо держать корректуру… Ждали тысячи неотложных дел, отрешиться от них удавалось лишь за полночь, в тихом дворовом флигеле. И то не всякий раз. Но в ночь с субботы на воскресенье, на сегодня, Бестужеву редкостно посчастливилось…

* * *

Он посмеялся над своей удачей, над торопливо исписанными и безжалостно перечеркнутыми листами, на оборотной стороне которых — наспех, но старательно набросанные планы Зимнего дворца, схемы двух петербургских площадей.

* * *

Рылеев не любил Петербурга, Бестужев — любил, ночной и дневной, летний и зимний.

Нынче благодать: солнце со снежком, декабрьская оттепель. На южной стороне — сосульки с крыш, в тени — морозно.

Возле Синего моста — как назло — ни одного рысака. Воскресенье. Кто к обедне, кто на прогулку. Мало ли воскресных забот у петербургских бездельников!

Он поднял воротник шинели, подошел к фонарному столбу. Наверху, приставив лестницу, возился фонарщик. Протерев стекла, достал бутыль из сумки у пояса, долил масла, захлопнул дверцу фонаря, накинул крючок и спустился на тротуар.

С любопытством зеваки Бестужев наблюдал за этой процедурой.

Фонарщик, столичный житель, знающий обращение, сдернул суконный картуз. Бестужев поздоровался, заговорил. Выяснилось, что для светильников идет конопляное масло и ламповое. Шутка сказать, — на лице у фонарщика восторженное изумление — в год на санкт-петербургское освещение тратится свыше ста пятидесяти тысяч рублей!

Бестужев поддакнул: многовато, дороговато — и поинтересовался, когда зажигаются фонари зимою.

В три часа с половиной пополудни, гасят в семь с половиной пополуночи.

Огорченно подумал: короткие дни, самые короткие в году.

Планы не связывались с протяженностью дня. Но все-таки для стороны, начинающей дело, в коем берут участие войска, желательно иметь в запасе побольше светлого времени.

У темноты, однако, свои плюсы, утешил он себя. Ник утешал всякий раз, столкнувшись с каким-либо осложнением.

Натянув вожжи, рядом остановился «ванька».

— Прокачу, барин. Вороные птицей летят. Бестужев откинул полость.

— Невский. Против Гостиного двора… Да побыстрее! Он спешил к Гавриле Степановичу Батенькову.

10

Когда-то Александру Федосеевичу не терпелось дождаться, чтоб сыновья выросли, он заглядывал под стол: когда мальчонки дотянутся ногами до полу? В год его смерти Николаю стукнуло девятнадцать; чахлый, болезненный первенец вымахал в крепкого, щеголеватого моряка, мичманом кончил Морской корпус. Невинным насмешкам сначала отца, а потом и матери подвергалась его скрупулезная точность, педантизм.

Прасковья Михайловна деланно ахала, увидев у Николаши на столе пружинки, колесики, — он собирал и разбирал часовой механизм, пытался усовершенствовать хронометр. «Эко ты, сынок, намусорил». Николай улыбался: в их семействе без надежных часов — беда, — Мишель прибежит на рандеву до срока, Саша — опоздает.

Матушка возражала: точность не от часовой стрелки — от натуры.

Сегодня хотела подняться в пять с половиной пополуночи, но пробудилась раньше. Лежала в темной вдовьей спальне с ало мерцающей лампадой. Встала, услышав скрип саней, цоканье конских подков, шумы раннего Андреевского рынка, грохот дров, сваливаемых на железный лист. (Голландские печи тянулись на второй этаж, но топили их с первого.) Сколько раз выговаривала слугам, чтобы утром блюли тишину, уехала — разболтались; ничего, у нее не побалуешься, наладит порядок…

Одеваясь по-домашнему, не подошла к туалетному столику. В давние времена долго сиживала перед ним на пуфе. Столик черного дерева с откидной крышкой подарен был Александром Федосеевичем к свадьбе. В нем, вместо румян, помады, хрустальных флаконов с духами, теперь хранилась золотая табакерка, полученная сыном от императрицы.

Дети, хозяйство, дом, судебная тяжба, заботы по имению — этого хватало, чтобы заполнить день от рассвета допоздна. Оставались пустые бессонные ночи.

Сегодняшнее ее утро — все обдумано — начиналось кухней, уточнением еще в дороге намеченной смены блюд.

Уподобляя василеостровский дом кораблю, Николай так определял последствия матушкиных приездов: курс прежний, но порядок и скорость изменены.

Однако никто не догадывался, что и для Прасковьи Михайловны приезды эти — великое потрясение. Замечает она не только пыль на балясинах и нерасторопность прислуги. Николай

похудел, Михаил нервен, электричество в воздухе…

Обед с дочерьми и сыновьями — главнейшее событие нынешнего воскресенья. В помощь куда как опытному Евдокиму, кормившему Николая и тех из братьев, кто останавливался на Седьмой линии, Прасковья Михайловна прихватила с собой из Сольцов Федьку — опрятного паренька, освоившегося с домашней работой.

Она застала обоих в кухне с черным от копоти сводчатым потолком. Смахнув невидимые крошки, села на табурет. Полысевший у плиты Евдоким пользовался ее безграничным доверием. Слушал он и отвечал почтительно, не боясь, однако, возразить. Другого бы крепостного Прасковья Михайловна поставила на место. Евдокимова независимость оправдана — неглуп, честен и знает порог дозволенного.

В хороших, достаточных домах хозяйка не идет в поварню; кухарь сам является к ней. Но Прасковья Михайловна любила запахи кухни, с удовольствием пила тут кофе, который варил Евдоким на ее вкус.

Вскоре объявилась и Елена — сонно припухшие щеки и выражение озабоченности на лице. Она делит матушкины хлопоты и печется о ней самой, радуя и удручая Прасковью Михайловну: при столь самозабвенной дочерней и сестринской любви, не слишком интересной наружности да скромном приданом не остаться бы в девицах. Чудеса в наш век редки, редки люди, напоминающие Александра Федосеевича…

Прасковья Михайловна помнила, кто из мальчиков что любит, и желала потрафить каждому. Елена соглашалась, но ее пугала необъятность обеденной программы. Она обратилась за поддержкой к Евдокиму, но не заручилась ею: старый повар считал, что обед должен соответствовать событию, и это его печаль-забота — не подкачать, успеть.

Заглушая неумолчный гул, ржание лошадей, выкрики разносчиков, у Андрея Первозванного ударили к заутрене. Благовест отчетлив, звонок.

Прасковья Михайловна отодвинула чашку с недопитым кофе, выпрямилась. Переодеться, остыть от кухонного чада и — в церковь. Младших дочерей будить не велела. Отоспятся, будут лучше выглядеть. К сыновьям наверняка забегут приятели…

Собираясь к заутрене, Прасковья Михайловна думала о платьях, в каких дочери выйдут к обеду. Нелегко угодить столичным женихам, нелегко. Сама она в храм отправится в шубке, справленной год назад (бобер по подолу и широкой полосой посредине), вместе с сыновьями. Где, как не в церкви, показать людям, что за молодцов подняла она, вырастила.

От слуги услышала, что поздно ночью с Николаем вернулся Петр. Последний из младших сыновей, сохранивший память об отце. Павлик осиротел двухлетним.

Петр мечтателен и восторжен. Но восторженность упрятана, не сразу себя кажет. В своих влечениях следует Николаю и Александру. Загоревшись чем-либо, отдается без остатка. Сперва такой страстью был кронштадтский театр, в шутку названный Петрозаводским.

В Кронштадте он квартировал в комнатах, ранее запятых Николаем, дружил с Михаилом Гавриловичем Степовым и не далее как 9 декабря сопроводил в Петербург Любовь Ивановну.

Любовь Ивановна остановилась у столичных друзей. Наслышанная о слабости Прасковьи Михайловны, до ночи раскладывавшей гран-пасьянс, купила для нее роскошную колоду и наказала Пете отдать матушке карты, а Николаю — записку. Петр, исполненный уважения к роману старшего брата, к красавице — героине романа, счел, что подарок должен вручить сам Николаша.

Тот ночью сунул карты вместе с запиской в карман и в утренней спешке запамятовал о них. Он тоже пробудился ни свет ни варя. Но из своей комнаты не высовывался, дела, ждавшие его внимания, от литературы были далеки: состав морского экипажа, списки офицеров. Сосредоточившись на списках, он утвердился, что визит, к которому не лежала душа, необходим. Чем быстрее нанести, тем лучше.

Желанный семейный обед вдруг пронзил своей неуместностью. Сегодня тратить время на долгое застолье! Но изменить уже ничего нельзя.

Он растолкал Петра. Брат глядел букой, ворчал. Понадобилось напомнить о матушке, сестрах, обеде и о вчерашних поручениях Рылеева. Петр выслушал мрачно, отхлебнул холодного чаю. Вдруг, воспламеняясь, быстро оделся, тронул расческой всклокоченные со сна волосы.

В церкви их сопровождали восхищенно-завистливые взгляды, — величественная мать с сыновьями в черных морских шинелях, со старшей дочерью, выступавшей надменно, строго взирая перед собой.

Отстояли всю службу, подошли под благословение. Молодой, борода крутыми колечками, батюшка дружелюбно моргнул Николаю и Петру — Бестужевы из числа почтенных прихожан.

Николай, едва выстоявший заутреню, начал спешить. Поймав недоуменный взгляд матушки, покраснел, как нашкодивший мальчуган. Обязательно вернется к обеду…

Среди долетевших до слуха Прасковьи Михайловны слов,

которыми обменялись сыновья, она уловила фамилию Моллера, начальника Петра. Имелся и еще Моллер, тоже по морскому ведомству.

Она хорошо запоминала такие фамилии: в Нарве жило немало немцев — ремесленников и коммерсантов. Ее удивляла враждебность сыновей к немцам. Тем более странная, что Николаша души не чаял в капитане Тизенгаузене, плохо говорившем по-русски, Александр носился с чудаком Кюхельбекером. Вообще среди их друзей по службе и по изящной словесности немало немцев. Когда, будто невзначай, она спросила сына Сашу, он — опять-таки странно — объяснил: Кюхельбекер и Тизенгаузен — чужой веры, но духом русские…

Петр тоже заторопился, глаза лихорадочно вспыхнули. Прасковья Михайловна потрогала лоб — не жар ли?

Здоров, — он поцеловал ей руку, будет к обеду.

— Ты не завтракал, — спохватилась мать.

— Ничего, напился чаю…

Жена офицера, человека деятельного, она мирилась с непредвиденной мужской занятостью. Оставляя за сыновьями право спешить по делам, внутренне терзалась тревогой, к которой добавилась сегодня толика огорчения. Ведь так надеялась целый день быть в их кругу, слушать их смех, легкую пикировку, вспыхивающую с приходом Александра, умудрявшегося поддеть любого и расшевелить даже частенько впадавшего в дрему Петра.

К обеду все соберутся. Сколько их еще впереди, таких обедов — за воскресным столом, с сыновьями, бог даст, с невестками и зятьями, там и внучатами…

Глядя ночью на мерцающий фитилек лампады, опа ощутила прилив давно не испытываемого счастья. Теплый, обжитый дом, сыновья — солидные люди, подросли дочери, все они спаяны любовью к ней.

Дать жизнь — назначение матери. Но прочно сохраниться в жизни детей даровано не каждой.

Пять лет назад, совершая поход, полный всяческих впечатлений, Александр стремился в Нарву, на родину матери, — увидеть эти места, сберечь в памяти. «Пишу к вам, любезная матушка, из места вашей родины, в виду башен нарвских, по которым вчера лазил я, как белка, в опасности быть раздавленным сводами или упасть с 30-саженной вышины… Какой вид, какое местоположение!..»

…Вскоре после утреннего отъезда Николая, за ним — Петра у дома задержалась щегольская карета. Человек в громоздкой шубе, не глядя под ноги, спрыгнул в талый снег, поспешая к крыльцу.

Доложили: Кондратий Федорович Рылеев.

Прасковья Михайловна не стала ждать, сама спустилась вниз.

— Что ж я, старая, тебя, голубчик, не углядела, — говорила она, целуя Рылеева в лоб, — Раздевайся. Чаю подадут.

Рылеев нерешительно снял шубу.

— Ты небось к Николаю? Он недавно со двора.

Кондратия Федоровича раздосадовала неувязка. Он ли припозднился? Какие-то новые причины понудили Николая уехать до срока?

— А Петруша? — не питая надежд, поднял голову Рылеев.

— Следом за братцем.

Рылеев огорченно потянулся к только что повешенной шубе.

Бестужеву подмывало узнать про Александра. Но удержалась. Рылеев сам вспомнил: Саша с утра не поспел, к обеду будет…

С отбытием мужчин дом не стих. Маша и Оля сновали по комнатам, слуги таскали стулья в большую гостиную.

Для обычного обеда на десять кувертов достаточно столовой на первом этаже; мебель карельской березы — старая и удобная, окно на Андрея Первозванного. Но сегодня она распорядилась накрывать на пятнадцать. Их самих девятеро, Рылеев с Торсоном — одиннадцать, три-четыре негаданных гостя.

Купчина Гурьев тянулся за аристократией, — на втором этаже поместил парадную опочивальню. Прасковья Михайловна, безрадостно вздохнув, выбрала себе покой в торце, как и из столовой, на бело-розовую церковь. В бывшей купеческой спальне устроили гостиную — между окон зеркало, по стенам литографии, батальные полотна, софа в углу, ломберный стол за ширмой, кресла, темные обои с золотыми лилиями. Дверь в соседнюю комнату сняли и повесили раздвижные коричневые шторы, — комната продолжала гостиную.

Дети, за исключением Николая и Елены, не набивались в советчики, заранее соглашаясь со всем, что будет сделано в доме по воле и вкусу матушки. Такое доверие тешит родительское сердце, однако не худо бы и самим вникать в топкости житейского обихода.

Она опять попадала в лабиринт противоречий — невольный деспотизм материнской любви, горделивое сознание: все дети при мне и — неотступное опасение: когда же обзаведутся собственными семьями?

Прасковья Михайловна шествовала из комнаты в комнату, проверяя вчерашние впечатления. Саше не по праву василеостровский дом. А ведь она сама поставила к нему в комнату секретер Маркетри; он жалует секретеры, письменные столы с тумбами, и чтобы все ящики запирались на ключ, чтобы никто не касался до его бумаг. Только Елене, Лиошеньке,

дарована привилегия наводить порядок в рукописных завалах брата. Отсутствие таких завалов укрепляет Прасковью Михайловну в мысли, что сын днюет и ночует у Синего моста. Успокаивает надежда на живущего подле Рылеева: знаменит как стихотворец, однако ж семьянин, на хорошей должности, благоразумен.

Общая комната Петра и Павла пустует не по их воле: у Петра служба в Кронштадте, Павлик смотрит сны в юнкерском дортуаре артиллерийского училища.

Михаилу, ей известно, милее собственной комнаты диван у Александра. Осел в доме лишь Николай. Его двусветный кабинет хранит приметы неутомимых трудов хозяина: манускрипты, чертежи, модели кораблей, тяжелые тома лексиконов, баночки с краской, подрамники. Карандашные наброски подтверждают: здесь бывала Степовая.

Воистину красива, или Николаево чувство сообщило рисункам одухотворенность? Какова она, эта мать, чужая жена, сумевшая тугим узлом привязать к себе сильного мужчину, пользующегося успехом у молодых петербургских прелестниц?

Ничто не свидетельствовало об охлаждении Николая к Степовой. Пара женских перчаток, забытых на кресле, гребень на столике, где Николай брился… Мать была далека от малейшего осуждения сына. Не ей цепляться за условности, частенько драпирующие ложь, но разве не оправдано материнское желание видеть своего старшего во главе его собственной семьи?

Ничего, перемелется, образуется. Сегодня Прасковье Михайловне легко давались утешения. Не огорчил утренний отъезд Николая и Петруши, пустовавшие комнаты сыновей. Каждый из них существовал сам по себе, и все-таки они жили совместно. Вещи и книги одного попадались в комнате другого, сочинения читались вслух. После отъезда Петра и Николая, поврозь наведались два офицера и статский, спрашивали Николая Александровича. Нет? Тогда Михаила Александровича или Александра Александровича. Видать, и друзья общие…

Елена следила за тем, как гостиная превращалась в столовую. Софу отнесли в соседнюю комнату. Снизу волокли длинный стол, недостающие стулья. На чайный столик, покрытый скатертью, поставят супницы, блюда, подносы, позже — самовар.

По запахам Прасковья Михайловна определяла, что делается вокруг раскаленной докрасна плиты. Пахло тестом, уложенным на смазанные маслом противни.

Она помнила лукулловы пиршества, какие закатывал граф Строганов: мраморные столы с мозаикой, окруженные постелями (гости вкушали яства на римский манер, возлежа на подушках);

золотые сосуды, дым от благовонных курений… Память, сберегшая названия изысканных блюд, сегодня подогревала тщеславие Прасковьи Михайловны — не только накормить, но и поразить обедом, собственных сыновей поразить!

Маша и Ольга суетились вокруг сундука с нарядами. Платья разбросали на спинках кресел, прикладывали к себе, вертясь перед зеркалом.

Вовсе они не дурнушки, утешилась Прасковья Михайловна, разве что стеснительны.

— Выбирайте среди белых платьев. И чтобы не похоже у одной на другую. Не в Смольном монастыре. Можно и декольте, и рукава покороче…

Из нижних сеней долетели громкие голоса Михаила и Павлика.

* * *

Михаил, недавно вступивший в командование ротой, отменил шомпола, палки и розги. Сперва солдаты сочли это за слабость, но вскоре оценили мягкое обращение, полюбили молодого командира.

В пятницу батальон московцев пошел по караулам в Зимний дворец, роту Михаила назначили на главную гауптвахту.

— Послушайте, маменька, послушайте, что стряслось…

Оказывается, великий князь Николай Павлович секретно приказал, чтобы с вечерней зари до утренней капитан лично водил часовых к его покоям.

— Вы, маменька, только подумайте — лично! — Михаил, усмехаясь, подкручивал усики.

Во втором часу ночи караульные, сменяясь впотьмах, нечаянно скрестили ружья, лязгнуло железо, открылись резко двери, в них — испуганный великий князь.

«Что случилось? Кто тут?»

Михаил воспроизвел дрожащий голос великого князя и свой спокойный ответ: «Караульный капитан, ваше высочество».

«Ах, это ты, Бестужев! — с трудом опомнился Николай Павлович. — Ну, если что случится, ты дай мне тотчас знать».

Это всего сильнее смешило Михаила. Сквозь смех он повторял:

— Я ему дам знать, маменька, обязательно дам…

Павлика подмывало вспомнить не менее потешную историю. Она относилась к другому великому князю — Михаилу Павловичу, — и ее в лицах разыгрывал Саша. Герцог

Вюртембергский через него выразил соболезнование своему августейшему племяннику, когда тот в артикульном раже ударил себя прикладом по «причинному месту». Александр произнес перед Рыжим Мишкой речь, подобающую драматизму случившегося и его возможным последствиям. Великий князь обожал такие шутки и ответил каскадом сальных анекдотов, покоробивших даже Сашу, не выдававшего себя за красну девицу.

При матушке Павел не смел оглашать историю, пусть и в облагороженном виде. Он только давился от смеха:

— А Михаил Павлович?.. Помнишь?.. Саша сказывал…

Полными счастливых слез глазами Прасковья Михайловна глядела на Павлика и Мишеля: дети, сущие мальчишки.

Она оставила развеселившихся сыновей и устремилась в поварню. Что-что, а вафли и яблочные пирожные станет печь собственноручно.

11

Летом на Мойке удили рыбу. Бестужев подолгу стоял у чугунных перил, готовый смиренно ждать, когда клюнет у какого-нибудь страстотерпца в соломенной шляпе, поплавок, дернувшись, утонет в зеленоватой воде, и серебром сверкнет рыбешка, — вроде тех, что водились в марлинском пруду…

Извозчичьи вороные ходко шли по набережной Мойки — слева голубоватые сугробы надо льдом, ветер крутит невесомые белые воронки, справа — опушенные снегом крыши домов. Воскресная умиротворенность разлита в слабо согретом зимнем воздухе.

Рылеусу легче, подумал Бестужев, его давят каменные стены Петербурга, колонны, мертвенный отблеск окон. Заговорщик, не любя город, отважнее заносит на него руку. Бестужев — убежденный горожанин — написал статью «О деревянном строении в России».

Все деревни и почти все русские города деревянные. Вред от того очевиден. «Истребление лесов и беспрестанные пожары суть неминуемые и гибельные сего последствия. Вредное влияние на здоровье, а всего более на характер целого народа…»

Дерево разумнее заменить камнем, кирпичом. «…Весь наш север изобилует всякого рода пластами, годными в постройку, а доказательством тому служат и каменоломни по всей Олонецкой, Вологодской, С.-Петербургской, Тверской и Новгородской губернии».

Автор указывал экономические выгоды каменных строений,

не упускал и государственные интересы, и сторону моральную. Каменные стены надежнее, под их защитой, под долголетней кровлей человек сильнее ощущает зависимость от деда и прадеда. Если стены ничего не напоминают, с ними легко расставаться. «… А кому легко расстаться с стенами родного жилища, тому нетрудно бросить и родину — позабыть все родимое. Дерево тлеет, горит, а с ним пропадают и прежние нравы, и дедовские обычаи… Кто не вспоминает о своих предшественниках, тот не ищет жить в воспоминании, тот не имеет даже мысли об улучшении своего состояния. Опыт, ум веков протекших для него потеряны…»

Бестужеву нравилось удивлять читающую публику — с чего бы романтик взялся за низкую прозу: кирпич, бревна? Удивление росло; автор судил оригинально, однако не без знаний. Главное выложил под занавес.

«…Вот почему, недовольные собою, мы всегда готовы прельщаться другими странами, ибо там, где нет страсти к своему, там скоро явится пристрастие к чужому. Унизительное предпочтение иноземцев, к несчастью, слишком это доказывает».

Всего сильнее Бестужев любил каменный Петербург зимою. Снежное одеяние скрадывало иноземный облик, сугробы ломали пространственную геометрию, город становился русским, одушевленным.

Возле полосатой будки извозчик, взяв на себя правый повод, свернул на Невский проспект. Где-то здесь напроказничал Якубович. Вместе с лоботрясами ночью перевесил вывески на мастерских и лавках. Утром к булочнику пришли за мясом, над подъездом портнихи красовалась надпись: «Аптека», над молочной — «Гробовой мастер», трактир окрестили парикмахерской, парикмахерскую — магазином колониальных товаров.

Затея, вызвавшая смех, сегодня настораживала своей никчемностью, — Якубович рвался на ведущее место в деле, его черная повязка мелькала повсюду, он настаивал на действиях, сыпал угрозами…

Пока длилась стадия речей и дебатов, допустимо было кое на что закрывать глаза. Но и тогда Батеньков напоминал о полицейских ищейках. Однажды Аракчеев, гуляя с ним по Фонтанке, показал на шпиона, следившего за всесильным еще временщиком. Аракчеев внушал Гавриле Степановичу: царь прав, приставив и к нему соглядатая, дабы знать, с кем якшается «преданный без лести».

Желательная — так выразился Рылеев — встреча с Батеньковым обретала для Бестужева смысл необходимости. Этот

смысл копился капля за каплей в истекшие полтора часа. Разговаривая со Штейнгелем, вычерчивая схемы двух петербургских площадей, он с трудом удерживал нетерпение. Доложить военным руководителям заговора? Но с Трубецким и полковником Булатовым отношения не заладились. К Оболенскому поехал Рылеев.

Что там застанет? Вчера, позавчера в общество без должного разбора вовлечены молодые офицеры, среди неофитов — и отчаянные головы, и робкие сердца…

Ожидая возле Синего моста «ваньку», наблюдая работу фонарщика, Бестужев окончательно решил: к Батенькову.

Визит требовал охлаждения, — с Гаврилой Степановичем не пофантазируешь. Он тушевался перед Батеньковым — мужем государственным по складу мышления и связям, способным сослужить службу не только заговорщикам, но и будущему России. Хотя как раз к Батенькову надлежало относиться без трепета. Бестужев, не иной, распахнул перед ним двери в тайное общество.

Ноябрьским вечером играли на бильярде в квартире Прокофьева. Гаврила Степанович, кряхтя, сгибался над зеленым сукном (здоровьем немощен, за ранами уволен от службы), подолгу целился (близорук с детства), но шары клал отменно и одолел противника.

Бестужев стряхнул мел с мундира, реваншировать не хотел. Батеньков полюбопытствовал — откуда у Александра Александровича печаль? Не амурное ли фиаско?

Бестужев не поддался легкому тону; его одолевает тревога из-за происшествия в Грузино, где убита любовница Аракчеева. Какова сила потаенной народной ярости!

Гаврила Степанович, небрежно перекрестясь, заметил, что извергу в юбке — Настасье Минкиной — туда и дорога. Но разве убийством гнусной бабенки образуются герои?

Бестужев судил широко, махал в воздухе полированным кием. Гнев рождает героев, немало их уже насчитывается… Далее пустился — о крепостной деревне, об измордованной фрунтом армии, неправедных судьях, всеобщем мздоимстве.

Батенькову, воспитаннику военно-сиротской школы, офицеру Отечественной войны (в одном сражении кряду получил десять штыковых ран) можно бы и не растолковывать, почем на Руси фунт лиха и кто на этом лихе греет руки. Собственными ушами он слышал, как один генерал-губернатор именовал своих чиновников «инструментами генерал-губернаторской воли», видел, как другой понуждает мужиков продавать хлеб, самовольно назначив цену, и составляет бумаги, кои, как писал

Батеньков, «отличались несообразностью смысла к правам человечества». Думал он о всем том не менее Бестужева, соединяя в себе бесстрашие на поле боя, смелость мыслей с осторожностью в речах. Уроки политической мудрости брал у своего благодетеля графа Сперанского, с ним коротал часы, сообща искали ответ на хитрые загадки, как, скажем, расшифровать египетские иероглифы. Батеньков с детства говорил по-татарски, изучил французский, немецкий, латынь, греческий, английский, древнееврейский. В молодости читал Канта, Шеллинга, Фихте, позже — французских материалистов XVIII века, от них — к Гегелю. Не мода привела его в масонскую ложу — поиски истины, нравственного смысла. Вместе с «вольными каменщиками» одушевленно выводил низким голосом:

Оставьте гордость и богатство,

Оставьте пышность и чины, —

В священном светлом храме братства

Ждут добродетели одне…

Тогда, в бильярдной, Бестужев, забывшись, намекнул на тайное общество.

— Цели, сударь, каковы? — перебил Батеньков.

Бестужев, как шашку «на высь», вздел кий: низвержение самовластного государственного строя, конституция.

— Не был бы русским, коли отстал бы от тех, кто движим высокой целью!

Бестужев оторопел — еще не успел раскрыть карты, помнил неудачу с князем Вяземским, да и энтузиазм согласия не по «большим эполетам», не по солидному положению в чиновных верхах, наконец, не мальчик Гаврила Степанович, через год достигнет возраста Христа… Поди, угадай — где найдешь, где потеряешь.

О тайном обществе с некоторых пор Батеньков догадывался. Подозрение шевельнулось, когда Иван Васильевич Прокофьев зазвал его на именины к Рылеевым.

Батеньков отнекивался — незваный гость… Иван Васильевич напирал: у Рылеевых будут рады, Гаврила Степанович всеми уважаем. Кто удержится перед комплиментами? Спустились на нижний этаж. Именинный стол, но людей мало, в речах доверительность.

Потом, у себя дома, Батеньков спохватился: откуда подобная

близость? Не сослуживцы, статские вперемежку с офицерами, даже военные не одного полка и не общего кадетского выпуска. Завсегдатая «четвергов» у Греча не удивишь либеральностью речей. В столовой Рылеева свободы было чуть меньше, голоса тише, и это тоже подогревало мысль о сообществе; масонское прошлое кое-чему научило.

Новая встреча упрочила предположения. В кружке у Рылеева (те же лица) разговор о революционном времени во Франции; Батеньков высказал убеждение, что насильственные перевороты вели к деспотизму одного честолюбца.

Кондратий Федорович молодо откинул кудри: на всякого честолюбца есть кинжал свободного человека.

Такое с бухты-барахты не брякнешь. Где и как созревают подобные идеи, Гаврила Степанович догадывался. Догадывался и о том, что Рылеев постарается залучить его в среду единомышленников. Но бестужевской эскапады в бильярдной не ждал. Однако отнесся как к неизбежному. Не Александр, так Николай, не Бестужевы, так Рылеев. Они имели на него виды, через него — на Сперанского. У заговора своя логика — риск и осторожность. Логика, ему доступная.

Он издавна приятельствовал с бароном Штейнгелем. Владимир Иванович составлял прожекты, Батеньков обдумывал механизм государственного переворота и введение конституции. Сперва на английский манер. В январе двадцать пятого года решил: революция полезна и весьма вероятна, участвовать ему в ней необходимо.

Слова Бестужева о низвержении самовластия пришлись точно: шар от двух бортов — в лузу.

Рылеев не замедлил ввести Батенькова в подробности заговора. Подробности множились; нужна была трезвость мышления, чтобы одолеть сумятицу, нелепости, случайности. Находясь внутри общества, Батеньков сохранял невозмутимость созерцателя, был умеренно терпим и общителен. Одновременно внутри и снаружи; на «русских завтраках» ел капусту у Рылеева, вечерний чай пил со Сперанским.

И Рылеев, и Бестужев чувствовали зазор, отделяющий от них Батенькова. Тот утомленно слушал пиитические излияния: вече, Новгород, древнее устройство… Куда больше по душе ему были петровские новшества. Однако и Петра он именовал не «великим», а «первым». Глаза у человека не на затылке, вперед надобно смотреть.

* * *

…Нынешним воскресеньем его покинула сдержанная насмешливость. Бестужева принимал человек, не старавшийся скрыть волнения. Сюртук с золотыми пуговицами распахнут, очки — без них никто его не видел — на столе. От закушенной нижней губы подбородок клинышком торчит вверх. Над провалами глаз — тяжелый лоб, вихры спутанных волос.

В доме напротив Гостиного двора Бестужеву случалось бывать и прежде. Бельэтаж занимает овдовевший Сперанский; на втором этаже флигеля, по коридору, — Батеньков и трое сослуживцев, на первом — зять Сперанского Багреев с женой. К Багреевым стекается молодежь и сочинители солидного возраста; развлечения на любой вкус — вист, шахматы, фанты, чтение литературных новинок. Не обремененный семейством Батеньков проводит здесь свои досуги, ему не помеха откровенное ретроградство Багреева.

Аскетические склонности Батенькова отпечатались на обстановке его кабинета. Ни картин, ни портретов, ни ковров. Голые стены, карта Сибири, из не прикрытого экраном камина торчат щипцы. На книжной полке зеленые и синие корешки — тома немецких философов. Рояль, десятка два кресел с деревянными спинками. В эту валу на огонек «холостяцкого вечера» собирается петербургский Парнас, чтя писательский дар, ученость и красноречие хозяина…

Не пытаясь объяснить своего состояния, Батеньков с места в карьер сообщил:

— Только что от «старика», то бишь графа Сперанского!

При чем тут Сперанский? Почему Гавриле Степановичу не по себе? По пустякам Батеньков не будет нервничать. Бестужев сел без приглашения, достал трубку, Батеньков опустился в соседнее кресло.

Сегодняшний взрыв венчал цепь долгих бесед со Сперанским, размышлений о будущем устройстве государства, где графу уготован подобающий пост. Не соглашаясь с оглядчивым Сперанским, внутренне кипя, Батеньков сохранял свое мнение о нем, о месте «старика» при более разумном правлении Россией, о коем мечтал и сам граф, намекая: занял бы высокую должность при надежно-благоприятных обстоятельствах…

Первая стычка меж ними случилась 27 ноября, когда таганрогский гонец доставил весть о кончине Александра.

Упустить такой день! Единственный в сто лет! Не шевельнуть пальцем ради отечества!

Сперанский маневрировал: я — один, одиночки бессильны. Батеньков давал понять: Михаил Михайлович возьмется — подоспеют помощники. Намеки оставались незамеченными, граф

отвергал активность. Свое негодование Батеньков излил Штейнгелю, подавленно воскликнул: «Россию ждет еще сто лет рабства».

Условились о Владимиром Ивановичем не сообщать ничего Рылееву, не хоронить надежды на Сперанского. Неизвестно, какое развитие примет междуцарствие. Вдруг да новый поворот убедит «старика».

Поворот наступил, Сперанский сохранял прежнюю позицию.

Утром, как частенько, Гаврила Степанович сидел у Елизаветы Михайловны Багреевой, дочери Сперанского, вышивал на пяльцах по канве. Вместе они вошли к графу, вернувшемуся из Государственного совета, и услышали: «Поздравляю с новым государем, Николай достойно продолжит царствование брата…»

Вернувшись от графа, Батеньков обескураженно пожаловался Елизавете Михайловне: всякий думает о себе и никто — о России. Багреева кивнула на своего ребенка: о России он станет думать. Почему-то все полагают, что думать об отечестве будут новые поколения.

Взирая на сосущего трубку Бестужева, Гаврила Степанович выложил скупые сведения: Сперанский, возвратись из Совета, объявил, что завтра — присяга, цесаревич окончательно отказался от короны.

— Завтра! — вскочил Бестужев. Хотел узнать о Сперанском. Но до того ли? Немедленно оповестить Рылеева!

Батеньков взял со стола очки, оседлал ими вытянутый книзу нос, тонкие дужки заправил за уши. Стал прежним, обычным Гаврилой Степановичем. Подвинул кресло к камину.

— Кондратий Федорович оповещен. Я захватил его во дворе. Он от вас был. Вы с бароном Штейнгелем уединились во флигеле, мы с Кондратием Федоровичем — в его карете. Потом поехал к Трубецкому…

В какие-то минуты Бестужеву казалось: он в гуще, в центре безостановочного вращения. Но вдруг замечал: все совершается помимо него. Он со своими метаниями, дежурствами, сочинительством, всяческими воспарениями толчется на обочине.

Сегодня наконец, думалось ему, не отстает, не отсиживается в углу, грызя перо, шлифуя ногти. И нате же, Рылеев и Трубецкой уже извещены о завтрашней присяге. Ему оставили словопрения с Владимиром Ивановичем… Не до самолюбий, конечно, в такой час…

Закопченными по рукоятку щипцами он помешал в камине. Под холодными, темными углями тлело красноватое тепло.

Допустим, ему не охватить мысленным взором пришедшую в движение заговорщицкую сеть, не уследить за нитями,

тянущимися в полки столичного гарнизона, в провинцию, в Москву, на юг. Кому охватить? Рылееву? Трубецкому? Пестелю? Не Якубовичу ведь с его черной повязкой и гневными обличениями на каждом углу…

Неожиданно Батеньков заговорил именно о темпераментном «кавказце». Теперь-де час «почтеннейшего Александра Ивановича». Нужен факел — воспламенить солдатский фрунт, нести огонь из казармы в казарму. Никто лучше Якубовича с такой задачей не управится, не умеет внятнее беседовать с солдатами.

Гаврила Степанович умолчал о наставлениях, какие давал Якубовичу: на членов общества слишком не уповать, отстать от молодежи, храброй лишь на словах, лучше воззвать к толпе в пользу Константина. Суждено, — погибнуть, оставив по себе воспоминание.

Почему же никто не управится лучше Якубовича? — обиделся про себя Бестужев; нижние чины души не чают в брате Мишеле, за поручиком Пановым готовы в огонь и воду…

Но вслух не возразил. У каждого свои слабости. Рассудительному Батенькову по нраву шумный Якубович, в дружбе крайности сходятся. Но с факелом по казармам? Вселенский пожар? Запалить — труд невелик. Гасить как?

Идей у нас по числу сочленов: у каждого — собственная. Но и она — не одна и не постоянна. В глазах рябит, словно взираешь на спицы быстрого колеса… Однако, ежели повернуть по-другому, в том и благо: все мыслят, ищут, вглядываются в прошлое, норовят угадать завтрашнее, постичь суть европейских переворотов.

Прогуливаясь по обширному кабинету, Гаврила Степанович, уже несколько успокоенный, рассуждает о конституционном устройстве, о том, между прочим, что Елизавета на российском троне вполне подходяща (поклон барону Штейнгелю; правда, тот, кажется, более не настаивает на императрице). Батеньков тоже не настаивает, он — вообще: почему бы не вручить корону особе женского пола из царской фамилии или малолетнему сыну Николая Павловича. Не монархия нужна, но видимость монархического правления, а власть попадет в умные и сильные руки новой аристократии.

Бестужев отшвырнул щипцы; из камина вырвалось облако пепла.

— Не яритесь, — невозмутимо продолжал Гаврила Степанович. — На Руси без умного деспотизма кашу не сваришь, без правительственной аристократии не обойтись. Бестужев порывался опровергнуть, но Батеньков загодя отводил

возражения. Вельможи, держащие власть, будут исполнять законы и следовать народной воле. О гарантиях он подумал.

Английская конституция хороша для Англии. У нас свои обстоятельства, у каждого российского края — свои. Потому надобна федерация и собственная конституция для всякой автономии…

Слишком многое разом обрушилось на Бестужева. Небывало откровенный Батеньков валил его с ног очередным парадоксом. Возмутить народ не столь трудно, сколь опасно. Однако, не возмутив, останемся при пиковом интересе. Надо ставить на военный мятеж в границах, какие собственноручно очертим. Народ, впрочем, можно поднять и без солдатского бунта. Он сообщил свои на этот счет соображения князю Трубецкому, куда ни шло, выложит Александру Александровичу. Достаточен подложный манифест!

У Бестужева глаза на лоб.

— Не стройте из себя непорочную барышню! — Батеньков грохнул кулаком о спинку кресла. — Политика вершится не в классах Смольного монастыря. Желаете сохранить невинность, запритесь в спальне, никто на вашу девичью честь не покусится. Но вы норовите на площадь, с войсками… В России все повинуется печатному велению из Петербурга. Захватить сенатскую типографию, оттиснуть манифест, послать по городам…

— Князь Трубецкой дал одобрение?

Батенькову почудилась насмешка, и он, не удостоив гостя ответом, пустился в рассуждения о политике. Заговорщики — люди благородные, но аматоры[16]В политике аматорство гибельно, но, увы, не запретно. Всякий, кому не лень, норовит выступить на этом поприще. Со смелостью, с какой проигравший в фанты поет арию из «Фрейшютца»[17]. (Не без комизма Батеньков напел арию.)

Политике дилетантов он противопоставляет математику, где аматору не разгуляться, где потребны падежные знания; математика — наука наук, венец человеческого разума.

Он поднял руку и в рифмах восславил всемогущую математику:

Края ты бездны съединяешь,

С громами тучи отгоняешь,

Корабль над кораблем ведешь…

Этого Бестужеву не снести… Он слабее Батенькова в коварных извивах политики, но в стихосложении…

* * *

В Зимнем дворце шли приготовления к завтрашней присяге; на Седьмой линии Васильевского острова — к сегодняшнему обеду; в гвардейских казармах фабрили усы и терли мелом пуговицы; в доме у Синего моста барон Штейнгель набрасывал проект конституции; в особняке Лаваля князь Трубецкой конфиденциально совещался с полковником Булатовым; на квартире князя Оболенского развертывались драматические сцены; обескураженный Николай Бестужев возвращался от полковника Моллера…

На Невском проспекте, в доме против Гостиного двора, в бельэтаже, был в самом разгаре поэтический диспут.

12

Конец диспуту положил Батеньков; Александр Бестужев спорил бы и спорил: романтическая поэзия, гражданские мотивы… С таких вершин спускаться в болотистые низины политики…

Батеньков спустился и сообщил о тягостной неудаче со Сперанским. От Рылеева он поспешил обратно домой, чтобы снова, теперь без Багреевой, без свидетелей склонить графа. Застал «старика» в шубе. Сперанский, рта не дав ему открыть, удалился на прогулку.

— В запасе у нас вечер, а также — Семен Григорьевич Краснокутский. Обер-прокурор Сената.

Большего Батеньков не сказал. Возможно, Краснокутский влиятелен, возможно, в числе заговорщиков. (Как и другие, Бестужев впал далеко не всех, но вопросов не задавал; пусть Батеньков и раздувает всеведение тайной полиции; это умнее, чем отмахиваться от нее, давая волю языку, откровенничая в письмах.) Но неужто свет клипом сошелся на графе Михаиле Михайловиче?

Батеньков отозвался не сразу.

— Неспроста я дал вам совет: оставаясь при герцоге Вюртембергском, пойти на службу к министру юстиции. Нам надобны люди в министерствах. Да и государственная образованность очень бы сгодилась. Что есть политика, как не

архитектура храма из живых материалов, под сенью которого размещается население. Архитектуру дома для семьи мы почитаем наукой, а политику, возводящую храм для народа, — тьфу, кто палку взял, тот и капрал. Митрофанушка не постесняется подписать государственное распоряжение.

Бестужеву надоели поучения, напоминающие подзатыльники. Но Батеньков и сам отбросил назидательность. Александр Александрович смел в замыслах, разумен в поползновениях. Из книг берет многое, без них мы — слепые кроты. Но административная практика ничем не восполнима. Где капитаны, умеющие весть державный корабль, освобожденный от мерзкого груза?.. Уповаем на импровизацию. Нынешние генерал-губернаторы да продажные судьи с невежественными прокурорами этакое наимпровизировали… Князь Трубецкой заблуждается: «Лишь бы удалось, а там явятся люди». Откуда им явиться?

— Только и свету в окошке — Сперанский? А Мордвинов?

О, Николай Семенович мудр, понимает, что политика и коммерция суть родные сестры; Батеньков надеется на Мордвинова. Чтит на Руси и других выдающихся мужей, графа Аракчеева…

Всякого наслышался в этом кабинете Бестужев, но Аракчеев в ряду с Мордвиновым и Сперанским?..

Гаврила Степанович наслаждался эффектом. Наслаждение, доступное Бестужеву; он ли не охотник до парадоксов. Но от эффекта не должно разить кощунством.

— По образцу бессмертного Плутарха, — высокомерно улыбнулся Батеньков, — позволю себе сравнительное описание. Аракчеев в жару гнева наделает множество бед, — Сперанский, прогневавшись, лишает виноватого или невиноватого своего уважения. Аракчеев не учен, — Сперанский холодит своей ученостью, ему никто не нужен.

Аракчеев доступен на все просьбы к оказанию строгостей и труден слушать похвалы, — Сперанский внимает просьбам о добре, легко обещает, но часто не исполняет. Аракчеев с первого взгляда умеет расставить людей сообразно их способностям, — Сперанский нередко ошибается в людях, увлекается особыми уважениями. Аракчеев решителен и любит наружный порядок, — Сперанский осторожен и наружный порядок не ставит ни во что. Аракчеев ни к чему принужден быть не может, — Сперанского сильный характер заставит исполнять свою волю. Аракчеев прост, совершенно искренен с подчиненными и увлекается всеми страстями, — Сперанский дорожит каждым словом, выглядит неискренним и холодным… Оба они люди необыкновенные. Но

Сперанского люблю всей душой, не закрывая очей на его несовершенства.

— После такой аттестации?

— Существо вопроса — какой идее служит государственный муж.

Хотелось осенить Гаврилу Степановича крестом; да сгинет мерзкое видение, напоказ подмалеванный портрет временщика. Или многодумный Батеньков заранее выводит Сперанского из-под удара, далеко смотрит, не отвергая провала? Об идеях, владеющих политиком, он готов распинаться бесконечно. Идея мощнее оружия, царства обращались в прах, не имея ее в своем основании. Она водобна воздуху — чем больше утесняется, тем сильнее. Ложные теории обречены, вольные и либеральные — благотворны, законны, даже находясь в оппозиции, даже обретая себя в заговоре…

С великим трудом покинули сферу политики и общей морали. Добрались до заговора; наступал черед Бестужева. Он привез собственный план, меняющий диспозицию войск.

Сунул руку за обшлаг мундира. (Собираясь после Батенькова на Васильевский, он обрядился в адъютантскую форму: матушка любила шитый золотом мундир с аксельбантами.) Планов не было. Бестужев досадливо чертыхнулся, каково выглядит в насмешливых глазах Батенькова?

— Погодите, Гаврила Степанович, я в вестибюль.

— Нужник в конце коридора, белая дверь направо. Послать бы тебя… Придерживая палаш, по лестнице вниз, к шинели, висевшей на вешалке. Свернутые трубкой схемы лежали во внутреннем кармане. Отлегло от сердца, Бестужев вернулся в кабинет.

Батеньков не сменил позы: ноги на каминной решетке, фалды сюртука свешиваются с кресла, руки в брючных карманах, взор — в потолок, выбритый клинышек подбородка — вперед.

Бестужев попросил хозяина к письменному столу, выпрямил согнувшиеся листы, объяснил план.

Гаврила Степанович не перебивал. Так же молча отпер ключом ящик стола, не роясь, извлек схемы центральной части Петербурга, обеих площадей, поэтажные чертежи Зимнего дворца.

— Как-никак — топограф, — и само вырвалось: — Но аматор.

Сраженный Бестужев даже не расслышал. Гаврила Степанович не только витал в эмпиреях, упиваясь парадоксами, но и вычертил, не на глазок, все участки вероятных действий.

Торжество — еще дорогой Бестужеву рисовалось, как изумит Батенькова, — несколько скомканное поисками злосчастных листов, вынужденной прогулкой в вестибюль, теперь и вовсе

отменено, вдохновенный труд рисовальщика оказался никчемен.

Великодушный Гаврила Степанович не собирался вести счет на очки, на шары — не бильярдная. Он одобрял план вывести войска к Сенату. Это укрепляло и его идею о манифесте, который надо провозгласить именем Сената. Батеньков войдет в делегацию для переговоров с Сенатом, потом в состав временного правительства.

Прожекты, замыслы… Трезвые расчеты и хмель честолюбия.

Как бы ни случилось, войска перед Сенатом — весомый довод в переговорах с этим учреждением. Когда позади надежное каре, речь льется смелее.

Гаврила Степанович, согласясь с бестужевским планом, предупредил: сделает, если будет дозволено, скромные добавления к разумному наброску Александра Александровича.

С места в карьер, не дожидаясь, покуда позволят: на площадь солдат вести с барабанным боем, вовлечь поболее народа.

И Бестужев за народную поддержку. Однако барабаны, вовлечение толпы — не просто поддержка войскам, но рискованное единение с ней; одноглазый плотник с топором в солдатском ранжире…

Бестужевское «позвольте, позвольте» мимо ушей, Батеньков пообещал в пути, как у военных выражаются, на местности, внести еще одно прибавление к плану.

Каждый сведущий в тактике одобрит этот план. Он о Трубецком, Оболенском, Булатове, также и о Николае Бестужеве, Константине Торсоне. С двумя последними свидится в самое ближайшее время.

— Николая нет у себя, — удивился Бестужев.

— Николаю Александровичу, насколько нам обоим известно, по просьбе Рылеева надлежит повидаться с лейб-гвардии Финляндского полка полковником Моллером. Александр Федорович Моллер доводится племянником министру. Не так ли? Ежели родство не только по крови, но и по духу, как бы не случился афронт. Большие усилия приложил господин министр, разваливая флот российский.

Относительно министра Моллера Бестужев слышал от брата. Но откуда у Гаврилы Степановича такое всеведение насчет связей общества?

За короткий срок Батеньков обрел влияние на заговорщицкие мысли. Ему известно все, что и Бестужеву, но еще известно и то, чего Бестужев не знает. Снова покалывает: временами о тебе забывают. Не из-за лихорадки ли в твоем поведении: всплески чередуются с вялостью, воспламенения — с полудремой?

— Вы небось к матушке, — скорее напоминая, чем

спрашивая, продолжал Гаврила Степанович. — У меня коляска, не велел распрягать… Имею удовольствие быть званым к обеду на Седьмую линию.

Коляска ждала во дворе, кучер снял с конских морд торбы с овсом, сунул удила, затянул подпругу.

Бестужев скептически оглядел экипаж; колеса — не самое удобное для зимней езды.

Удивительнейший человек Гаврила Степанович — ты только посмотрел, подумал, а он угадал твою мысль.

— Колесный ход для меня и зимой возможен — езжу по наезженному.

Рассмеялся своему каламбуру, протер запотевшие очки. Бестужев улыбнулся. Что ж, если в чем-то и несогласия. Гаврила Степанович — личность исключительная, самобытная. Когда такие люди станут у кормила власти, в России наступит благоденствие. Заговорщики отойдут в тень, освобождая поле действий мудрым созидателям.

Коляска выехала на Невский, влилась в воскресный поток экипажей. Предобеденный прогулочный час, ярмарка невест, парад честолюбий. Мгновенный взгляд, легкий наклон мехового капора, перчатка в приоткрытой дверце. Состязание в быстроте, изяществе, богатстве: сколько лошадей в упряжке и сколько фонарей у кареты, как одет кучер, стоит ли лакей на запятках, есть ли форейтор…

На тротуарах свой смотр. Шубы, шинели, пелерины, куньи салопы, бобровые воротники, меховые обшлага. Треуголки, круглые шляпы, жесткие кивера с султанами и плюмажами, шарфы, дамские шляпы: перья, цветы, ленты.

Солнце в зимней дымке, до блеска накатанные колеи саней, конский храп, зычные возгласы кучеров, ровное гудение пешеходной толпы. Медленные водовороты у ресторации, гостиниц, трактиров.

Бестужев всматривался в румяные на морозе женские лица, кому-то махал рукой, слал воздушные поцелуи.

Великолепна Северная Пальмира в своем самолюбовании!

Дайте срок, он напишет петербургскую повесть, где будет случайная встреча на Невском, страсть, вспыхнувшая в скрестившихся взорах, игривый бег коней по брусчатке, мглистые ночи…

Впечатления Батенькова были прозаические. Надо все же раскошелиться на карету с венским устройством.

Когда собственный выезд, не зависишь в командировке от любого пьянчуги на почтовой станции. Добрая карета — тот же дом, все под рукой, и закусишь, и выспишься.

— Хотел бы возразить вам, Александр Александрович…

О чем он? — недоуменно обернулся Бестужев. Хватит уже возражений, скорее обнять бы матушку, сестер…

Гаврила Степанович согласен насчет выгоды каменных строений…

Какое совпадение! По пути к Батенькову Бестужев вспомнил свою случайную статью.

Будущее, рассуждал Гаврила Степанович, за камнем; прочен, дешев. Но не желал бы отказа от бревенчатой кладки. Леса нуждаются в разумной вырубке, ему, сибиряку, известно, что такое тайга. Помимо резонов экономических есть духовные.

— Я к тому и вел, — насупился Бестужев.

— Полагаете, от короткого века деревянных строений недостаточна любовь к отчему крову, там и к отечеству? Видя добротную каменную кладку в чужих землях, мы испытываем пристрастие к чужому? Не пойму я наших воспевателей старины. То нет ничего лучше взлелеянного стариной. То готовы сломя голову мчать за иноземной модой; еще других корят: мало верности своему прошлому…

Гаврила Степанович не хотел бы, чтоб его родимый Тобольск по мановению руки из деревянного обратился в каменный. Подобные метаморфозы убивают исконные установления.

— В деревянном рубленом доме — дух особый, неповторимый. Такие дома в Сибири подолгу стоят, внушая уважение своим видом, своей крепостью. Такая прочность содействует чистоте нравов.

Дальнейшее, не предназначенное для кучерских ушей, Батеньков говорил по-французски. Надо дорожить тем, что осталось позади, отделяя благое от зловещего, памятуя: ничто не минует бесследно. Ни великое зло татарского порабощения, ни успехи Литвы, ни столкновения с Наполеоном. Это только видимость, будто все поглощено громадностью нашего быта…

Коляска свернула на набережную, и беседа изменила русло. Теплой перчаткой Батеньков махнул в сторону Петропавловской крепости.

— Она нам нужна! Палладиум российской свободы!

Это и было дополнением к плану Бестужева, которое Батеньков собирался сделать в пути. Бестужев сразу оцепил вклад: крепость — кулак под носом Зимнего.

Когда верные войска перед Сенатом и в Петропавловской крепости, царская резиденция обречена. На том стоял Батеньков. Нет нужды забираться во дворец. Зимний сберечь как священное место. От монархии отказываться рано, сохранить на время перехода к республике…

С одной стороны, барабанная дробь, поднять народ. С другой — не допустить солдат в Зимний. Гаврила Степанович верен себе: смелость и осторожность, огонь и лед. И сейчас, когда все подкатило к черте с надписью: «Накануне», он цепляется за какую ни на есть царскую персону. Не Елизавета, так Михаил Павлович, — умишком скуден, но применился бы к формам конституционным.

— Рыжий Мишка применится только к фрунту и параду.

Бестужев вспомнил великого князя с его веселыми непристойностями, жеребячьим ржанием.

— Заставим… На какие полки смеет положиться? С полной уверенностью?

Обнаружила себя ахиллесова пята Гаврилы Степановича. Плохо знает войска. Неведение оправдано: еще в 1816 году уволился в отставку, Сдал экзамен при институте путей сообщения на звание инженера и — в Сибирь, прокладывать дороги. Начальник 10-го округа путей сообщения, замыслы обширнейшие, возможности мизерные. Схарчила бы чиновничья мелюзга при злорадной ухмылке высокого начальства, но прибыл губернатором граф Сперанский, облек доверием.

Вместе со Сперанским Батеньков вернулся в Петербург, потом живал на Кавказе и в Москве. Снова пристал к делу в Сибирском комитете, под началом не кого иного — графа Аракчеева. И этот дорожил светлой головой и чистыми руками Батенькова, но не стерпел насмешек, когда недавно убили его любовницу Настасью Минкину. Откомандировал в Управление путей сообщения.

Одно время Батеньков состоял членом совета военных поселений и теперь считал поселенцев резервом переворота.

Углубляясь в политические сплетения, он отодвигал от себя мысли об армии. Этим ведают другие, у него — свое. Но наступил острый момент, и возник вопрос, словно в канун учения или смотра: «На какие полки сумеем положиться?»

Бестужев помнил названия, но не имел уверенности.

— Николай Александрович! Николай Александрович! — Батеньков поднялся в коляске. Обернувшись, негромко Александру Бестужеву: — Надвиньте шляпу, воротник повыше. Сделаем сюрприз.

В дрожках, бежавших навстречу, недоуменно крутил головой Николай. Наконец увидел, узнал, придержал кучера, соскочил на мостовую. Быстрым шагом к коляске Батенькова. Поздоровался, недоверчиво косясь на странно укрывшуюся фигуру в углу.

Александра резанула неуместность сюрприза, Николай насуплен, по видимому не склонен к шуткам. Потянулся к брату, обнял.

Вглядывается в Николаево лицо — с покрасневшими на ветру глазами, с резкой складкой от носа к уголкам рта, с тонкими, твердо сжатыми губами.

— Что стряслось?

Он хорошо читает это лицо, вдруг окаменевшие черты.

— Моллер?

Николай отвечает по-французски:

— Наотрез отказался. Вчера давал слово. Сегодня уперся: «Не вижу успеха, не хочу быть четвертованным».

Выругался (такое с Николаем случалось редко) по-русски.

Батеньков вернулся к французской речи: вежливый Моллер уступает нам место на эшафоте; за Моллером Финляндский полк, изменив своему слову, Моллер способен донести.

Александр не согласен: человек волен прийти к новому убеждению, русский офицер — не доноситель, среди двенадцати апостолов был Иуда, среди нас — нет.

Николай мрачно выслушал младшего брата: твоими бы устами мед пить, Моллер, между прочим, немец.

Тогда возразил Батеньков: брали слово, полагали Моллера русским, теперь же — немец. Как судить других за переменчивость, когда сами на ходу меняем мнения? Он заикнулся о доносе не потому, что Моллер — немец, а помня о дурной славе дяди-министра.

— Куда держали путь, Николай Александрович? Ко мне? Выходит, свиделись. Прошу в коляску… В тесноте, да не в обиде.

Пословица, произнесенная по-французски, звучала забавно.

Огорченный Николай не спешил воспользоваться местом в коляске. Лишь когда Батеньков сказал о завтрашней присяге, он словно стряхнул с себя наваждение, вернулся к дрожкам и расплатился с кучером, поеживавшимся на козлах.

В коляске Николай сел напротив Гаврилы Степановича. Александр положил руку на плечо брата и через шинельное сукно нащупал твердый эполет.

— Надо бы к Кондратию, — вслух подумал Николай.

— Он уехал из дому… К обеду будет у нас.

Неприметная коляска везла трех офицеров-заговорщиков сквозь нарядный воскресный Петербург.

Батеньков вернулся к волновавшему его предмету: нельзя отказаться от Финляндского полка. Шепнул, нагнувшись к Николаю:

— Есть виды на моряков?

Николай подтвердил сказанное Рылееву: нет. Но Кондратий упрям: вывезти царскую семью на фрегате — и никаких.

Батеньков одобрил — только бы экипаж был верный.

Не снимая руки с плеча Николая, Александр тоскливо подумал: неужто ничего у нас, кроме заговора, царской фамилии, полков и морского экипажа; неужто не видим, как прекрасен Петербург в солнечный день.

Он обернулся к Николаю, любуясь его медальным профилем, точно издали, прислушался к брату и Гавриле Степановичу. Какое лучезарное будущее ждет всех, этот город, страну, когда за святое дело взялись ясные умы, возвышенные сердца!

Кучер взял вправо на Исаакиевский мост. Колеса с натугой въехали на укатанный до каменной твердости обледеневший настил.

Не истекли еще и сутки, как этот мост миновала Прасковья Михайловна, направлявшаяся с дочерьми на Васильевский остров.

13

Дым коромыслом стоит в доме. Хлопают двери, слуги носятся как оглашенные, хозяйка охрипла, раздавая приказания направо и налево, пунцовые от волнения дочери мечутся по комнатам, норовя пособить матери и внося еще большую сумятицу…

Все отступило, смолкло, едва Александр Бестужев обнял матушку.

Маша и Оля, присмирев, ждут очереди облобызаться с братом. Елена подает голос сверху — сейчас сбежит, расцелует.

— Ну, ну, сынок, — изнеможенно отстраняется Прасковья Михайловна, вытирая глаза, часто-часто крестя сына.

Бестужев не нарадуется на младших сестер: изящны, румяны, веснушки зимой — трогательная редкость. Еленину красоту тоже надобно понимать — строгая, крестьянская.

— Довольно затворничать! — бодро взывает он ко всем троим.

Белые платья хороши младшим. Но не худо бы и пококетливее. Да зачем обряжать на один манер? Набухшие груди оголять следует меньше — нужна мера: приманка и недоступность. По простоте, педолог час, станут добычей столичных франтов, эдаких Онегиных, охотников до лакомых провинциальных кусочков. Лиошеньку надо отвадить от темных старушечьих платьев… Он введет сестер в свет, — не век им вековать под матушкиным крылом.

Елена краснеет пуще Оленьки и Маши. Зачем чужие мужчины, когда рядом братья, что ни брат — талант и эполеты.

— Павлику еще в юнкерах ходить, Петр — мичман, курица —

не птица, мичман —… Но таланты, таланты — спору нет.

Павлик — братья окрестили его Вапликом — спешит поправить: мичман — офицер, все адмиралы начинали мичманами. Любезному Саше не задирать бы нос, Мишель моложе, а обошел на круге, в пятнадцать лет выдержал экзамен на морского офицера, встретив юнкера Александра на улице, велел брату сделать фрунт и шапку долой.

Было, весело вспоминает Александр, он — гордец и глупец — обиделся на брата. Где, кстати, Мишель?

Назначен дежурным по караулам, но обедать примчит домой.

Дурачиться бы вволю среди своих, кровных, среди уютной домашней суеты.

В сенях не раз подметали, протирали пол тряпкой. Чей-то палаш висит на крюке для одежды, в углу поверх березовых поленьев забытая кочерга, по овальному зеркалу змеится трещинка. Прасковья Михайловна велела постлать коврик, его и в помине нет… Если разом открывают парадную дверь и ход во двор — тянет сквозняком.

Александр гонит прочь сестер — не хватало, чтоб простыли; зовет оглушенного кутерьмой Батенькова в кабинет к Николаю.

* * *

Старший сын вместе с матерью и Еленой обходит гостиную, преобразованную в столовую. Он хозяин в этом доме, и все надо согласовать с ним.

Женская половина семьи на зиму селится в Петербурге; как устроить, чтобы Оля и Маша имели по комнате? Прасковья Михайловна мечтает учредить «вторники» либо «среды» по обычаю известных петербургских домов; зачастит молодежь, зайдут и степенные люди. Имена старших сыновей ярки на столичном небосводе, жалованье достаточное, публика станет съезжаться, дочери посмелеют…

Будущее окрашивалось в манящие тона. Из суеверия Прасковья Михайловна отгоняла от себя радужные видения.

Николай ловил счастливые нотки в деловитых суждениях матушки, в ее властном покрикивании. «Вторники» или «среды» вполне подходящи, только узнать, ее совпадет ли с кем-либо из близкого круга, он — книжный червь, далек от света.

Не такой, положим, книжный червь, — матушка вспомнила карандашный профиль Любови Ивановны на столе у Николаши.

Насчет комнат для младших сестер Николай посоветуется с братьями. Каковы намерения Саши, окончательно он поселяется

во флигеле при Американской компании или нет?

Чтобы не задеть больное место матушки, Николай завел разговор о Мишеле. Как он, проказник, видит свое будущее? У него казенная квартира и — никто не слышит? — марьяжные устремления.

Прасковья Михайловна сообщнически улыбнулась, Николай многозначительно прижал палец к губам.

Старший брат прикидывал, как бы после обеда спровадить Павлика в Кронштадт, к черту, к дьяволу, чтоб ноги его не было в Петербурге. Отныне их дом — точка опаснейшего пересечения, угроза час от часа будет нарастать. Куда повернется колесо фортуны? Сберечь бы самого младшего, последнюю опору матушки, сестер…

— Во вторник созовем семейный совет, — уверенно возгласил Николай. — Время зажигать свечи.

Прасковья Михайловна спохватилась, то-то и оно, близится обеденный срок, что там у Евдокима?

— Ты уж, Николенька, с Ленушкой займи гостей. Я — по дому…

Николай ненадолго остался один в пустой зале с большим столом, накрытым белеющей в полумраке скатертью. Он не лгал матери, уверяя, будто послезавтра соберется семейный совет. Глядишь, и соберется. Скрывал желание выпроводить Павлика? В том его сыновний долг — щадить матушку. Этот долг он пытался совместить с долгом перед отечеством. Всякая утайка ему давалась трудно — слишком прям по природе. Это хорошо понимала Любовь Ивановна, Люба. Потому и трагичен их роман…

Рассчитывал ее повидать сегодня, возвратясь из Кронштадта. Полчаса, четверть часа. Но сбила встреча с Батеньковым на набережной. Сумеет ли теперь вырваться? Что привезет Кондратий? О чем заседание у Трубецкого? Вечером — совещаться к Рылееву…

* * *

Сдав Батенькова с рук на руки Николаю, Александр хотел уединиться в своей комнате. Старший брат задержал его. Не смущаясь Гаврилы Степановича, сказал насчет Павлика. Александр не нуждался в уговорах, сделает все, чтобы Павлик, отобедав, покинул дом…

Наверху в тесных сенях Павлик точил лясы с Машей и Оленькой, Александр включился в болтовню, потом отозвал брата, наговорил с три короба: теснота, ночуют гости, он и сам

заночует на Васильевском. Младший выслушал старшего и пообещал уехать, твердо решив провести ночь в Петербурге. Сашина настойчивость убеждала: что-то зреет. Никогда не простит себе, оказавшись на отшибе.

Стараясь ни на кого не наткнуться, Александр сбежал по широкой деревянной лестнице, прошел в комнату, считавшуюся его собственной. Заботливая рука наполнила чернильницу, зажгла свечи, положила свежее перо. Елена, милая Лиошенька. Даже не видя ее, чувствовал неназойливое сестринское обожание.

В комнате брата Елена, испытывая трепет, читала тексты, знакомые по журналам, разбирала исправления. Они редки, как и помарки. Бестужев неохотно ковырялся в написанном. Сорвалось с пера, так и будет. Первый порыв — от сердца, первая фантазия — самая яркая, первое слово — всего вернее.

Николай сует братца носом: огрехи, словесные несуразности; всякий талант любит шлифовку.

Не всякий, кипятится Александр, одни живописуют с натуры, другие по воображению, одни портретисты мгновенно улавливают сходство, другие постепенно идут к нему.

Николай мечтает, чтобы дарование брата совершенствовалось. Успех успеху рознь, взять Пушкина…

— Что Пушкин? — настораживается Бестужев-младший.

— Гений, — ответствует старший. — Любой строкой гений…

Полемика временами возобновляется, Николай кладет журнал, жирно подчеркнув фразы, обороты, кои относит к неудачным. Иногда, довольно редко, Александр соглашается, обещает шлифовать. Но забывает, вверяясь воодушевлению.

…Свежие чернила, новые свечи, отточенное перо, однако комната выглядит нежилой. Нет в ней мелочей — безделушек, обычных там, где поселяется Бестужев, ковра на софе, картин.

Кто-то додумался установить у окна конторку. За такой конторкой пишут стоя. А его рабочая поза — горизонтальная.

На конторке бювар казанского сафьяна, купленный в Москве. В нем — гравюры, литографии; замки, рыцари в стальных доспехах, вздыбленные кони, латы, меченные мальтийским крестом.

Сами собой оживали эти сцены, слышался звон тяжелых мечей, стоны, топот, ржание. В романтическом ореоле воскресала далекая жизнь. Он тянулся к ней, входил в нее, словно она рядом, еще длится. Не написал, не успел написать историю Новгорода. Мечтал, собирался с силами! Сколько говорено о том с Кондратием; увлеченный Рылеев делился с Пушкиным: «последние вспышки русской свободы». В разговоре с Пестелем о республиканском образе правления Рылеев взял в пример

Великий Новгород…

На конторке — книжки «Полярной звезды» и «Библиотеки для чтения, составленной из повестей, анекдотов и произведений изящной словесности». Бестужев полистал «Полярную звезду» на 1823 год», нашел место:

«Вольные местичи вольного Новагорода! Не диво было, когда послы князей винили и стращали нас по-своему: дивлюсь, как новгородец мог предложить меры, столь противные пользам соотечественников!..»

Потом — о церкви, о Витовте, о торговле. Многое сегодня к делу. Всего ближе — конец речи Романа:

«Вам предлагают купить мир — временною уступкою прав своих и вечным стыдом родины. Граждане! Разве не испытывали вы, что уступки становятся чужим правом?..»

Раскрыть бы книжку перед бароном Штейнгелем: воспользуйтесь для манифеста. Тем бы перечитать, кто уповает на временные уступки, на шаткость междуцарствия. Не век ему длиться, мы от своего отойдем, свое упустим, — они с лихвой загребут.

Он листал альманах, пока из него не выпал клочок бумаги с коряво выведенными строками. Рука Елены.

«Муки ржаной куль —12 р. 15 к., пшеничной пуд — 3 р. 10 к., гречневой пуд — 2 р., рису пуд — 4 р. 20 к., курица хорошая — 90 к…»

Хозяйка, помощница матушки. Читает повесть брата, а в голове — почем мука, куры.

Однако и он держит в уме не только нить сюжета, но и всю историю Новгорода, когда пишет «Романа и Ольгу», помнит историю Пскова, когда сочиняет «Листок из дневника гвардейского офицера». История, не окостеневшая в именах и датах, не заросшая травой забвения, — ожившая в новых днях. На последней странице «Замка Венден» после того, как благородный Вигберт фон Серрат убивает злодея магистра Винно фон Рорбаха, звучит возглас автора:

«Ненавижу в Серрате злодея; но могу ли вовсе отказать в сострадании несчастному, увлеченному духом варварского времени, силою овладевшего им отчаяния?..»

Праведная месть, расправа с изувером и — «ненавижу в Серрате злодея»!

Полированным ногтем Бестужев отчеркнул на полях слова о рыцаре Серрате, медленно водя карандашом, взял их в рамку, заложил чистый листок между страницами.

Подвинув бювар, принялся тасовать гравюры, литографии, что серной спичкой воспламеняли фантазию.

Но не фантазией единой. В западных губерниях, в Ревеле он бродил среди нагромождений камня, лазил в гроты, пещеры. Подставлял лицо солоноватому ветру Прибалтики. Корпел над книгами, доискивался до мелочей. Читал «Хронику Ливонии» таллинского пастора Балтазара Руссова. Проникал в замысловатые переплетения геральдики, слушал седые легенды, равно дорожа правдой и вымыслом.

С полгода назад Пушкин обособил из сочиненного Бестужевым «Ревельский турнир»: напоминает турниры Вальтера Скотта. Но тут же принялся отговаривать: «Полно тебе писать *быстрые* повести с романтическими переходами».

Отчего же «полно»? Он и стремился к быстрым — все двигается — повестям, к романтическим переходам.

Одна фраза пушкинского письма застряла в мозгу. Сперва вызвала улыбку, потом — раздумья. «Брось этих немцев и обратись к нам православным». Это пишет Пушкин, который обогатил словесность изнеженным европейцем Онегиным, безразличным к участи отчизны!

Пушкин заметил, что у Бестужева русские говорят языком немецкой драмы, но упустил из виду, что рыцари, жители Ливонии, рассуждают в стиле новгородцев, что герои турнирных повестей — воители за «права личности», против жестокостей и сословных предрассудков, что идея «Изменника» — «завидна смерть за родину» — совпадает с символом веры тех, кто сейчас поднимается на тиранию.

Не в письмах им объясняться. Встреча безотлагательна; зимний путь быстрее осеннего.

Насколько Пушкин посвящен в секреты заговора? Жил на юге, общался с «южанами», с Пестелем. Вовлекли его в смертоопасный круг?

Что, если зов «обратись к нам православным» — направить к обществу?

Тон шутейный, не барина, а простолюдина; смиренная просьба: обратись к нам, православным.

Как было не пить из далеких источников? Оглядывались на польский сейм, почитали смелых французских авторов, издавна дискутировали о немецком Тугенбунде, привлеченные его патриотическим настроением и уставом, стараясь уловить несовпадение между «целью» и «ужасными средствами».

Многое приносилось с запада. Но и, воздавая должное английской конституции, федеративному устройству Северо-Американских Штатов, подмечали узость британского закона и всесилие «аристократии богатства» в Америке. Манил пример «гишпанской армии» — военная революция, бескровная победа.

О гишпанском опыте князь Вяземский толковал с Бестужевым: недурен, но в российских обстоятельствах чреват пугачевщиной; как нельзя лучше годен напугать наших «мелкотравчатых Батыев».

Еще в двадцатом году Петр Андреевич сочинил «Табашное послание» — не для печатания и широкого чтения. Шутливое послание князь венчал словами надежды на чудо, какое может воспоследовать, коль «врагам завоеваний мысли смелой, друзьям привычки закоснелой» дать понюхать «гишпанского табаку».

Попробуйте, благим влияньем

Свершится чудо, может быть:

Авось удастся осветить,

Авось целительным чиханьем

Удастся их очистить мозг,

Который страх как сух и плоск

И страх как завалился сором…

Стихи Бестужеву нравились по-прежнему, но надежды на целительность «гишпанского табака» убывали.

Разногласия между ним и Вяземским обнаружили себя, когда коснулись Семеновского полка.

Князь Петр Андреевич симпатизировал солдатам: смысл их справедливого протеста, в отличие от событий в Гишпании и Неаполе, — предостеречь правительство: настала пора решительных перемен. Иначе — неисчислимые бедствия. Каких на Западе не видывали…

С конца минувшего века тайные общества множились в Европе, как грибы. Принципы профессора Адама Вейсгаупта — неутомимого создателя таких обществ — сделались достоянием русских заговорщиков. Вейсгаупт наставлял: революции должно предшествовать моральное обновление людей, их «перековывание». В противном случае народы не сумеют воспользоваться завоеванной свободой, лидеры забудут свои обязанности и сделаются новой аристократией.

Но на масонских дрожжах русское тесто не поднималось. В Италии, Франции, Греции карбонария и этерия распространены повсеместно, охватывают тысячи и тысячи. В тайных обществах

России счет на десятки, редко когда — сотни.

Русские «вольные каменщики» кое-что взяли у Вейсгаупта, у западных масонов: нелегальную тактику, осмотрительность поведения. В хитроумном Батенькове сильна масонская закваска. Ложа «Избранного Михаила» приучила брата Николая к сдержанности.

«Обратись к нам православным», — звал Пушкин. Если его призыв направить обществу, получалось какое-то раздвоение. Обращались ведь. Восславляли русскую старину, древние свободы на Руси. Вспоминали Пугачева и — страшились бунтующей черни.

Однако — «обратись к нам православным». Не столько, видно, об отечестве, но о людях, народе. Отечество — понятие надзвездное, в нем, не ровен час, и потеряешь человека. Размышляя о «православных», куда придешь, какие предметы и племена откроешь?

Бестужев угрюмо отмахнулся было от теперь уже совсем не шутливого обращения Пушкина. Да разве от такого отмахнешься?

Глупо, непростительно затягивать с поездкой в Михайловское.

Завтра не с руки, понедельник — тяжелый день.

При чем тут — тяжелый день?.. Завтра все ставится на кон!

А сегодня — воскресный обед, маменька, сестры…

Он провел холодными ладонями по лицу, стиснул виски.

Нашарив в кармане ключ, отпер высокий книжный шкаф. На верхних полках, за стеклом, груды стянутых тесемкой рукописей. Нижняя половина дверец — дерево, украшенное бронзированной резьбой, — скрывает от глаз четыре ящика. У каждого — свой ключ; связка — под крышкой конторки.

Здесь уложены бумаги, к которым никому, кроме хозяина, притрагиваться не дозволено.

14

Когда велись переговоры об аренде василеостровского дома, купец Порфирий Герасимович Гурьев держался свободно, умеренно хвастался, повествуя, как сколотил капитал, начав торговлей грибами из Олонецкой губернии, — чтобы миниатюрные, шляпка не более ногтя на мизинце (ноготь у него желтый, толстый, отнюдь не миниатюрный). Бестужев поощрял Гурьева к откровенности: сколь сильны утеснения? многим ли вынужден совать? Даже забывал поигрывать аксельбантом, тереть

согнутые пальцы о мундир. Стоило, однако, только завести речь о крючкотворных формальностях, денежных расчетах по аренде, Бестужев за треугольную шляпу — и был таков.

Однако не спешил покинуть дом. В соседней комнате вытаскивал из кармана памятную книжку, записывал: «всеконечно», «утрудив», «антирель» (артиллерия), «изволите иметь умственное рассуждение».

Эти заметки делались для «купеческого словаря». Насколько разделены слои российского общества, если каждый изъясняется по-своему…

Когда дело с Гурьевым сладилось и ударили по рукам, начав заселение, Александр, к изумлению близких и огорчению маменьки, облюбовал себе комнатенку на первом этаже с окном во двор.

Его раздражало соседство рынка, не стихающий базарный гвалт. Нищие, христорадничавшие на паперти Андрея Первозванного, к вечеру напивались в рыночном трактире и голосили совсем не жалобно. Оскорбляло соседство храма и лабазов.

Свою комнату Бестужев обратил в хранилище для бумаг, в место свиданий, удаленное от людных набережных Фонтанки и Мойки.

Рынок все же манил — красочность речи, своеобразие сценок, физиономий, нравов. Он слонялся между крикливыми рядами, заходил в тесные лавки, где пахло квашеной капустой, дегтем, пряностями, сушеными грибами, вяленой рыбой. Коммерция — двигатель экономического процветания…

Торговые гости — герои его новгородского повествования «Роман и Ольга»; в «Ревельском турнире» приказчик Эдвин побивал на поединке заносчивых рыцарей. Бестужева упрекали: правдиво такое? для чего завышены сочинительские симпатии к сословию купцов?

Писатель, член тайного общества Бестужев определенен во многих своих «принимаю — отвергаю». Но человек, офицер, дворянин не свободен от неприязни к купчишкам…

* * *

…Взвизгивает, открываясь, парадная дверь, и хлопает дверь черного хода. Подкатывают экипажи, тяжелые шаги стихают на верхних ступенях деревянной лестницы.

Но все звуки приглушены: углубился в свой давний дневник. Тот, где на заглавном листе — «Рука дерзкою откроет; другу я

сам покажу». Умилительная пора, мальчишеские чувства, трогательные элегии отрока. Насмешливые профили и анфасы на полях, карикатуры в уголках страницы. Подобное влечение карандаша обычно награждает художника врагами, толкает его к жанрам юмористическим и сатирическим.

Все не сообразно с начальными шагами. Врагов он имел не более остальных кадетов и молодых офицеров. В лейб-гвардии Драгунском полку выискался дурень, послал картель, узнав себя в образе индийского петуха; пришлось стреляться…

Он не стал сочинителем-сатириком, но в своих критиках достаточно саркастичен. Романтизм нуждается в защите. Пушкин от него отходит, однако Бестужев не свертывает знамена…

Он читает лежа, в сапогах, отпустив твердый воротник мундира. Тетради, бумажные листы падают на пол двумя кучками. Одна будет возвращена в шкаф, вторая пойдет в печь.

Печь уготована сочинениям детских времен, дневнику, письмам и запискам, сохраняющим слабо уловимый запах духов. Не всегда вспомнишь, чья рука; лица, движения, голоса возникают в памяти расплывчато, розно. Исчезают, оставляя по себе приятную истому. Все когда-то дорогое, меченное женскими именами, в огонь. «Рука дерзкого» не прикоснется.

Часть бумаг — обратно в шкаф. Ящики запираются. Связка с четырьмя ключами кладется в конторку.

Прижав к мундиру бумажную кипу, он несет ее в коридор, сваливает у печной топки. Изразцы еще теплые, но печь выгорела. Пошуровать — сухие листки возьмутся.

В сенях поверх вязанки дров находит кочергу, попутно заметив: на вешалке, слева от парадной двери, добавились бекеши, шинели. Евдоким в ослепительно белом фартуке торжественно шествует мимо с огромным блюдом. Праздничный переполох вздымается от кухни и людской, расположенных в полуподвале, по освещенной канделябрами лестнице к степенно гудящему бельэтажу.

Сидя на корточках, Бестужев рвет бумагу, бросает клочья в печку, неумело гремит кочергой. Кто-то из прислуги, проходя мимо, отодвигает заслонку. Обрывки разом вспыхивают.

За этим делом, в этой позе его и застает Батеньков.

— У нас сие место по коридору направо, после моей комнаты, — поясняет, не подымаясь, Бестужев.

Когда Батеньков возвращается, Бестужев оборачивает к нему разгоряченное печным пламенем лицо.

— Аутодафе завершено? — Батеньков вытирает платком ладони.

Бестужев выпрямляется, ногой захлопывает чугунную дверцу,

тоже достает платок. Они стоят рядом, вытирая руки. Гаврила Степанович угрюм.

— Благодарствую за урок.

Бестужев пожимает плечами. Полноте, какой урок?

— Надобно произвесть разборку бумаг, все серьезное — в камин.

Знал бы Гаврила Степанович, насколько и для кого серьезны сожженные бумаги, тихо улыбается Бестужев. Но похвала лестна. Он зовет гостя в комнату, подвигает кресло.

Гаврила Степанович озадачен обстоятельствами, а также невозможностью о них говорить. Не за обеденным ведь столом, при дамах?.. В кабинете у Николая Александровича некто Репин…

Какой Репин? При чем он?

При том, что давешний вопрос о полках набрал новое значение. Репин — штабс-капитан лейб-гвардии Финляндского полка. После измены Моллера вся надежда на него…

Каким образом этот Репин попал в их дом? Почему к обеду?

Приехал с Кондратием Федоровичем и Пущиным.

Рылеус вернулся! С ним Иван Иванович Пущин!

Он порывался бежать, обнять гостя: pectus — amico[18].

Иван Иванович — как не осенило раньше! — всего необходимее ему сегодня. Трезвый рассудок, возвышенная душа. Он сообщит встрече в Михайловском большую доверительность…

Батеньков с горечью наблюдал за Бестужевым. Мальчишеская манера: чуть что — уноситься воображением в какие-то свои дали. Разве слеп: сегодня не до витания в небесах.

Сухо, почти зло Батеньков заметил, теребя спутанные надо лбом волосы, что Рылеев сразу и отбыл. Раздосадован. Но причину не открыл. Умолял Прасковью Михайловну начинать обед без него. Обещал быть после закусок, уж к десерту — наверняка.

Останется ли обедать Иван Иванович, неизвестно. Всего пять дней как из Москвы, старается вникнуть в петербургское коловращение.

— Трудно, — сокрушенно вздохнул Батеньков. — Мы сами, петербуржцы, не поспеваем за ходом вещей, нет того, чтобы шагать по земле, все в облаках, в облаках…

Это отдавало укоризной, но Бестужева печалило иное — пока он с бумагами возился, рядом, в бельэтаже, совершалось важное.

Что означает мимолетный визит Рылеева, и чем он раздосадован? По какой надобности оставлен в доме Репин?

Батеньков опять достал платок, протер маленькие стекла очков.

Казармы финляндцев недалеко от Сената. Полк быстрым маршем достигнет площади и поддержит заговорщиков. Столь же быстро он способен появиться здесь с противуположными целями. Вероятно и третье: нейтральность батальонов, воздержание от присяги Николаю. Вот почему надлежит непременно убедить штабс-капитана Репина, такова обязанность Александра Александровича.

Бестужев не выносил, когда ему указывали, что и как он обязан исполнить. Отбрыкивался, злился. Ладно бы Рылеев, брат Николай. Но Батеньков, заговорщик без году неделя…

Отозвался, сдерживая раздражение, самоуничижительно: Пущин и Рылеев не уговорили, у него запасы красноречия не больше, чем у них; тратить столько времени на всякие…

Батеньков остановил его, надев очки. Они все охочи до общих материй, заоблачных сфер, философических тем, исторических прецедентов. Отменно, тренировка мозга, поиски конечных истин. Но реальное дело складывается из мелочей, им и надобно уделять внимание.

Гаврила Степанович тоже подавил вспышку неудовольствия, взяв себя в руки.

Пущин и Рылеев для Репина — статские, их голоса, возможно, не обладают должным весом. Николай Александрович и Константин Петрович — моряки. Снова не то. Тем паче Торсона отправили к дамам, устраняя совершеннейшее неприличие: вместо воскресного семейного обеда — уединенные беседы в кабинете старшего Бестужева.

— Сердечно объяснитесь с господином Репиным. Офицер с офицером. Не след живописать всю картину — мы и сами ее не видим; но пускай исполнится сознанием великого долга. Россия не простит, ежели упустим свой час. За подобные упущения веками народы расплачиваются.

* * *

Они все были неизлечимы: чуть что — столетия, история, великий долг. И тому подобное…

* * *

Батеньков достал из внутреннего кармана часы. Не уверен, что останется обедать. Потому хочет быть выслушанным («с полным вниманием, Александр Александрович»); необходимо сообщить подробности (это слово оттенил голосом) старшему брату и Кондратию Федоровичу. Он не успел сказать о них.

(Бестужев подумал: не успел или не пожелал? Предполагал уединиться с Николаем и Рылеевым; не вышло, хочешь не хочешь, зови на помощь его, Александра.)

Вслушиваясь в методичную речь Батенькова, Бестужев улавливал: по обе стороны незримой линии — сумятица. Но выходили из нее неодинаково. По эту сторону — многоголосие, нарочитая уединенность диктатора, по ту — великий князь Николай Павлович в одиночку рвет сковывающую зависимость от брата.

Официальный отказ Константина развязал бы Николаю руки, которые чешутся: скорей, скорей покончить с треклятой подвешенностью, получить корону. Вчера в обед примчался долгожданный гонец из Варшавы. Николай, немедленно покинув столовую, вскрыл пакет. Послания Константина продолжали внутрисемейную свару. Эдак можно обмениваться письмами до второго пришествия, а трон бы пустовал, место государя всея Руси оставалось вакантным…

Николай распрощался с надеждой на документ, дающий ему право завладеть шапкой Мономаха. В меру сил и разумения сотворил проект манифеста о присяге, назначив ее на 14 декабря.

Сил было маловато, разумения — того меньше. Окутывая все тайной, в замысел, родившийся субботой после обеда, Николай посвятил только графа Сперанского. Поручил отшлифовать текст, сообщить манифесту внушительный облик.

Вечером Сперанский сел за манифест, ночью, блюдя строгую секретность, его перебелили в трех экземплярах.

В тот утренний час, когда к Бестужеву зашел барон Штейнгель, Николай Павлович подписал манифест, допустив шулерский трюк, — пометил его не сегодняшней датой, а вчерашней — 12 декабря.

На воскресный вечер он созывал Государственный совет…

Дух захватывало от запахов, доносившихся с дворцовой кухни.

Тайное общество получало крупный выигрыш и вставало перед необходимостью быстрых действий.

Спрашивать Батенькова об источнике секретных сведений по меньшей мере бестактно. Теперь ясно, почему он упрямо держится за своего «старика», который, похоже, и нашим и вашим ворожит.

Остаток нынешнего дня Батеньков собирается употребить для нового уговаривания Сперанского, имея своим союзником Краснокутского.

Гаврила Степанович снова взглянул на часы, теперь машинально. Бестужев его не удерживал — не до светских пустяков.

— Присяга — сигнал к действию, — уточняюще произнес Батеньков.

Бестужев, все еще не составивший мнения об этом действии, о силах, согласился. Да, наверху штабс-капитан Репин…

— Репин — на вас. Финляндский полк необходим. Но я сейчас…

Батеньков оглянулся на полуоткрытую дверь. Заговорил с несвойственной ему поспешностью. Божий промысел никому неведом, надо верить в викторию и быть готовым к неудаче. Политическая мудрость — намечать вариации, удобные и для успешного стечения обстоятельств, и для губительного. Если неудача — отступать к новгородским военным поселениям.

— Вы — знаток Новгорода, я — военных поселений, — сумрачно пошутил Гаврила Степанович и продолжал уже вполне серьезно: — Поселения сильно негодуют и готовы возмутиться при всяком поводе.

Остальное комкая, скороговоркой: идти со знаменем, под барабаны, но план Александра Александровича захватить для марша деньги в Губернском правлении он, подобно Рылееву, отвергает. (Бестужев насупился; зря Кондратий докладывал, кем выдвинут план.)

Батеньков, не обращая внимания на выражение лица собеседника, рассуждал о возможной неудаче, о московской коронации.

Вдруг смолк, твердой ладонью оттолкнул Бестужева и рывком притянул к себе. Обнял, поцеловал…

Слегка ошарашенный Бестужев остался в коридоре. Батеньков через ступеньку взбежал по лестнице. Чтобы приложиться к ручке Прасковьи Михайловны, проститься до вечера с Торсоном, с Николаем Александровичем и уехать, так и не отведав воскресного обеда.

…Опрометчиво было в белых панталонах затевать бумажное аутодафе. Чистых брюк нет — весь гардероб во флигеле у Синего моста.

Он замешкался у лестницы. И весело помчал вверх — где наша не пропадала! Отшутится насчет пятен. Завтра выйдет на площадь в белых панталонах, в ненадеванном — только от портного — мундире.

15

Наверху, в сенях, Александр сбегу наскочил на матушку, — Ты, Саша — оглашенный, — но не в упрек, скорее в похвалу сказала Прасковья Михайловна, потрепав сына по щеке.

Сегодня ей все было в них мило, все радовало. Знакомые и незнакомые, посетившие воскресный дом, напоминали о широких, надежных связях сыновей. Секретарь графа Сперанского на короткой ноге с ними. Досадно вот, не остался обедать, такая персона — украшение праздничного стола.

Она пожурила Сашу за испачканные сажей панталоны, строго-настрого велела переодеться; как можно в подобном виде в столовую! Точно маленького, взяла за руку, повела в комнату Михаила, порывшись в шкафу, нашла панталоны.

— Они мне коротки, — смеясь, взмолился Бестужев, — тесны.

Ему отраден был этот гнев, эта возня. Оставив обеденные хлопоты, матушка пеклась о том, как он выглядит, насколько наряден для торжественной семейной встречи.

Она же опять принялась о своем: все они — дети, за каждым глаз да глаз. Карьеры сладились, но житейски не устроены, как без жены, без потомства…

Поинтересовалась Пущиным (видный, высокий, держится осанисто). Холост? Тем лучше. Судья?.. Судей Прасковья Михайловна не выносила. Однако сын заверил, что Пущин — не чета всей судейской швали. И Рылеев состоял в заседателях палаты уголовного суда. Этот аргумент окончательно расположил Прасковью Михайловну к Пущину. Она наказала звать его к обеду, не слушать отговорок. Какие еще деловые визиты в воскресный день?

Панталоны действительно оказались коротковаты, но Прасковья Михайловна надрезала штрипки, и брюки с грехом пополам удалось натянуть. Грязные выстирают и положат в его комнате. Ей хотелось привадить Сашу к василеостровскому дому. Пусть бы летал, где пожелает, но дом, покуда не женился, был здесь, возле матери.

Обычно Бестужев не тратил больших усилий на разгадывание матушкиных хитростей. А сейчас ему и вовсе было не до них. Со всей яркостью встало заманчивое видение: завтра на Петровскую

площадь он выйдет в новом, сверкающем позолотой и эполетами мундире, в белоснежных панталонах, лакированных ботфортах; шарф, сабля. Невзирая на декабрь, без шинели. Сам вид, олицетворяя отвагу, увлечет полки. Таким он запечатлеется в памяти людей.

— Вы бы там, Сашенька, не мешкали с Николаем. У вас свое, не моего ума дело, но обед ждать не станет.

Бестужев насторожился — матушка о чем-то догадывается? Не может того быть. Она безмерно счастлива, собрав под крышей своих птенцов…

Прасковья Михайловна впрямь счастлива, но минутами к сердцу подкатывает неизъяснимая тревога. Кондратий Федорович все туда-сюда, как дворцовый скороход, Гаврила Степанович обещал отобедать и ни с того ни с сего запросил пардона, укатил…

— Ступай, сынок. Кто будет к Николаю либо к тебе с Мишелем, зови в столовую. Бестужевы всегда гостям рады, ныне — вдвойне… Не запамятовала, для тебя кислая капуста припасена. Поцелуй маменьку и ступай. Чего понапрасну со старухой валандаться.

Все обычное, исконно матушкино, вплоть до трогательно-простонародного — «со старухой валандаться». Его бы воля, он и шагу не отступил от нее; куда она, туда и он. Тепло, родственно подле маменьки, но пора к Николаю, к Пущину, к штабс-капитану — как его? — Репкину, Репину, Редькину…

До сегодняшнего дня жили розно, несоединимо; общество и семья. Первое — тревоги, мечты, споры, секретные совещания; второе — тишь, умиротворение.

Слушая толки о резервных — на случай неудачи — вариациях, он не связывал драматический финал с семьей. И сегодня не связал, само собой получилось…

Коляски подъезжали к дому, где готовился большой семейный обед. Не гости, а заговорщики. Но заговорщики, перейдя из одного покоя в соседний, делались воскресными гостями. Матушка жалела об отъезде холостяка Батенькова и помнила о неженатом Пущине…

Бестужев распростер Пущину объятия, поцеловал в пухлую щеку. Они одного почти роста, Почти ровесники. Бестужев годом старше.

Но, бывая с Пущиным, Александр иногда ощущал себя юнцом, несмышленышем. И не потому, что Иван Иванович сверх меры скрытен, Всегда видит, с кем и насколько допустима откровенность. В облике спокойствие, солидность, в одежде аккуратность: синий фрак с иголочки, туфли от лучшего

сапожника. Осведомленный о завтрашней присяге, он и теперь тих, созерцателен. Бритый подбородок упирается в белый воротник.

— Едучи по городу, заметил более, чем обычно, разъездных полицейских и жандармов.

Голос ровен, как и движения. Пущин глядит в темное окно, что на Андреевский рынок. Здесь не видать полицейских и жандармов, все сегодня на главных улицах. Глаз приучен ловить такое, голова — собирать, выстраивать, сопоставлять.

— С одним «голубеньким» беседовал. Распоряжение Милорадовича.

— Присяга. Нервы играют. Николая Павловича терзает бессонница.

Мишель судил резко, энергия рвалась наружу. Подле размеренного в речах Пущина и угрюмо сосредоточенного Николая он выглядел наэлектризованным.

Пятый из находившихся в комнате не брал участия в разговоре, всем видом своим показывая, что дорожит доверительностью, но мало посвящен в условия и задачи. Когда Александр Бестужев к нему подошел, звякнул шпорами: лейб-гвардии Финляндского полка Репин Николай Петрович.

Лобастый, с большими глазами, дружелюбно открытыми навстречу.

Повторяя Батенькова, Бестужев по-товарищески обратился к Репину: не всегда и не всем трактовать высокие материи; братья с Иваном Ивановичем размышляют, какие указы давать свободной Руси, тем временем они, два штабс-капитана, обменяются мыслями о мелочах. (Он слегка кривил душой — к мелочам влечения не испытывал, его занимали будущие указы, еще более — будущее царской семьи; хотел бы услышать Николаевы и пущинские соображения.)

Подвинули к окну стулья, отделились от остальных.

Репин словоохотливо объяснил (подогревало внимание литературной знаменитости), что с 26 октября рапортуется больным; батальон, в который входит его рота, дислоцирован вне города; явившись в Петербург, должен будет отрапортоваться здоровым, но это повлечет отправку обратно, за город, в батальон.

— Незадача, — посочувствовал Бестужев. — Однако почему бы, пользуясь воскресным досугом, не посетить знакомых офицеров на квартирах? Почему бы, а?

Снизошедшая откуда-то уверенность нашептывала доводы, они не обязательно убеждали, но давили, покоряли. Вдруг осенило:

— Я сам пойду к московцам! Поведу полк вместе с братом Михаилом. Слышишь, Мишель?

Минуту назад ни о чем подобном и не думал. Сейчас — точнейшее знание: выведет лейб-гвардии Московский полк, под барабанный бой, у солдат с собой патроны… От одного полка к другому, начать с Измайловского, собрать всю гвардейскую пехоту…

Картина воодушевляющая; штабс-капитан Репин дал заверения: навестит офицеров-финляндцев, расстарается.

— Поболее красноречия, — напутствовал Бестужев; он уже добился своего, испытывал симпатию к Репину, звал к скромному семейному обеду. Звал вполне искренне, но не настойчиво.

Штабс-капитан откланялся, звеня шпорами, покинул кабинет.

— Что у Рылеуса? — атаковал Александр старшего брата.

Николай замялся; лучше Саше все узнать от Кондратия, помнит, как однажды взялся быть между ними связным, ничего хорошего из этого не получилось…

Александр догадывался, что имеет в виду старший брат, но давнюю размолвку с Кондратием истолковывал по-своему, не Николай в ней повинен, а огорчительная скрытность Рылеуса; потом и ее понял, сам оправдал друга…

— Пользуясь вашим, братцы, присутствием, — Николай обратился к Михаилу и Александру, — хочу составить маленький комплот супротив Петра и Павла. Ты, Иван Иванович, не помеха… Петра после обеда выпроводить в Кронштадт, Павлика — в училище.

Павлика, конечно, в училище. Но Петр — в Кронштадт?

Почему Николай этого захотел? Разуверился в успехе и пытается сохранить для матери двоих сыновей? Укрепился в надежде, что все обойдется без Кронштадта и нет нужды подвергать Петра риску? Боится смуты в Кронштадте? Сегодня туда вернется Любовь Ивановна, и в случае опасности Петр послужит ей и дочерям защитой?

Какие бы резоны ни имел старший брат, Александр их одобряет. Николай тревожится о том, о чем он, сжигавший бумаги, забыл. Как помочь матери и сестрам, если план потерпит крах?

План, диспозиция все еще изменяются. Насколько совпадают наброски, сделанные здесь и у Синего моста, с тем, что замышляет князь Трубецкой?

Пущин и стремился к Трубецкому. Позже, на вечернем совещании у Рылеева, все линии должны слиться в общее русло.

Николай безмолвствует. Мишель горячо ратует за единство тактики, — военные перевороты тогда только успешны, когда

войска подчинены одному командиру; Карно, Лафайет…

— Карно и Лафайет суть фигуры различные, — возражает Николай.

Между братьями назревает пикировка, она вовлечет Пущина и Александра. Имена Карно и Лафайета на слуху, французские революционеры — негласные соучастники многих сходок.

Но Пущин зовет друзей вернуться на отчую землю. Хватит полемик, исторических образцов. Он умудрен долгим участием в тайном обществе, долгим ожиданием момента (ожидали, а подвернулся — Семеновское «возмущение», — упустили)… Вывести полки на Петровскую площадь — отменно. За этот вклад Александру земной поклон. (Идея несется с быстротой депеши, вероятно, уже достигла Трубецкого. Не покатилась бы дальше. У Бестужева впервые пробудились опасения, омрачившие радость от пущинской похвалы.) Ситуация донельзя удобная, проморгаем — удостоимся во всей силе имени подлецов. Полезные начинания хороши, когда осуществляются способами, не пятнающими тех, кто устремлен к цели. Пущина интересует все: план, детали, добропорядочность поступков. Снова о полках. Как их увлечь, избежав насилия и обмана? Сколько будет на площади? 13 какой готовности? Он из Москвы менее недели; все дни — будто на качелях. От уверений: гвардейская пехота разом выступит на зов заговорщиков — до полной суверенности в грядущем дне.

Пущину не определить военный резерв завтрашнего дела. Слышал краем уха, как Бестужев убеждал штабс-капитана Репина. Другой перспективы заручиться поддержкой Финляндского полка нет?

Иван Иванович поочередно оглядывает братьев.

От числа штыков на площади зависит сговорчивость Сената. Пущин совпадает с Батеньковым, он тоже намечен в делегацию, которой предстоит уламывать Сенат. Хорошо бы поладить миром…

— Держали бы сенаторы сторону заговорщиков, — вскинулся Александр, — так и заговор ни к чему. Затянулось междуцарствие, — Сенат и пальцем не шевельнул в пользу законов и свободы.

— До сего дня никто и не пытался побуждать Сенат к гражданским целям, — возразил Пущин и добавил: — Люди меняются с изменением обстоятельств; штыки тожо содействуют освежению мозгов.

— Штыки, когда ружья к ноге или взяты наизготовку? — не унимается Александр Бестужев.

Пущин тянется к свечке, раскуривает сигару.

— Предпочтительны штыки, не обагренные кровью. Чем они

многочисленнее под стенами Сената, тем больше шансов бескровно убедить сенаторов.

— А ежели? — Михаилу передается нетерпение Александра.

— Чего понапрасну гадать, — Николай старается устранить неловкость. Братья слишком уж наступают на московского гостя.

Но Пущин отвергает великодушную защиту.

— При несогласии, к сожалению, понуждены будем заставить…

Насилие — средство вынужденное, оно рождает ответную месть. Так и будет до конца, теряющегося в кровавой неизвестности. Мирный исход позволяет не нарушать предел дозволенного.

Александра поражает этот «предел дозволенного». Не забыть бы, не забыть…

Вынув изо рта погасшую сигару, Пущин рассуждает: Сенат по своей воле или под давлением подпишет манифест к русскому народу о новом правлении.

Александр Бестужев стоит, навалившись сзади на спинку стула. Мысли его уже отклонились. Пущин извещен, что для побуждения полков к выходу на площадь решено также пустить слух, будто в Сенате хранится завещание покойного императора, где уменьшены годы солдатской службы. Такая неправда дозволяется?

Он с Николаем и Рылеевым уверяли нижних чинов в существовании несуществующего завещания. Батеньков шел еще дальше — хотел отпечатать подложный манифест; в придачу обозвал Бестужева, когда тот попробовал робко возражать, непорочной девицей, политика, мол, не Смольный монастырь, в ней исходят из практической пользы. Она и есть высшая мораль.

Однако как все накинулись на Бестужева, когда он советовал в случае марша к военным поселениям взять деньги в Губернском правлении, назвали это грабежом. Он-то ни на какой обман, ни на какой подлог не шел — деньги брались бы взаймы. От того практическая выгода и моральная польза: без денег, без налаженного котла солдаты будут шастать по деревням, добывая пропитание.

Каждый сам, что ли, обозначает для себя предел дозволенного? У политика Батенькова он один, у моралиста Пущина — второй. Где он у Александра Бестужева?

Сегодня всего менее времени, чтобы спокойно посмотреть так, эдак. Каждый сдвигает границы дозволенного сообразно собственному взгляду на мораль, на интересы общества и всего отечества…

Для Пущина нет спора: Сенат по своему желанию либо под

нажимом подпишет манифест к русскому народу о введении нового правления. Желательно, чтобы нажим, коли уж без него не обойтись, не вылился в кровопролитие, расправу.

— Как воздух, нам надобны законы, как пагуба, опасно беззаконие, — не устает напоминать Пущин с погасшей сигарой в руке.

Долг Сената — созвать Великий собор, долг собора, куда войдут делегаты всех сословий, всех губерний, — определить форму государственного управления.

Вполне либеральный прожект в западном духе, но исконно русское название. Только кто поручится, что выборы — чистое волеизъявление народа? истинный их итог не утаят? что простолюдин уразумеет, кого вотировать?

Эти вопросы Александр Бестужев оставляет про запас. Называет главнейший. Как быть, если Великий собор выскажется эа монархию в ее прежнем состоянии? Зачем тогда их труд? их заговор? риск?

Выпрямившись во весь рост, Иван Иванович, Большой Жанно, как звали его в лицее, отвечает поучающе:

— Затем, чтобы Великий собор имел средство выбора.

— А мы ему подчинялись?

— А мы ему подчинялись.

Но есть способ разорвать круг, с плеча рассечь гордиев узел.

— Всю бы семейку…

Александр Бестужев проводит указательным пальцем по горлу.

Пущин мерит его задумчивым взглядом. Ему доступны эти искусы. Идея стоящей вне основного заговора «cohorte perdue»[19] (цареубийцы падут сами, не запятнав тайного общества), бобруйский план (захват Александра во время маневров 1823 года в Бобруйске). Не жестокость диктовала такие намерения — вера в радикальный ход, который даст избежать большой крови. Избежать? Но не станет ли он формой невольного навязывания новой деспотии? Не послужит ли порче народных нравов?..

Пущин не отважился на категорические «да» и «нет». Решенное для себя не обязательно для остальных.

В Петербурге ему ближе других Рылеев — разумные воззрения, надежда на Великий собор. Но минутами пылкость торжествует. Якубович оглашает столичные салопы воинственными кличами; известны и еще кинжалы, коим невмоготу стыть в ножнах.

Когда бы только пылкость! Обстоятельства могут взять за горло самих заговорщиков, понудят выхватить цареубийственный клинок.

Пущин достаточно хладнокровен и опытен, чтобы отринуть перспективы, не всегда согласующиеся с его волей, его мыслями. Но идея, должна быть идея…

Воспользовавшись паузой, Михаил возвращается к Карно. Тот был депутатом Законодательного собрания, следом — Конвента, ратовал за казнь Людовика Шестнадцатого, а впоследствии участвовал в термидоре.

— Я к тому, — подвел Мишель, — что неизвестно, каких представителей изберет Великий собор и куда последуют оные, когда спадет волна негодования.

— Это не причина игнорировать народное представительство, — возразил брату Николай, — Никто, помимо Великого собора, не правомочен определить участь великих князей.

— Участь государя, всей фамилии, — рассудительно заметил Пущин.

Молчавший уже несколько минут Александр оторвался от спинки стула, недоверчиво усмехнулся:

— А император Николай, по-вашему, станет ждать сложа руки?

— Руки свяжем, — отрезал Пущин. — Ареста фамилии не миновать.

Бестужевская фраза «Можно забраться во дворец» теперь нуждалась в продолжении. «Забраться, чтобы…» Овладеть резиденцией? Истребить царскую семью? Арестовать?

Он любил кинуть словечко, получая удовольствие от его броскости. Но бумеранг возвращался к нему, заставлял думать. Потому он и вызвал Пущина на этот разговор — узнать его взгляд, умонастроение московской «управы». Если петербургское общество постигнет неудача, сразу всплывет план, сопряженный с коронацией в Москве, и тамошней «управе» никуда не деться от вопроса.

Он хотел это растолковать Пущину, видя двойную, даже тройную цель. Решить кое-что и для себя; не выглядеть в задумчивых глазах Ивана Ивановича слишком легкомысленным. Бестужев, все острее ощущая необычность этого дня, старался быть сосредоточенным, последовательным…

Дверь шумно распахивается, в проеме — Торсон под руку с Оленькой и Машенькой.

Сестры краснеют при виде Пущина. Но он так открыто улыбается, что затворницы начинают подшучивать над братьями и гостем, которым беседы дороже вкусного обеда, мужское общество милее женского.

Пущин рассыпается в комплиментах, а себя именует

московским монстром, вылезшим из судейской берлоги.

— Шутки шутками, — вмешивается Торсон, — однако Прасковья Михайловна ждет к столу. Холодные закуски поданы.

— Холодные не остынут, — пытается острить Александр. Но и ему не устранить возникшей заминки.

Пущин с радостью остался бы, разделил обед с милым бестужевским семейством. Но воскресные обеды тянутся подолгу; у него встречи, вечером — к Рылееву…

Того сильнее раздосадован Александр Бестужев: нашли время для праздничного застолья!

Ему позарез необходимо поговорить с Иваном Ивановичем. Не о Великом этом соборе, не о царской фамилии — прах ее возьми!..

Надо было выведать у Ивана Ивановича поподробнее о Пушкине, условиться о возможной — чем черт не шутит — поездке в Михайловское…

16

Минут на пять задержались в кабинете; разговор скомканный, клочковатый. Потом постояли в коридоре, и на лестнице у лампы, в нижних сенях.

Бегали слуги с плоскими блюдами, посудой, дымящимися супницами. Бестужев и Пущин жались к сторонке — не облили бы.

Завершили во дворе, у черного хода (Пущин кутает подбородок в воротник полушубка, Александр с непокрытой головой, шинель внакидку; случайный паренек — видать, с рынка — послан за извозчиком).

Не так бы, не в спешке бы обо всем. Пущин догадывался о сложности отношений Бестужева с Пушкиным, о дружестве с примесью скрытого соперничества, о совпадении литературных склонностей и о расхождениях.

Бестужев шарил по карманам; из-за вечных переодеваний не помнил, где свежее письмо от Пушкина, таскал с собой, чтобы показывать приятелям… Иван Иванович ничегошеньки о письме не слышал.

Как же, Пушкин писал о пользе новейших языков; из литераторов учатся лишь двое — Бестужев и Вяземский, остальные — разучиваются. Еще писал о романтизме, советовал Бестужеву засесть за роман. Насчет «планщика Рылеева» Бестужев умолчал.

— Расположение духа?

— Отличное. Весел, бодр.

— В час, когда писал к тебе, — уточнил Иван Иванович. Он не верил в постоянно веселого Пушкина.

Бестужев пустился рассуждать об очаровании одиночества; для поэта всего дороже тишина, отрешенность; он завидует собрату.

Завидует? Надо хлебнуть самому, тогда узнаешь, с чем это едят, чем закусывают. Почти год назад, в январе Пущин навестил Пушкина в Михайловской ссылке: дом не топлен, двор заметен снегом, сани увязли…

— Тебе, Александр Александрович, доводилось быть под надзором? Двойным надзором — местной власти и монастырской?

— Бог миловал.

(Этот разговор еще наверху, в сенях; из столовой голос Прасковьи Михайловны: где Иван Иванович? Саша? Пущин и Бестужев потихоньку сошли лестницей вниз, не обрывая темы. Из своей комнаты выскочил опоздавший к столу Павлик, хотел поразузнать у Пущина о гвардейской конной артиллерии. Но старший брат, не дав ему открыть рта, показал пальцем наверх — не мешкая, в столовую…)

Впервые Бестужев сообразил, как скудны его сведения о жизни Пушкина. С юга доходили слухи о неладах поэта с Воронцовым, об эксцентричных выходках. Вознамерься кто-либо судить о Бестужеве по его напечатанным пиесам, почтовым посланиям, по молве, сопровождавшей в Петербурге и в поездках, что бы получилось?

Но в жизни Бестужева наличествует тайна — общество, «управа». А у Пушкина?

— Его, однако ж, не возбраняется посещать? Ты ведь был, еще привез нам для «Полярной звезды» кусок из «Цыган».

Снимая с вешалки полушубок, Пущин обернулся.

— По пятам за мной к Пушкину пожаловал монах. Мы еще третьей бутылки клико не распечатали. Низенький, рыжеватый. Пушкин сразу поверх рукописи «Горя от ума» положил «Четьи-Минеи». Подошли под благословение отца-соглядатая. Ничего не оставалось, как faire bonne mine a mauvais jeu [20].

Помышляя о поездке в Михайловское, Бестужев не угадывал такого оборота; Ивана Ивановича вообще изумило подобное желание, высказанное именно сегодня. Как Бестужев воображает себе будущее? Завтра — успех, и, стало быть, конец пушкинской ссылке. Неуспех — какие тогда визиты, гости?!

Не у одного Бестужева мысли шли двумя колеями. То все сходилось в точке переворота, то текло по наезженному:

строились зимние и летние планы, намечались свидания и путешествия.

Но, истолковывая желание Бестужева вскоре повидаться с Пушкиным как раздвоенность мыслей, Иван Иванович был прав только отчасти. Пушкин сам хотел этой встречи, напоминал в письмах. Бестужев о ней мечтал и — остерегался: вдруг обернется взаимным неудовольствием. Они сблизились в эпистолярных посланиях, без личного общения.

Иван Иванович — фигура идеальная для подобного render-vows: доброжелателен, уважаем. В нем, кажется, нет пороха, избыток которого в Пушкине и Бестужеве.

Иван Иванович воздерживался от упреков в утрате здравомыслия. Не смел кинуть камень, помня о собственной оплошности.

Услышав о кончине царя Александра, Пущин из Москвы написал в Михайловское, приглашая Пушкина в Петербург. Среди суматохи и неразберихи восшествия на престол нового государя будет не до опального поэта. Пушкин, стосковавшийся по столичному воздуху, глотнет его полной грудью. Чтобы не мозолить глаза полиции, остановится у Рылеева — дом не светский, деловой.

Рассчитав как нельзя лучше, все объяснив Пушкину, Иван Иванович отправился в столицу и удостоверился в своей опрометчивости. Приехав в Петербург, поселившись у Синего моста, Пушкин попадал в полымя, в главный очаг заговора. С его африканским темпераментом, гневом, накипевшим за лета ссылки…

Каждый день Пущин молил небеса: не заявился бы Пушкин!

С полушубком в руках Иван Иванович покаялся Бестужеву в опасном промахе.

— Почему — опасном? — изумился Бестужев. Он вообразил себе их встречу в доме Российско-американской компании, ночь в дворовом флигеле. Наконец-то они вдоволь, досыта наговорятся!

— Ты его мало любишь, — укоризненно покачал головой Пущин. — Не видишь, что есть для России его гений.

Бестужев не оправдывался, не объяснял, как любит Пушкина.

Пушкин велик, но — человек; людям свойственно заблуждаться. Иной раз поэт сознается в собственной неправоте, попытках покривить душой. В мартовском письме, зазывая в Михайловское, готовясь к встрече, поднимал будущего гостя на головокружительные высоты, предрекал первенство у нас и свою цену в Европе — за подлинный талант, новизну предметов, красок etc.

Бестужев показывал это письмо только Рылееву; последняя

дружелюбно-шутливая фраза не для посторонних глаз. Пушкин просил Бестужева подумать на досуге о своем назначении, да опасался: «…тебе хочется в ротмистра!»

Любовь Жанно к Пушкину давняя, испытанная. Иван Иванович с порога отринет всякую критику касательно Пушкина. (Не обязательно бы отринул; в былые годы нередко порицал Пушкина, доходило до размолвок, они, однако, не делались общим достоянием, не омрачали дружбу. Неверное, но вполне естественное допущение Бестужева рассеялось бы при полном обмене мыслями. Но где теперь затевать такой обмен? Время наступало на пятки…)

Когда Пущин в январе собирался в Михайловское и оповестил об этом Рылеева, издатели «Полярной звезды» в уме не держали нарушить укромность братского свидания. Сейчас — совсем иные дни. Где быть барду, как не в колоннах ратников свободы?!

Бестужев надеялся: Пушкин, автор вольнолюбивых стихов, ходивших по рукам, воочию увидит неуместность своего Онегина, отринет его ради героя, достойного новой зари, встающей над Россией…

Их переписка велась с вечной оглядкой на чужие пальцы, лезущие в конверт, с уверенностью, что адресат умнее цензора, поймет недосказанности. Когда Пушкин в том же мартовском послании писал, что у него в «Онегине» сатиры нет, читать это надлежало так: сатира содержится в других пиесах. Когда уверял: коснись он сатиры, затрещала бы набережная, предполагалась набережная Невы, дворец.

Время туманных недомолвок, считал Бестужев, кончалось. Наступала пора полного выяснения. Потому и рвался в Михайловское, потому возликовал, услышав о вероятности прибытия Пушкина. Он догадывался, что Иван Иванович с ним не согласится. После радостной вспышки и сам заколебался — где разумнее завтра было бы находиться «первому консулу»: на Петровской площади? В Михайловском?

От них теперь ничего не зависело: будет так, как будет.

По темной лестнице из полуподвала, нащупывая ногой ступеньки, опасливо поднимался Евдоким с огромной фаянсовой миской.

Прервав неловкое молчание, Бестужев, как в детские годы, когда забегал к Евдокиму на кухню, спросил, что на первое.

Повар поставил миску на столик у зеркала, вытер рукавом потную лысину. Он несет похлебку из рябцев с пармезаном и каштанами, такую похлебку подавали Потемкину…

Дождавшись ухода Евдокима, Бестужев высказал Пущину свои соображения о перевороте.

Если постигнет неудача, на Россию опустятся долгие сумерки, они затмят, загасят любой поэтический дар. Каково-то будет Пушкину вдали от места, где решается судьба отчизны и народа, «нас православных»?

Тогда Пущин сказал то, что Бестужев давно надеялся узнать: Александр Пушкин — не член тайного общества, ему не обязательно подвергать себя опасности, выйдя на площадь. Какие бы времена ни грянули, гений Пушкина воссияет в веках.

Иван Иванович сунул руки в рукава полушубка, Бестужев накинул шинель Михаила, висевшую ближе других. (Михайловы панталоны, черт бы их побрал, резали в паху, жали в поясе.)

Вышли в темный двор, обогнули дом. На улице было светлее от слабых фонарей, от лавок, еще не погасивших окна. Рынок закрывался; воскресная торговля кончалась рано.

Колокола Андрея Первозванного не стихали. Благовест плыл над Васильевским островом, из распахнутых настежь церковных дверей лился свет на грязный осевший снег, на мостовую.

Иван Иванович не собирался посвящать Бестужева в свои отношения с Пушкиным, в переговоры и мысли о вовлечении поэта в общество. В глазах Пущина Бестужев немало терял, пытаясь вовлечь Вяземского в заговор, употребив кавалерийский наскок без достаточной разведки. Лучше зная Петра Андреевича, заинтересованный в большем влиянии московской «управы», Пущин воздержался от подобного шага. Есть люди, близкие обществу, однако не расположенные ко вступлению в него, есть и такие, чье вступление дает внешние выгоды, но чревато дурными последствиями.

Пушкин слишком ему дорог, чтобы допустить поточность. Хватит оплошности с приглашением в Петербург. К счастью, пока что поэт не внял письму.

Высвободив подбородок из мехового воротника, Пущин нехотя произнес:

— Он о многом оповещен. Но неучастие Пушкина в заговоре — в интересах общества и в интересах его самого, — остановился и после паузы завершил с судейской торжественностью: — В интересах России…

Бестужев почитал Пущина, подавшего в отставку после грубого замечания Рыжего Мишки (темляк на сабле повязан не по форме). Лицеист, гвардеец, сын сенатора добивался должности квартального надзирателя; уступив родне, согласился на жалкое судейское место.

Бестужев вряд ли совершил бы такое. В отставку — еще туда-сюда, но квартальным либо надворным судьей… Как это Пушкин на удалении схватил — «тебе хочется в ротмистра!..».

Бестужев дал медяк пареньку, подогнавшему извозчичьи дрожки. Пущин втянул голову, над воротником высилась круглая шляпа. Поеживаясь на ветру, Бестужев проводил дрожки до перекрестка. Подождал, пока они скрылись, и повернул к дому.

Сзади послышался конский топот. Карета не успела остановиться — из нее выскочил Рылеев.

— Спасибо. Ты меня ждал…

Бестужев тщетно пытался разглядеть его лицо; они стояли в тени кареты. Рылеев был не в себе, без умолку говорил, размашисто жестикулируя.

— В дом, к столу, — позвал Бестужев.

— Не сразу… Вели покормить кучера, целый день на козлах.

— Где ты ездил?

— Давай пройдемся… Я люблю этот храм.

Он увлек Бестужева к церкви, не замечая, что спутник без шапки, шинель на плечах. Он ничего, похоже, не замечал.

Прихваченный морозцем снег крошился под сапогами.

— Сколь многосложно все и мучительно. Тебе Николай рассказывал?..

— Что-то случилось?

— Все время на земле что-то случается. Не случается только в небесах, на далеких планетах. Как это обыкновенно: нас не станет, не мы, другие будут идти по зимней улице Васильевского острова…

— Ты прав, Кондратий, это — обыкновенное. На него сегодня жалко тратить рассудок.

Рылеев живо обернулся, бескровное лицо с впадинами горячих глаз замерло под уличным фонарем.

— Обыкновенное оборачивается необыкновенным, когда подступает вплотную. Если нынче наш последний день…

— Главное в другом, — отмахнулся Бестужев, — победителями или поверженными мы умрем.

— Небу, звездам это безразлично.

— Небезразлично людям, которые будут ходить по петербургским улицам. Кем мы останемся в их памяти? — это только что пришло на ум Бестужеву, и он был обольщен мыслью.

Человек вогнал Неву в гранитные берега, и человек грозит сотрясти гранитные набережные. Люди возвели град, одолев болота, топи, глухие дебри. Во имя чего? В ответе — смысл каждой жизни. Им, заговорщикам, под силу ответить на извечный вопрос бытия.

Рылеев слушал, не спеша согласиться и не возражая.

В церковь они не вошли. Остановились у дверей, вдыхая запахи ладана и тающего воска, прислушиваясь к мощному хору.

Наконец Рылеев заметил, что у Бестужева не покрыта голова.

— Нам надо поговорить, Александр.

— Надо отобедать.

Во всех делах по изданию «Полярной звезды» соблюдался паритет. Но в том, что касалось до общества, первое слово — Рылееву. Чем дальше, однако, тем теснее сплетались литературные полемики и заговорщицкие. Как установить, где равенство, а где чье-то главенство, тем более что возникало оно само собой и само собой сходило на нет. Эти колебания не нарушали дружбы. Не нарушала их и властность Бестужева в иные минуты.

Наступала такая минута.

— Хватит. Домой.

Рылеев повиновался с безропотностью дитяти. Его издергали сегодняшние поездки, уговоры; подкосила новость, услышанная на квартире Оболенского. Николай по каким-то своим расчетам или из-за недостатка времени, вопреки настоянию Рылеева, не сообщил ее Александру. Значит, и это выпадет на его долю.

Нечто отдаленное, похожее он однажды пытался утаить от Бестужева, и получилась ссора…

Нынешняя весть, в отличие от былого эпизода, лишена интимности. Но лучше уж интимность, удар по одному нежели по всем.

— Выслушай меня.

— С отверстой душой, Кондратий, но не на улице. Нас ждут…

— Ты прав. Озяб небось без шляпы. Пойдем.

Бестужев ввел его в дом, помог снять тяжелую енотовую шубу. Освободившись от нее, Рылеев выглядел тщедушным. Он посмотрел на себя в зеркало с тонко змеившейся трещинкой и осуждающе покачал головой. Однако уже совладал с собой: вихрем взбежит по лестнице, улыбаясь, войдет в столовую, будет беззаботно и остроумно парировать выпады, найдется, отвечая на справедливые упреки дражайшей Прасковьи Михайловны.

Бестужев крикнул в людскую, чтобы хорошенько накормили кучера господина Рылеева, засыпали овса его лошадям.

И — вверх по лестнице вдогонку за Кондратием. Мишелевы брюки трещали в коленях.

17

Он догнал Кондратия на верхней ступеньке. Одернул мундир, подтянул треклятые панталоны.

Никаких, даже ласковых упреков. Их овеяло теплом и особым

радушием, которое возникает только в праздник и только между людьми, связанными родством и сердечностью. Если кто-то припозднился, не сразу устроился за столом, слуга вовремя не наполнил тарелку, надо быстрее присоединить опоздавшего к общему оживлению.

Прасковья Михайловна сожалела об отсутствии Батенькова, отъезде Пущина и одновременно успокаивала себя: сегодняшнему кругу и надлежит быть узким, в нем — лишь прочно и давно знакомые, при ком младшие дочери избавятся от скованности.

Рылеева и Александра Бестужева встретили возгласами сострадания. Они не отведали супа-пармезана, такой суп подавали во времена Александра Федосеевича, лишь в самые торжественные дни. Им не досталось лакомых закусок…

Оглушенные, они замерли в дверях. Гостиная преобразилась. Новые настенные лампы; Прасковья Михайловна заменила штофные шторы более светлыми, с желтыми цветами. Стол сиял хрусталем, расписным фарфором, начищенной бронзой.

Покуда опоздавшие усаживались (Рылеев между Еленой и Петром, Бестужев рядом с матерью, по правую руку — Оленька), покуда обсуждалось, как накормить их супом (не осталось ли в фаянсовой миске? холодный? можно подогреть…), Прасковья Михайловна загадочно улыбалась: нечего сказать, подогретый пармезан с каштанами! Когда все выговорились, когда Константин Петрович — он как гулял по дому с Машенькой и Олей, так и сел между ними — осторожно заметил: пострадавшие восполнят потерю двойной дозой десерта (Павлик подхватил: «И десерта a discretion[21], за что удостоился осуждающего взгляда Николая — как смеет при матушке пользоваться французскими выражениями), Прасковья Михайловна с той же улыбкой Джоконды растолковала детям и гостям: редкий обед или ужин обходятся без опоздавших, потому хозяйка должна… Она дернула шнур, в сенях зазвенел колокольчик, блеснула полированная лысина Евдокима, внесшего небольшую супницу. Супница вызвала рукоплескания, Прасковья Михайловна глядела победительницей.

— Нарушили беседу? — Александр оглядывал сидевших за столом.

Нисколько не нарушили, их ждали, строили догадки о причинах задержки.

— Никогда бы не нашли причину, — он смаковал суп; любил изысканные блюда.

Стал выдумывать, как Кондратий Федорович засовывал его в Мишелевы панталоны. Когда бы не он, неизвестно, в каком виде появился бы к столу.

Рылеев подхватил: у Мишеля осиная талия, у Александра — он поискал глазами предмет, дающий представление о талии Александра, — с эту супницу.

Рассказ велся на грани дозволенного, мужские брюки — не самая уместная тема за столом. Но Прасковья Михайловна, дочь нарвской окраины, ханжой но была, в отчем доме и не такое говаривали.

— Александр! — взмолился Рылеев. — Будешь уписывать за обе щеки, что станется с брюками!

В дверях снова вырос Евдоким, теперь в сопровождении стриженного под горшок Федьки. Они несли перемену. И в круглой фарфоровой миске квашеную капусту для Александра Александровича.

На блюдах — карп в желтом соусе, кулебяки и любимая Александром — с грибами. Вид и запах вызывали такой аппетит, как если б все давно постились, маковой росинки с утра во рту не было.

Прасковья Михайловна милостиво кивнула повару, — кивок означал благодарность, отчасти — сообщничество. Блюда родились после длительного совета на кухне, где взвешивались вкусы каждого и обеденная панорама в целом.

Такой обед поглощают неспешно, сопровождая разговором — умеренно серьезным, допускающим смех, но не хохот.

А их снедало нетерпение, усилием воли они сдерживали себя. Рылеев с укоризной обернулся к Николаю. Тот полувиновато развел руками: не сумел, не счел нужным. Рылеев сгорбился на стуле. Но тут же выпрямился. Только не смог заставить себя улыбнуться шутке Павлика.

Самый младший из братьев о чем-то слышал, догадывался. Это «что-то» было расплывчато и не настолько серьезно, чтобы помешать ему от души радоваться обеду, сестрам и братьям, маменьке, таким почтенным гостям, как Торсон и Рылеев. Он любил всех, желал каждого обнять, излить сердечную приязнь.

С затаенной грустью Александр следил за младшим братом, который через сутки, может статься, будет единственным мужчиной в их семье. Если такое суждено, сегодняшний обед — последняя встреча, и на этой встрече они лицедействуют, изображая беззаботность, лгут самым близким.

Как не актерствовали, входя в игру и забывая, что это — игра, как ни сдерживали себя, тайное рвалось наружу. Но не в истинном своем обличий — в чужом.

Насчет одежды разговор завел Николай. И неспроста. Кондратий хотел завтра стать в ряды с походной сумой через плечо и ружьем в руках.

«Во фраке?» — изумился еще прежде Николаи, услышав о задуманном маскараде.

— В русском кафтане, сродниться с солдатом и селянином.

Николай нашел сначала лишь одно возражение: эдакое переоблачение скорее вызовет удар прикладом, нежели сочувствие, нижним чинам чужды тонкости патриотизма, время национальной гвардии еще не настало.

За столом он умолчал о прикладе, о площади. Но мысль: «одежда сближает с народом» — дозволительно обсудить за воскресным столом.

С неизменной вдумчивостью Николай рассуждает о русской одежде, ее красоте, удобстве. Мужская часть общества поддерживает его: красива, удобна не в пример фракам с дурацкими хвостами-фалдами.

Женщины настроены скептически.

— Я и маменька должны одеваться по-крестьянски? — недоумевает Елена.

— Нешто плохо, что моды идут из Франции? — обращается Машенька к соседу, Константину Петровичу. — Так повелось издавна.

Торсон не уверен, что всякий обычай хорош. Однако не ему судить о дамских модах; красивой женщине любой наряд к лицу.

— Ты, батюшка, комплиментщик, — вставляет Прасковья Михайловна. — Простая одежда хороша для простой работы. В свете надо сообразоваться с модой.

Павлик заявляет, что мода — обезьянничанье, обычай — то же самое. Каждый волен избирать себе наряд сам.

Торсон, подумав, заговорил о преимуществах для всякого народа своей, а не заемной моды, своей одежды, своих названий. Почему в России для всех чинов заведены иностранные наименования? Это увеличивает промежуток между народом и теми, кто наверху. Такие опасения, спешит добавить Константин Петрович, одолевают не только его, но и многих думающих русских людей. Он хотел назвать Грибоедова, Кюхельбекера, однако воздержался.

— А мне по душе лапти, — дурачится Павлик, — лапти и камзол.

Рылеев поучающе вставляет: одежда отражает национальный дух, политические устремления.

— Политика? — всплескивает розовыми ладошками Машенька.

После того как паши полки вступили в Париж, напоминает Рылеев, французы стали одеваться a la ruse — в казацкие штаны; завели моду на меха.

— Это подражание наружное, временное, — Николай не собирается отходить. — Я не против русских нарядов. Но не им сблизить нас с народом. Барин, обрядившийся мужиком, все равно — барин…

Прасковья Михайловна довольна: предмет увлекает всех, дочери поспевают за мужчинами. Только Саша молчит. На пего иногда такое накатывает: все охвачены спором, он безмолвствует; все успокоились, он взыграет. Сыновья — горой один за другого, но сойдутся — полемикам нет конца, однако ссоры редки.

Обед идет своим чередом, разговоры — своим.

Мишель промокает салфеткой топкие усики, подкручивает их: не одежде надо учиться у просвещенных народов — брать политический опыт. Например, Карно и маркиз Лафайет…

Александр запальчиво перебил брата:

— В Директории Баррас крикнул Карио: «С твоих рук капает кровь!..»

Воцарилась тишина, деликатно нарушенная Торсопом: лучше не ссылаться на Барраса, он — отъявленный карьерист, человек без правил; государственные перевороты вздымают на гребень великих деятелей, но выплывает и всяческая дрянь, вожделеющая власти и денег; необходимы строгие законы, мораль.

— В Древнем Риме говорили: законы слабы без нравов, — Рылеев со значением поддержал Торсона. — Мораль необходима не только после переворота, но и ранее него. Иначе переворот не получится либо даст дурные плоды. Баррас, Карио…

Прасковья Михайловна попыталась свернуть разговор в более доступное ей русло. Похвалила ученость Константина Петровича, который повидал мир; плавал на фрегатах, брал участие в баталиях.

Торсон смутился, как красна девица, — какой из него повествователь, вот Николай Александрович и рассказать и написать мастак. По обыкновению, Торсон выдвигал вперед друга. Бестужев-старший отвечал ему тем же. Им доставало постоянства нескончаемо вести это состязание, восхищая Прасковью Михайловну.

Заметив матушкину улыбку, Николай рассмеялся и дольше обычного тянул незатейливую перепалку с Торсоном, но у того были веские доводы: несколько лет назад вышли Николаевы «Записки о Голландии 1815 года», очерк «О нынешней истории и нынешнем состоянии Южной Америки», в «Полярной звезде» печатались путевые письма, их находили образцовыми по слогу, живости (кое-кто ставил в пример Александру Бестужеву: ясно, красочно, лапидарно, без блесток и мишуры; Александр поддакивал, хвалил брата, но писал на свой салтык…).

Прасковья Михайловна тоже одобряла сочинения Николаши; «Записки о Голландии», как и номера «Полярной звезды», держала на ночном столике, но кто бы поручился, что она их читала…

Николай Бестужев вспомнил случай, Торсон — другой, третий снова рассказал Николай. Не все вошло в зависки и путевые письма, но и то, что вошло, сегодня поворачивалось особенной гранью, видимой лишь мужчинам, сидящим за столом.

— Доктор канонического права Франсиа… — обернувшись к матушке, Николай пояснил: — Это в далеком Парагвае… Тем для меня высок, что, отличаясь от Карно, снискал уважение сограждан честностью и бескорыстием, учредил подлинную республику. Не так ли, Константин?

— Доктор Франсиа учен, нравственен, и ему впрямь сопутствовал успех в истребовании законного порядка. Но история коварна, она нередко дарует победы тем, кто норовит кинуть народ в лютые объятия средневековья, обрекая на гибель лучших сынов.

— Ты о Риего?

— О благородных гишпанцах.

Николай — свидетель расправы над восставшими испанцами — описал кровавую сцену. О ней-то сейчас и вспомнил Рылеев:

— У тебя есть кусок… Приговоренный к расстрелу сперва не желает завязывать глаза, но узрев генерала, хватает платок, чтобы не видеть жалкого предателя.

— Несчастный был казнен после слов: «Не хочу осквернять последних минут моей жизни видом человека, предавшего отечество и пришедшего любоваться кровью сограждан».

Слова расстрелянного Бестужев повторил с подъемом, заставив всех оторваться от тарелок.

— Как имя негодяя? — вскинулся Рылеев.

— О'Доннель, генерал О'Доннель.

Неужто у всякой революции есть побочное дитя — предатель?

Чем-то насторожил Александра этот диалог брата с Рылеевым. Выскочив из кареты, Кондратий говорил про нависшую над ними гибель. Такое бывало и прежде. Но обычно он подавлял обреченность. Сегодня тоже как будто подавил, но не до конца. Вдруг заговорил о предателях. Что должен был сообщить Александру Николай? Александр видел: они обменялись взглядами. Рылеев недоволен.

Обед затягивался, день давно сменился снежным вечером. Оплывшие огарки вынули из шандалов, сняли подтеки воска, вставили новые свечи, в лампы подлили масла. Потом расстелили свежую скатерть. Из соседней комнаты, служившей буфетной,

посуду снесли вниз.

Наступал черед десерта — сбитых сливок с бисквитами, шоколадного крема, бланманже и прочих желе всех цветов радуги. Зеркало, висевшее в простенке между окнами, отражало такое великолепие, что, несмотря на полное, казалось бы, насыщение, пальцы сами тянулись к чайным ложечкам.

Прасковья Михайловна следила — не пропустил ли кто-нибудь лакомства. «Пуншевое желе, Константин Петрович, испробуй, скажи — каково», «Тебе, Сашенька, лимонное будет по вкусу»…

Десерт помог-таки ей одолеть политику со всеми этими мудреными заморскими именами. Потом, прежде чем сервируют чай, мужчины вернутся к табаку и своей политике. Они на ней истинно помешались. Спасибо, великого князя Николая Павловича не трогают; ему завтра присягнут полки.

Насчет присяги ей рассказала Елена, побывав на Андреевском рынке. Где-где, а на рынке известны любые государственные секреты. Елена не станет понапрасну чесать языком, но все приметит, услышит и дома, походя, имеете с покупками передаст матушке. Наперсниц у нее нет, но она, Прасковья Михайловна, не хуже задушевной подруги; кавалеров не видать, зато братья — чуть что: Лиошенька, Лиошенька…

Тем временем внесли серебряное корытце с битым льдом, из него торчат влажные бутылки клико.

Пробочные залпы шампанского; с мелодичным звоном ударяются бокалы, пена, шипя, капает на скатерть.

Дурашливо покачиваясь, Михаил декламирует:

Налейте мне шампанского стакан,

Я сердцем славянин, желудком галломан!..

— Несчастный наш Ахилл!.. Ахилл, ах, хил!..[22]

— Хватит прозы! Средь нас два пиита. Стихи, стихи!.. Александр Бестужев тверд — читать он не будет. Не хочет, нет у него строф, подобающих этому обеду. Нет, нет, нет. Он полирует ногти, упрямо крутит вихрастой головой.

Встает Рылеев; кулаки уперты в стол, глаза прикованы к пустому бокалу.

Начнет «Исповедь Наливайки», уверен Бестужев, но зачем сейчас: «Известно мне: погибель ждет того, кто первый восстает…»? Страшить матушку? Елена сообразит, сердце подскажет… Может, ему все мерещится, игра угрюмого воображения.

Рылеев начинает глуховато, хрипло. («Не надо бы ему ледяного клико».)

Я не хочу любви твоей,

Я не могу ее присвоить…

Откашливается, прикрыв рот согнутой в горстку ладонью, наклонив голову.

Полна душа твоя всегда

Одних прекрасных ощущений,

Ты бурных чувств моих чужда,

Чужда моих суровых мнений,

Прощаешь ты врагам своим,

Я не знаком с сим чувством нежным,

И оскорбителям моим

Плачу отмщеньем неизбежным»

Украдкой глянув на Николая, Александр замечает на живом лице брата с трудом скрываемое недоумение.

Лишь временно кажусь я слаб,

Движеньями души владею

Не христианин и не раб,

Прощать обид я не умею.

Набычившись, Рылеев поначалу не видел соседей. Сейчас голова вскинута, и он по-прежнему один в пустой зале.

Любовь никак нейдет на ум:

Увы моя отчизна страждет,

Душа в волненьи тяжких дум

Теперь одной свободы жаждет.

Все хлопают в ладоши; раскупоривается новая бутылка…

Александра обескуражили стихи Рылеева. Написать и не открыть ему! О ком стихотворение?

О пей.

Потому и растерян Николай, не спешит с бокалом.

Рылеев безразлично чокается, нехотя улыбается; бледен, лоб в испарине. Успевает все же глянуть на Александра. Взоры скрещиваются. «Так-то», — упрямо твердит Рылеев. «Как?» — смятенно вопрошает Бестужев.

Это ради него, Александра, читал Кондратий, вел дебаты последних дней: христианского всепрощения пусть не ждут, месть оскорбителям!

Но первые строки — отказ от любви к той, чья душа полна «одних прекрасных ощущений»! Долг перед обществом? Перед семьей? Тогда — зачем читал? Сегодня, в день встреч и неожиданностей, еще надобно вникать в мучительную для них историю. Рылеев готовит Бестужева. Долго еще будет длиться это пиршество?

Прасковье Михайловне стихотворение понравилось. Она тоже считала: женское сердце не чета мужскому — нежно, отходчиво. Мужскому быть каменно твердым, не спускать обид. Но какой из Кондратия Федоровича воитель? Он рожден для писательства, ну, еще для канцелярии, судейского кресла. Во всякой должности надлежит любить отечество. Только не в ущерб любви к законной жене.

Супруге Рылеева несладко жить на белом свете: потеряла сынишку, сама болезненная, сил не хватает дом вести, муж в сочинительских вымыслах. Оно конечно: вымыслы — одно, жизнь — совсем иное. Саша куда бы ни воспарил, — услышит голос матушки и — покорный сын. Но жене его, пожалуй, достанется. Коль отменный семьянин Рылеев толкует супруге: не нужна мне твоя любовь, — Саша такое понапишет, — будущая жена босиком в лес убежит…

— Простите великодушно, — обращается Прасковья Михайловна к сидящим за столом. — Тесновато у пас, погулять негде, дыму негде напустить. Вы здесь как-нибудь вокруг. Либо в буфетную. А там и чай готов, кто пожелает — кофе.

Все благодарят, двигают стулья, мятые салфетки летят на стол. Мужчины направляются в тесную буфетную, курить.

Николай удерживает за локоть Рылеева;

— Заклинаю тебя, при Павлике…

Кондратий досадливо морщится. До чего все неразумно. Этот дом — второй его дом, семья Бестужевых — вторая его семья. Но он первую не видел с утра. Вечером совещание, Настенька будет спать, Наталье никакого херувимского терпения не хватит для такой жизни… Но жизнь эта накануне великого свершения. Все обновится. Все.

Теперь его берет за локоть Александр.

— Ты хотел со мной уединиться, — не вопрос, утверждение. — Я и сам стремлюсь, но видишь… Дурные вести?

— Я полагаю их скверными, Николай — совсем скверными. Чем больше думаю, тем сильнее сближаюсь с ним.

Возвращаются сестры, приводившие себя в порядок: волосы поправлены, свежий аромат духов вливается в табачный дым.

Торсон покорно предлагает руку двум младшим. В разговоре участвует и Елена, наблюдая при том, как вносит пышущий жаром самовар — сквозь решетку внизу светятся угли, как в столовой появляются торты, сахарные и миндальные крендельки, пирожные, облитые белой, шоколадной и розовой глазурью, бисквиты и — гордость Прасковьи Михайловны — вафли трех сортов.

Такого братья не помнят с детства. Маменька в ударе, расстаралась.

Николай обеспокоен: надвигается долгое чаепитие. Как поспеть к Любе?

Павлик и Петр, перемигнувшись, собираются по мальчишеской еще традиции попросить у матушки гостинцев на дорожку. Петр возьмет, а насчет дорожки…

Николаев план стал очевиден, прежде чем старший брат посвятил в него младшего: отправить Петра в Кронштадт, уберечь от завтрашнего дела. Причина вполне уместная — сопровождать Любовь Ивановну. Что ж, с великим удовольствием, с полнейшим почтением. Любовь Ивановну он довезет до крыльца. Но, довезя, поступит по-своему.

В семье Петр слывет увальнем; какой с увальня спрос? Только пускай шустрые братья не дивятся, узрев его завтра на площади.

У Рылеева рябит в глазах от изобилия сладостей; без упрека, но не без сожаления он думает, что его Наталья не горазда на такую изобретательность, такой размах; ей обременительны постоянные гости, она устала от вечного стука дверей, не остывающей тревоги… Хорошо, что он прочитал стихи, целиком

груз с души не снял, но какую-то долю. Александр почувствовал, внутренне готовится к трудному известию. Меж ними бывало: вместо долгих объяснений — стихи. Однако от разговора никуда не деться.

Александр не опомнится после стихов. Скорей приступить к чаепитию и скорей с ним покончить. Третий час тянется обед!..

Сестры — младшие и старшая — в восторге. Как чудесно — шампанское, стихи, кухены. Маменька сулила — будут свои дни приемов: гости, молодые люди, фанты, шарады…

Константин Петрович обозревает все, словно в бинокль. Радостные лица милых дурнушек, горделивая Прасковья Михайловна, ребяческое легкомыслие младших братьев и суровая озабоченность старших, душевное смятение Рылеева. Что-то несет им всем грядущий день…

У него третьи сутки болит нога, раненная под Либавой. В память об этом — Анна 3-го класса, серебряная медаль на голубой ленте и боль в непогоду. Нога отозвалась на декабрьскую оттепель, спасу нет, но он не жалуется, оставляет дома трость. Его круглое мягкое лицо светится добротой, в ясных голубых глазах терпение.

Выходя из буфетной, Торсон, стараясь не припадать на ногу, нагоняет Александра и Рылеева:

— Ничего, друзья, бог не выдаст, свинья не съест.

— Свинья пошла прожорливая, — отшучивается Александр.

18

С детских лет привычен отдыхать после обеда. С книжкой — и на диван под пушистый полосатый плед. Книга падает, мальчик спит блаженным сном, мать укрывает ему плечи.

Во взрослые годы не всегда выкроишь послеобеденный часок, никто уже не поправит плед. Но, даже дежуря у герцога Вюртомбергского, Бестужев умудрялся улетучиться средь бела дня; вскоре снова на месте; свежий, со складкой от подушки на розовой щеке.

Сегодня встал задолго до рассвета и — безостановочное верчение колесом, потом обильный обед, шампанское. Теперь — чаепитие… Крепкий — до черноты — чай не развеял дрему.

Потихоньку оставил столовую. Опрометью вниз, чуть не сбив Федьку с очередным подносом. К себе в комнату. Сбрасывает сапоги, швыряет на стул мундир, расстегивает ремень на панталонах. И долго летит в блаженный мрак, отрадную пропасть. На самом ее дне чьи-то голоса. Сейчас он соберется,

узнает говорящих.

— Диво да и только, завалился спать!

— Привычка, намаялся…

— Какие привычки!.. Кто не намаялся! Он и завтра с площади отправится почивать.

— Не отправится…

Еще не открыв глаза, Александр улыбнулся: Николай защищает его. В темной комнате никто но видит этой улыбки.

Он по-утреннему бодр, деятелен. Чиркает спичкой; пламя свечи колышет тени. Надевает сапоги, застегивает адъютантский мундир, пряжку на тесных панталонах.

— Зря ты меня, Кондратий.

— Прости, я не в себе.

Николай садится к брату, Рылеев — на стул, освободившийся после того, как Александр взял мундир.

— Рок какой-то, на мне печать, — подавленно цедит Рылеев. Он не вполне здоров после воспаления горла, целый день в разъездах, из теплых покоев на улицу, споры до хрипоты, ледяное шампанское. Тогда едва не накаркал беды, сегодня с дурными новостями.

Николай не согласен. Тогда Рылеев угодил в ловушку, но нашел в себе силы, вырвался. Нынче и вовсе но в чем упрекнуть.

— Нужен виноватый? Изволь — наша доверчивость. Происшествие с Ростовцевым не на твоей совести. Ты лишь оповестил о нем.

— В стародавние времена гонцу с дурными вестями рубили голову.

Николай подходит к Кондратию.

— Мы не станем следовать варварским обычаям. Мы любим твою голову, твой дар, твою верность идеалам.

Зачем столько пышных слов? — мелькнуло у Александра. Не ему бы, правда, удивляться, он сам охотник клеймить и восхвалять и не ставит запруд своему красноречию.

Николаю ниспослано редкое умение поддержать попавшего в беду, его положительность действует целитель но на смятенную душу. Тогда Рылеев ринулся к нему, не к Александру, с которым всегда делил печали и радости…

Александр Бестужев пригладил растрепавшиеся но сне волосы, поправил усы, сжал ладонями голову. Он не выносил дурных воспоминаний. Но куда от них денешься? Куда денешься от несчастного беспомощного профиля Кондратия, реденьких взлохмаченных бакенбард, близорукого прищура?

Рылеев сидит, понурившись, вполоборота; судья, чувствующий себя подсудимым; сильный, ощутивший свою

слабость.

Теперь это скорее воспоминание о былой слабости. Но тогда…

* * *

Тогда Рылеев страстно увлекся красавицей Теофанией Станиславовной и тщетно пытался унять сердечный порыв. Тем более что зарождался он еще в бытность Рылеева на службе в санкт-петербургской уголовной палате, а молодая полька из Киева взывала о помощи в судебной тяжбе. Каково влюбленному вершить правосудие? Сцепив зубы, он боролся с собой, терзался ночами, когда сон бежал его глаз.

Но обольстительная Теофания и сама утратила душевное равновесие. Ловит взор Рылеева, упивается его стихами. Он похвалил книгу, — назавтра она у нее на столике; он негодует, — она заражена его праведным гневом; он восхищается, — она вместе с ним, отзываясь на каждую улыбку, — воспламеняясь от свидания к свиданию.

Рылеев сменил уголовную палату на Российско-американскую компанию. Но:

…Я увлечен своей судьбою,

Я сам к погибели бегу:

Боюся встретиться с тобою,

А не встречаться не могу.

Досужий свет злоязычен, неутолима жажда сунуть нос в чужой альков. Катоин становится притчей во языцех. Доброхоты во все посвятили Наталью Михайловну.

Александр Бестужев жалел Кондратия, сострадал Наталье Михайловне, но держался в стороне. Обида на Рылеева родилась позже.

Как раскрылась тайна Теофании Станиславовны, Бестужев не ведает поныне. Подозревает: не без содействия Гаврилы Степановича Батенькова.

В один прекрасный день было установлено: красавица полька, очаровавшая Рылеева, — шпионка, подосланная Аракчеевым, который узнал себя во «Временщике» (да и как не узнать)…

Сразу поверил Рылеев удручающим известиям? полностью

ли? Судя по сегодняшнему стихотворению, все совершалось негладко. Стоило Рылееву, сбросив наваждение, всмотреться в Теофанию, и почудилась фальшь, ненатуральность любовного волнения. Но, быть может, он глядел предвзято?

Рылеев избрал поверенным Николая Бестужева. Только после тягостного решения расстаться с Теофанией Станиславовной, позвал в советчики и Александра. Братья высказались единодушно: разрыв будет ошибкой, ярость отвергнутой женщины опасна и для Рылеева и для его друзей. Брошенная красавица такого наплетет… Кондратий вяло оборонялся: он не посвящал возлюбленную в тайны общества.

Сообща обдумали тактику. Рылеев будет морочить польке голову, все более отдаляясь от нее.

Тем временем Александр Бестужев отдалился от Рылеева. Кондратий доверился Николаю прежде, чем ему, своему соратнику, второму «я». Бестужев съехал из дома у Синего моста, поселился на даче у Булгарина, настрочил Рылееву обиженное письмо.

Но вскоре уразумел: бывают происшествия, когда все-го труднее исповедоваться именно своему alter ego[23]. Спокойная рассудительность Николая в тот час пришлась более кстати.

Отшумело все это, отболело, отхлынуло. Так думалось Бестужеву. Но сегодня вдруг вытолкнуто на поверхность.

Николай силится успокоить Рылеева: никакой связи между тем и этим нет, Кондратий возводит на себя напраслину.

Рылеев, как заведенный: виноват, моя доверчивость заразила остальных, словно повальная болезнь…

Все это начинает Александру надоедать. Пора к делу. Его корят за пять минут сна («Хорошенькие пять ми-пут!» — замечает Рылеев), а сами тратят часы бог весть на что.

— Рассказывай, Кондратий, Саша прав: мы не дорожим временем.

Александр вытащил из-под себя согнутую ногу, встал и больше не садился. Четыре шага по комнате — остановка. Снова шаги. Нависал над спинкой стула, где сидел Кондратий, подходил спереди. Николай, точно изваяние, застыл, откинувшись на софе.

Рылеев повествовал ветвисто, с отклонениями, Александр дорожил подробностями, и деланное заикание (Рылеев копировал Якова Ростовцева) способствовало полноте его впечатлений.

Сперва его ошеломил факт, сообщенный Рылеевым, потом — все, что ему предшествовало. Вечный интерес к сюжету. Но пахло сейчас совсем не литературой, и, отбросив интригу, думать надлежало о последствиях, к каким вела измена Якова

Ивановича.

Друг князя Оболенского, поручик лейб-гвардии Егерского полка, сочинитель Ростовцев с заговорщиками сблизился недавно. С недавних же времен печатал трагедии в патриотическом духе. Он вообще — недавний: двадцати двух лет от роду, менее года — адъютант в дежурстве штаба Гвардейского корпуса. Состоящего в той же должности Оболенского пленила его любовь к отечеству, пылкость. И не настораживала увертливость, благоволение к нему великого князя Николая Павловича. (Рылеева несколько настораживало, он держался на дистанции, переводя политические споры в литературные, но различие в мнениях и человеческие слабости полагал натуральными, не противился вероятному вступлению Ростовцева и общество: шутка ли — два адъютанта в штабе Гвардейского корпуса под командованием генерала Вистрома в противуправительственном заговоре!)

Александр Бестужев виделся с Ростовцевым редко, сочинения его ставил не высоко, в своих обзорах не замечал. Самолюбивый Ростовцев таил обиду, но улыбался при встречах радушно, только заикался сильнее обычного. Приветливость, как и «гуттаперчивость», составляли черты Якова Ивановича. Собираясь вступить в общество, он строил планы повергнуть оное к ногам государя и возродить как надежный оплот отечества, содействовать императору в искоренении зла, кое-где водящегося на Руси.

Наивный, доверчивый Евгений Петрович Оболенский бывал и хитроват. Хитрость не государственного размаха, но обиходная, житейская. Вправе ли, однако, начальник штаба переворота вверяться чутью? Он не вверялся, и все же получилось так, что наиболее опасные темы затрагивались в отсутствие Ростовцева.

12 декабря перед обедом Ростовцев зашел к Оболенскому (они квартировали в доме, занимаемом Бистромом) и опешил, застав там Рылеева и человек двадцать гвардейских офицеров. Такого многолюдья ему заставать но доводилось; его сторонились, или ему показалось, будто сторонятся. Хотелось уйти, хотелось остаться…

* * *

— Какое он сделал на тебя впечатление? — Александр остановился перед Рылеевым.

— Никакого. Вскоре нас покинул, и я только теперь составляю картину.

Вполне вероятно, что Ростовцева обуревали разноречивые чувства, но поступил он вполне определенно.

Отобедав и сотворив молитву, написал письмо Николаю Павловичу, в половину девятого пополудни примчался во дворец, настоял на высочайшей аудиенции, вручил послание, удостоился всемилостивейших объятий, поцелуев в лоб, в глаза и в губы.

— Хоть бы в… — взвился Александр Бестужев. — Это от него известно? Каялся?

— Нисколько.

— Где донос?

— Я бы избегал слова «донос»…

— Назови «элегией», «одой», «патриотической трагедией», в каких еще жанрах он сочинительствовал!

— У меня копия.

Рылеев полез во внутренний карман. Достал пачку смявшихся бумаг. Близоруко сортируя их, отобрал нужные.

— Читай.

Бестужев склонился у конторки, воздавая должное четкому почерку Ростовцева. Покуда читал, Николай и Рылеев молчали. Николай внешне ничем не обнаруживал подавленности, Рылеев же опустил голову, закрыл глаза.

Прежде чем вернуть листки Кондратию, Александр Бестужев снова скользнул по ним глазами.

— Более дюжины знаков восклицания. Когда я сочинял шутейную «Историю знаков препинания», у меня не было подобного образца… Слог каков? «Я увлекся личною привязанностью к вам». Не трагедии писать бы, а комедии. Во «Взгляде на русскую словесность в конце 1825 года» воздам по заслугам.

— Надо дожить до конца двадцать пятого года, — тихо сказал Рылеев.

— И то верно. И-а-к-о-в Иванович торопит наш финал. В талантах я ему отказываю, но не в коварстве. Лесть хитрая, с остережением… Он и нас побаивается. Дал копию… Благороден на двух сценах разом. Перед императором и перед нами. Ты поручишься, Кондратий, что копия отвечает оригиналу? Слову И-а-к-о-в-а цена — полушка. В письме отсутствуют имена. Но мог назвать в беседе.

Рылеев подтвердил: мог…

О завтрашней присяге его известил Краснокутский, с тем он и помчался к Оболенскому. Вскоре в кабинет Оболенского вошел Ростовцев. С копией письма и заверениями в преданности.

— Вы его заключили в объятия, — недобро усмехнулся Александр Бестужев. — Как же, независимость мысли, рыцарь с

открытым забралом.

Все обстояло примерно так, чего таиться, были объятия. Дабы скрыть растерянность, сбить Ростовцева с толку: ты благороден, жертвовал собой… Еще тогда Рылеев подумал о «двух сценах».

Николай Бестужев, узнав от Рылеева о письме Ростовцева, отрубил: служит богу и сатане, нам раскрывает объятия, а царю — заговор. Он не верил в подлинность копии, не верил, что Ростовцев скрыл имена членов общества.

Теперь Николай испытывал удовлетворение: брат думал так же и тем усиливал решимость Рылеева действовать безотлагательно. Известны государю имена, неизвестны — это второстепенное. Ему известно: есть заговор! Потому и торопит Сенат, поспешает с присягой. Нам тоже не резон раскачиваться. Письмо надлежит скрыть от остальных сочленов, не отвлекать, не стращать доносом Ростовцева.

Рылеев соглашался с Николаем Бестужевым. Он не хотел утаить письмо от Александра, помня историю с Теофанией Станиславовной.

Почему великий князь Николай, почти сутки храня письмо Ростовцева, пальцем не шевельнул, чтобы арестовать заговорщиков?

Несподручно новому императору начинать царствование арестом доблестных офицеров, известных литераторов, кои ничего явного против него не совершили. Умыслов, намерений недостаточно. Эдаким началом расположения не снискать. И без того на великого князя глядят косо…

Имеется и второй ряд соображений. Верность присяге, данной Константину, и нежелание присягать Николаю — тактическая линия заговорщиков. Эти настроения существуют и в войске, тайная полиция оповестила о них Николая Павловича. Трагикомедия междуцарствия еще не завершилась, арест людей, хотевших остаться верными первой присяге, будет выглядеть дурно и по отношению к Константину. Ну, как он все-таки даст себя уговорить и примет корону…

Рылеев умолк. Александр видел: сказано не все, Кондратий что-то еще оставил.

Мысль, о которой догадывался Бестужев, многократно посещала Рылеева, он взвешивал все pro et contra; мысль ожила поутру, укрепилась после доноса Ростовцева.

Нюхом борзой, взявшей звериный след, Ростовцев учуял: междуцарствие грозит кровью, смутой, внутренней войной.

— Ростовцев верно взвесил обстоятельства, — бесцветным голосом продолжал Рылеев.

— Большого ума не требуется, — огрызнулся Александр. Он

отказывал Ростовцеву в каких-либо положительных качествах, иуде не дано обладать ими.

— Император оповещен, схватить его будет трудно. Не схватим — откроется междоусобная война. Надо принесть его в жертву. Надо!

С Кондратием Федоровичем так бывало: начинал расслабленно, сворачивал туда, сюда, но постепенно копилась уверенность, и его заключающее «надо!» звучало приказом. Уже не растерянность — вдохновенная властность проступала на бледном лице, упрямый огонь в очах.

— Обмануть Ростовцева, — начал Александр Бестужев тему, которую он любил, несмотря на безразличие к ней многих. — Мы на войне, без хитростей не обойтись… Введем в заблуждение Ростовцева, через него — Николая Павловича.

Старший брат заерзал на софе. Военной хитростью и вправду пренебрегали напрасно; Сашу только расшевели, толкни, он покатится, покатится, знай, поспевай ловить новые его идеи. Славно замыслено: через Оболенского внушить Ростовцеву, что он раскрыл заговорщикам глава, они увидели свою безрассудность, отрекаются от пагубных намерений, хвала Ростовцеву, хвала Иаковууу!

— Яшке Искариоту, Яшке-заике, — увлеченно сыпал Александр.

Они вновь воспряли. Рылеев обнимает младшего Бестужева, старший заключает в объятия обоих.

Николай прежде всех вернулся к тревогам дня. Хорошо бы использовать доносчика в своих целях. Но времени в обрез. Николай Павлович обойдет на круге. Почувствовав свою силу, арестует их на площади.

— Что советуешь? — вскидывается Александр.

Николай отвечает с отчаянием человека, бросающегося в полынью:

— Лучше быть взятыми на площади, нежели в постели! И лучше пусть все узнают, за что мы погибнем, нежели станут удивляться, когда исчезнем тайком, по одиночке…

Его перебивая, подхватывает Рылеев:

— Мы начнем. Принесем собою жертву для будущей свободы отечества!

— Почему — жертву? — восстает Александр. — Пускай жертвы приносят недруги!.. Запрут выходы из казарм — будем пробиваться штыками. Зря крови не прольем, а начальников, кои станут препятствовать, испугаем оружием, в самой крайности — выстрелами!..

Солдаты, он убежден, поддержат общество; достаточно

пустить слух, что отречение Константипа незаконно, а в Сенате спрятано духовное завещание покойного императора, где срок службы сокращен на десять лет…

Кончил на высокой ноте:

— Ляжем на месте. Или понудим Сенат подписать конституцию.

«Ляжем на месте» — невольная уступка Рылееву; «понудим Сенат» — собственная надежда и опять же поддержка Рылеева; да упрочится его вера: мы успеем, одолеем.

— Ты славно объяснил про военную хитрость, — Николай торопит конец беседы, — не медля, употреби ее. Мы спешим, Константин Петрович отправится с нами. В доме останутся одни женщины. Повремени уходить. Побудь с сестрами, матушкой. Я вернусь почевать, Мишель тоже. Ну, понимаешь…

Как всегда, Николай глядел дальше брата: впереди ночь, может статься, для них последняя. Не вовсе, так в материнском доме…

Ладно, Александр задержится, побудет со своими.

Куда ему спешить? Николаю не терпится к Любови Ивановне. Если эта ночь последняя для них всех, то и его встреча со Степовой — последняя… Мишель умчался к своей Анете, дочери адмирала Михайловского.

Александра Бестужева — радоваться? горевать? — никто не ждет в этот вечерний час. Никому, кроме матушки и сестер, он не нужен…

Близится час переворота, и неумолимо множатся осложнения. Как было в заике Ростовцеве угадать доносчика? Как провести черту между несогласиями, естественными среди думающих сочленов, и воззрением, толкающим к измене? Мораль дозволяет спор, но отвергает низменный поступок. Однако Ростовцев свободен от угрызений совести.

Пределы дозволенного. Поздно об этом думать…

Никогда не поздно. Он все скажет в совещании у Рылеева, заставит себя выслушать. Не потерять ни одного ключа к будущему торжеству правды.

…Этим вечером в домах вдоль невских берегов собираются члены Северного общества. Князь Евгений Оболенский с офицерами-гвардейцами. Штабс-капитан Ренин с однополчанами-финляндцами. Михаил Пущин, младший брат Ивана Ивановича, приуготовляет конно-пионерный эскадрон. Полковник Булатов, после встречи у Трубецкого, надо полагать, занят в лейб-гренадерском полку, который выведет на площадь поручик Александр Сутгоф…

Полки, полки… Не зря Батеньков расспрашивал о войсках и

штыках. Гаврила Степанович небось с Краснокутским убеждают графа Сперанского. Барон Штейнгель колдует над проектом манифеста, нижет бисерные буковки…

Удачи всем вам, собратья мои!

Но сразу за благостным умилением — тревога: все врозь, каждый сам по себе; кучки, группки, компании.

Сила в том наша? Слабость? Где сила переходит в слабость? Слабость становится силой? Не упустить момент, когда растопыренную пятерню надо сжать в железный кулак.

Он открывает дверь из своей комнаты, его охватывает застывшая тишина.

Час назад дом шумел, полнился говором, выстрелами винных пробок, торопливой беготней. Теперь на лестнице мерцает лампа, вторая — в нижних сенях. Из людской доносятся неразличимые голоса. Крепко досталось нынче всем — и матушке, и прислуге.

Однако обед — что бы там ни было — удался на славу.

19

На крыльце черного хода мышиный шорох. Кто-то топчется, ищет ручку, дергает дверь. Стук сперва вкрадчив, осторожен. Потом все резче, настырнее. Так и весь дом недолго поднять на ноги…

Не зря его раздражал Андреевский рынок. От жуликов, бродяг и нищих нет проходу, досаждают окрестным жителям, тащат, что плохо лежит.

Однако злодей, наглый воришка в дверь не стучится. Вдруг да… И качнулся пол.

Судили-рядили, почему Николай Павлович медлит арестовывать заговорщиков, придумывали ему логику, тактику. А у него — своя логика, своя тактика, своя полиция, жандармы, помощники наподобие Ростовцева. Отдал приказ и — тюремная карета непрошеной гостьей подкатывает к крыльцу…

Александр Бестужев на цыпочках приблизился к черному ходу, отодвинул щеколду. Широкая дверь не открывалась. Стук возобновился.

— Подождите вы!

Кроме щеколды где-то крючок. Не дом — крепость. Крепость на проволочной загогулине.

Он распахнул дверь в кромешную темень двора.

Засыпанный снегом мужчина бочком ступил в сени, снял шляпу.

— Не обессудьте, Александр Александрович… Незваный

гость. Ночное вторжение…

Сумбурная скороговорочка, с трудом перебьешь. Кому угодно не удивился бы, но Каховский?

— До ночи далеко. Рад вас видеть.

— Озяб. Давненько толкусь подле вашей двери. Ждал, покамест Рылеев отбудет.

Он освобождал окоченевшие пальцы от больших, подбитых мехом перчаток, стряхивал снег с пелерины, обивал тяжелые сапоги. Эти сапоги и перчатки, казалось, шились для человека рослого, с мощным телосложением. Но Каховский невзрачен; щупл; рот маленький, на вздернутой верхней губе тонким стручком усики.

«Выискался режисид»[24],— усмехался Рылеев после какой-нибудь стычки с Каховским. У них вечно сперва ссоры, обиды, потом примирения, объятия.

Бестужев защищал Каховского: мал золотник, да дорог, верен заговору, чист в помыслах. Не слишком симпатизировал Петру Григорьевичу, но сострадал. Видел достоинства, известные, впрочем, и Рылееву. Рылеева достоинства Петра Григорьевича занимали применительно к делу, потому и выводили его из себя вспышки необузданности, амбиция Каховского. Он и сам был подвержен вспышкам, самого порой охватывала горячка: довольно, дескать, фраз, пора, друзья… Трезвея, рассудительно прикидывал, когда пора, кому.

Каховский с людьми сходился трудно, был обременителен для них и для себя.

С Бестужевым его отношения складывались ровнее, чем с другими. Без сердечной близости — для нее Каховский слишком замкнут — и без постоянных споров. Каховскому нравилась легкость Бестужева в общении, не подозревал в нем и намерения чужими руками таскать каштаны из огня.

Слушая речи о русской истории в набитом людьми кабинете Рылеева, Каховский гневно обрушился как-то на Петра Первого: убил в отечестве все национальное, удушил слабую нашу свободу. Екатерина Вторая мудрее…

— Святые слова, — на лету подхватил Бестужев, — чего хочет женщина, того хочет бог.

Каховский признателен союзнику — скорее остроумному, чем серьезному.

— Бог почему-то всегда хотел здоровых, красивых мужчин, — добавил Бестужев.

Защищая Каховского, Бестужев любил пересказывать эпизод из его детских лет.

В 1812 году, когда французы вступили в Москву и

университетский пансион, где учился четырнадцатилетний Каховский, разбежался, в доме поселились наполеоновские офицеры. Вместе с ними мальчик ходил на добычу. Как-то среди трофеев взяли несколько склянок варенья. Каховский неосторожно сунул палец в узкое горлышко и не мог вытащить. Французы потешались, спрашивали, как он поступит. «А вот как!» И мальчик стукнул склянкой о голову одного из насмешников. Это так ошарашило французов, что они ограничились тумаками и выгнали его вон.

— На подобное отважится лишь храбрец с пеленок, — шутливо завершал Бестужев.

Сколько в этой истории истинного, сколько выдуманного, оставалось решать слушателям.

Каховскому тоже хотелось иногда пошутить, но не умел, был на людях сумрачен, застенчив.

Давнее происшествие Бестужев переиначивал, уже не склянку с вареньем, а бутылку шампанского бил малолетний Брут о галльскую голову, не бутылку — полдюжины.

Петр Григорьевич улыбался побасенкам. Возразил лишь однажды. Против морали, какую Бестужев ни с того ни с сего извлек из этого эпизода. Он уверял, что ранний подвиг Каховского совершен во имя российского государства.

— Господа, почтеннейший Александр Александрович ошибочно толкует пружины отроческого поступка, — опроверг Каховский.

Взбодренные клико, сотрапезники шумели в зале ресторации «Лондон», их не занимали «пружины», которые норовил объяснить Каховский. Но не на того напали.

Встав из-за стола, Петр Григорьевич с каменной миной ждал, пока возобладает тишина. А потом прочел лекцию о разнице между понятиями «отечество» и «государство». Русским лишь недавно даровано право писать и произносить слово «отечество», Павел заменил его «государством» и отправил в крепость полковника Тарасова, упомянувшего в письме императору запрещенное «отечество». Для блага отечества должно жертвовать всем, не только жизнью, Каховский принес бы на алтарь и отца своего…

Бокалы недвижны, сигары замерли на полпути ко рту. Все внимают Каховскому. Настороженнее всех — Бестужев. Он и впрямь обмишулился, брякнув про государство, — русскому сердцу многое говорит именно слово «отечество»…

Все внимательно слушают Каховского. Окрыленный, он летит от отечества к нации, народу, кровью своей избавлявшему Европу от Наполеона.

— Где же, кого, однако, спасли мы, кому принесли пользу? За что кровь наша упитала поля Европы? Может быть, мы принесли благо самовластию, но не народу.

В тот день Бестужев заново узнал Каховского. Ожесточившийся отшельник не уступал многим столичным витиям.

Они гуляли по вечернему Петербургу, Бестужев внимал Каховскому, имевшему собственный взгляд не только на историю России, но и на европейские катаклизмы, на следствия наполеоновских войн, на метаморфозу Александра («Некоторое время император Александр казался народам Европы их благодетелем; но действия открыли намерения, и очарование исчезло! Сняты золотые цени, увитые лаврами, и тяжкие, ржавые железные цепи давят человечество»).

Потом о запретных книгах, о шпионстве…

Умеет думать и обдуманно парировать, дивился Бестужев. Это умение он почитал редким даром. Если Каховский им обладает, справедлив ли Рылеев, взирающий на него только как на исполнителя, удел коего осуществить приказ и — сгинуть?

Девиз «выполни и прими свой жребий» чем-то коробил Бестужева. Слегка коробил: исполнитель сам вызывался, отстаивал свое право на эту роль.

В видах заговора Рылеев поощрял соревновательство между будущими исполнителями, удерживал одного, подталкивал второго, сохраняя за собой привилегию конечного решения. Когда сверх меры кипятился Якубович, Рылеев поучающе наводил перст на Каховского: скромно ждет своего часа. Бунтовал Каховский: доколе медлить, филантропствовать, уходить от неминуемого кровопролития? — Рылеев давал понять, что имеются и такие, кто являет терпение, не требуя назвать громкие имена состоящих в обществе. Укоризна с оттенком угрозы — но смиришься, пеняй на себя.

Смирение давалось Каховскому трудно. На рылеевскую угрозу он отвечал своей: пойдет и откроется полиции.

— Подставишь собственную голову и головы прочих членов, — перебивал Рылеев, — их семьи.

Загнанный в угол, Каховский шел на попятный, клялся в верности, послушании. Однако союз его с Рылеевым грозил разорваться в любую минуту.

Во время долгого осеннего гуляния по аллеям Летнего сада — вечерние сумерки сменились ночной тьмой, там и тут прореженной фонарями, — Бестужев хотел упрочить этот союз и выказал новое расположение к Каховскому:

— Ты воистину сверкал красноречием и обходился без шуток.

Он был выше Каховского, шагал широко, махал руками. В своих грубых сапогах, поношенной шинели коротконогий Петр Григорьевич едва за ним поспевал, и это подстегивало его вечную обидчивость.

— Какие шутки?

Жалея о сорвавшемся с языка, Бестужев выкручивался. Он понимает, что Каховский шутил, грозя выдать заговор, но кто-то возьмет за правду.

Разговор обретал нежелательный наклон. Однако Каховский, видя в Бестужеве союзника, разоткровенничался.

Не открывая ему всех планов, Рылеев ведет речь об истреблении царствующей фамилии на новогоднем маскараде в Зимнем дворце, доверяет Каховскому осуществить убийство.

— Не откажусь погибнуть ради отечества…

Петр Григорьевич мерз, жиденькая шинель не спасала на сыром ветру.

Бестужев согласился: между принесением в жертву собственной жизни и собственной чести — разница. О том говорил и Рылееву, чей замысел — беречь незапятнанную репутацию общества.

— Как надеется ее соблюсти? — обогнав Бестужева, Каховский остановил его. — Можно ли смыть подтеки крови?

Тому, кто умертвит царскую фамилию, дадут все средства бежать из России.

— Если попадется? — маленький Каховский все еще стоял на пути рослого Бестужева.

— Должен показать, что не причастен к обществу.

Он видел противоречие, но не видел, как его избежать. Устранить царскую семью легче, чем нравственные последствия этого.

Петр Григорьевич уловил зыбкость аргументов, снова накинулся на Рылеева. Готов жертвовать жалкой своей жизнью ради общества и отечества, но ступенькой для умников не ляжет, увольте…

Наутро Каховский сделал новый демарш Рылееву, тот применил безотказный метод: сказал, что обманулся в чистоте помыслов Петра Григорьевича. Не желает стать жертвой — найдутся более достойные. Вечером Рылеев попенял Бестужеву за болтливость.

Каховский утвердился в добром чувстве к Бестужеву — искренен, не алчет для себя выгод. После памятного променада по Летнему саду он поверял Бестужеву свои многообразные беды. Еще в лейб-гвардии Егерском полку из юнкеров разжаловали в рядовые, перевели в армию; и позже, вплоть до отставки, не

однажды подвергали штрафам, наказаниям за шалости и проступки, сходившие другим с рук. Неумолимо преследовали его и любовные поражения.

Бестужев выслушивал горемыку смиреннее, чем ему было свойственно…

Однако этим воскресным вечером, глядя, как Каховский разоблачается, поднявшись на цыпочки, вешает шляпу, Бестужев огорченно ждал совершенно липших излияний, которые — никуда не деться — обрушатся на него.

— У нас, Петр Григорьевич, в углу дрова свалены.

Они были между собой на «ты» и на «вы». «Петр Григорьевич» — «вы», «любезный Каховский» — «ты».

Дрова Каховскому не помешали, но неловко задетая кочерга с грохотом упала на пол. Он нагнулся за ней, толкнул сапогом поленья…

В комнате Бестужев подвинул ему стул, на котором только что сидел Рылеев. Сам, как обыкновенно, устроился на софе в любимой позе и стал ждать.

Каховский мялся, молчал, потом достал трубку, закурил от свечи. Стиснул мундштук мелкими зубами, красные ладони зажал в коленях. Воинственно оттопырил верхнюю губу.

Не обедал, заподозрил Бестужев, бог весть, сколько времени сторожил подле дома. Но так запросто не спросишь. С Каховским надо держаться начеку — мнителен, обидчив. Тем паче, что порой голодает, бывает в крайности из-за пустой кисы [25].

Сюртук мундирный по моде, добротного английского сукна в искру. Только шит в долг, под ручательство Рылеева. При этом шикарном сюртуке грубые сапоги выдают нищету хозяина; не по карману рысак, даже извозчик. Кондратий без просьб ссужает его деньгами. Но и от сердца идущая щедрость настораживает Каховского…

Подгонять Каховского — напрасный труд. Начнет, когда захочет, о чем сочтет нужным. Прошлый раз исповедовался в несчастной любви к Софье Салтыковой. Роман завязался еще в Смоленской губернии. Балованная дочь из аристократической семьи жеманно выслушивала восторженного поручика в отставке. Петр Каховский чем-то напоминал ей героев сентиментальных книжек, был беден. Как раз это менее всего нравилось папеньке. Он распорядился: чему не бывать, тому не быть.

Салтыковы перебрались в Петербург, в дом Гассо на углу Литейного и Бассейной. Каховский, застегнув потрепанную шинельку, маячил у ворот, посылал через слуг письма и получал обратно нераспечатанными.

Бестужеву встречалась на балах курносенькая Софья

Салтыкова, ее неприступность он полагал сокрушимой, и папенька никуда не денется — благословит драгоценную дщерь на брак с Каховским.

Петр Григорьевич гневно отверг такие способы, од был выше…

Чем я буду ему полезен? — спрашивал себя Бестужев, тягостно предвидя новую исповедь. Вся подготовка, поза Каховского обещали длинный монолог. Но он отчего-то не начинался.

— Александр Александрович, может, сыщется что-либо съестное? — Каховский окончательно потерялся. — Простите грешного, с утра…

— Что вы, голубчик, это мне стыдно. Не предложить гостю…

Он засуетился, соображая, чем, где накормить Каховского.

В сенях было пусто, на кухне среди тазов с грязной посудой и остатками обеда сонной мухой двигался стриженный под горшок малец.

— Тебя как звать?

— Федькой.

— Надобно, Федор, гостя попотчевать. Хорошенько… Евдоким где?

— Снят Евдоким Петрович. Умаялись.

— Выходит, тебе заботиться. Подашь ко мне в комнату.

Федька расстарался: паштет, холодная говядина, кулебяка, сладкий нирог. Пообещал чаю. Только как обедать за конторкой?

Водрузили между двух стульев поднос, подвинули к софе, где и уселся Каховский.

Ел он медленно, заставляя себя быть неторопливым.

— Покамест вы из-за меня на кухне хлопотали, я поглядел книги, в одной листок заложен. Строки карандашом обведены. Позвольте прочитаю? Из ваших старых пиес. «Замок Вендеп». Спасибо, напомнили.

— Не стоит благодарности и труда. Я вам без книжки скажу: «Ненавижу в Серрате злодея; но могу ли вовсе отказать в сострадании несчастному, увлеченному духом варварского времени, силою овладевшего им отчаяния?..»

Каховский водил пальцем по странице и удовлетворенно вслушивался в текст.

— Все свои сочинения держите в памяти, Александр Александрович?

Бестужев уличенно молчал и обрадовался, когда Федька просунул в дверь белобрысую голову — забирать посуду.

Однако Каховский не унимался. Федька взял поднос, ногой закрыл за собою дверь, и Петр Григорьевич, снова раскурив

трубку, продолжил нечто смахивающее на допрос: Серрат истребил деспота, тирана и — злодей! Почему это обведено карандашом? заложено бумажкой? когда было обведено? когда бумажка вложена?

Бестужев оправдывался: повесть ранняя, написана почти четыре года тому назад.

— Нынче по-иному завершили бы?

Всякое сочинение, разглагольствовал Бестужев, мечено днем писания, смысл не в последних фразах, а в идее, что ведется от первых строк к финалу…

Все правда, и всему недостает убедительности. Тогда он повернул в сторону. Литературу не должно смешивать с жизнью, с политикой, по прецедентам судят только в Англии…

Каховский не сбивал, учтиво слушал. Сидели рядышком на софе, томик лежал на стуле, раскрытый на злосчастной странице.

— Цареубийца, следовательно, злодей? — Каховский отбросил литературные материи. До них ли?

Бестужев захлопнул книжку, встал, положил на конторку.

— Труден мне твой вопрос, любезный Каховский.

— Не ради легкого нанес визит…

Он сторожил у подъезда, пришел незваным потому лишь, что — к другу, единственному, быть может, в огромном чужом городе.

Бестужев не чувствовал себя другом Каховского, хоть и жалел его. Не имел наготове ответа.

Мысль о цареубийстве мелькала сегодня многажды. В голове, в беседах, поворачиваясь так и эдак, ее пробовали на зубок, угадывали всевозможные следствия — практические и моральные. Однако, когда надо прямо отвечать, практическую выгоду не обособишь от морали. На ответе настаивает человек, который по своей воле и воле общества обнажает цареубийственный кинжал. Ради блага отчизны, ее свободы, ее будущего.

Жизнью рискуют все, — он рискует честью. Голову на плаху — имя под клеймо.

Куда бы ни качнулась потом история, его оставят одного, меченного печатью отвержения. Его всего вернее ждут позор и палач…

* * *

Перед сном Прасковья Михайловна по-хозяйски обошла дом, спустилась вниз, в людскую. Она видела полоску света под

дверью, слышала сдавленные голоса. Порадовалась: у сына — гость, и не где-то в далекой квартире, а в родном гнезде на Васильевском. Осядет здесь Александр, осядет. Он слишком любит братьев, сестер, да и ее, чтобы предпочесть их дом чужому.

Ей хотелось зайти к сыну, посмотреть, как потчует гостя. Но не в капоте же и ночном чепце.

Она поднялась к себе, растроганно поглядела на образ. Легла. Косточки ломило от дневной беготни, но душу наполняли умиротворение, покой. Что отраднее, чем свершить задуманное, вымечтанное? Крепок сон, счастливы сновидения, когда удается такое.

* * *

Напрасно Бестужев опасался атак Каховского; все обошлось миром. Петр Григорьевич просил сохранить разговор в тайне; в тогдашнюю их беседу Бестужев посвятил Рылеева и — каков результат? Недоразумении, обиды.

Сейчас на счету минуты, всего дороже взаимное согласие.

Постепенно достигали его, вспоминая все, что было говорено за время междуцарствия касательно смертоубийственного акта, который взялся совершить Каховский, к которому стремился Якубович.

На первом месте, само собой, практические цели, но и нравственность не на последнем.

Два обстоятельства облегчали бестужевские рассуждения: чистота Рылеева и бескорыстие, смелость Каховского.

Ничего странного в том, что Рылеев менял воззрения, нет, менялось все вокруг, менялась пропорция сил, каждый день дарил новостями. Рылеев не сторонник цареубийства. Но и противник не стойкий. Хотел отправить царскую семью на фрегате. Где такой фрегат? Где верный экипаж? Как вывезти зимой?

Арестовать фамилию, дождаться вердикта Великого собора. Но враги не станут ждать. Пойдут на любое коварство, тайные интриги, контрреволюцию. Смерть императора их обезоружит, отведет угрозу междоусобной войны.

Это — всего главнее. Но отведет ли? обезвредит?..

Желательно решать головоломную задачу, не имея перед глазами человека, которому вручен кинжал цареубийцы. А он — рядом, в мундирном сюртуке, при черном галстуке, в тяжелых, наподобие солдатских, сапогах. Дымит трубкой на твоем диване. Входит в детали.

Планы цареубийства все еще изменяются. Неизменно одно — убийца ставит себя вне заговора и человеческого общества.

Не отрекались бы, сохраняли среди своих, пусть и не венчали лаврами, поделили тяжесть последствий, тогда — другой счет, нет предательства товарища, взявшегося за самое неблагодарное.

Многое далеко от ясности. Итоги террорного акта не поддаются угадыванию. А человек, которому надлежит его совершить, по праву желает полной уверенности: только лишь ради отечества он вонзит кинжал, не запятнав святого стяга вольности?

В вязком тумане противоречий обозначается вывод. Обозначается, меркнет. Но они одержимо устремлены к нему.

Ум хорошо, два — лучше. Того лучше — три, четыре. Но их нет, уже не будет.

Общество затравлено необходимостью торопиться, сюрпризами, вроде доноса Ростовцева, измены полковника Моллера. Под декабрьским снегом пылает земля.

— Ежели Кондратий Федорович будет по-прежнему, я с ним в спор не ввяжусь, — Каховский отгоняет дым, обернувшись к Бестужеву. — Но и делать не стану. Правильно?

Клещами Бестужев вытягивает из себя согласие. Но, дав его, испытывает облегчение. Словесный фейерверк взмывает к потолку. Он говорит, говорит, говорит.

Потом оценят их правоту, мудрость, дальновидность, верность заговору, грядущему дню России.

— Да, Петр Григорьевич, отечеству, именно отечеству»

Ему хочется заключить Каховского в объятия. Но тот не расположен обниматься.

— После совещания я к вам зайду… Александр Александрович, свидимся без… посторонних…

Мало ему теперешнего негласного сообщничества. Хочет нового одобрения после того, как Рылеев подтвердит свой приказ…

Бестужев все более одушевляется, он самозабвенно верит в собственную правоту, сейчас он убедил бы остальных, «посторонних».

В сенях, помогая Каховскому натянуть шинель, Бестужев повторяет, что ждет его нынче ночью у себя во флигеле.

Он испытывает удовлетворение, как и в ту минуту, когда осенило: полки выводить на Петровскую площадь, не на Дворцовую. Только адская усталость.

Заперев после Каховского дверь на щеколду, накинув крючок, он плетется в свою комнату. Изнеможенно падает на софу. Но никуда не проваливается. Мозг безостановочно работает.

Пределы дозволенного… Народ почтет истребление царской фамилии злодейством, и тайное общество уронит себя в его глазах… Режисид, не совершив убийства, останется праздным, не разделит опасности с товарищами… Рыцарские догматы… Одним не должно сохранять чистоту своих рук за счет других…

Всплывали все новые аргументы, он их сообщит Каховскому, непременно сообщит. Сделает достоянием заговорщиков. Рылеев уже не будет восстановлен против Каховского и признает их правоту. Не Каховский ответит, Бестужев.

Его тяготила отнюдь не неизвестность — страх перед кровью. Из крови родится кровь.

Но на сей счет он откровенничать не склонен, это — слабость, станут корить мальчишеством. У него достаточно и взрослых мотивов.

До вчерашнего дня замысел цареубийства обволакивала дымка романтики; мститель в черной маске картинно скрывает под плащом праведный кинжал.

Морозное солнце декабря разогнало дымку, слово в действие обретали плоть, их можно осязать, как он только что осязал сильную, шершавую руку, назначенную вершить расправу. Это меняло многое. Не только для Каховского, но и для Бестужева, избранного Каховским, дабы разделить с ним нравственную тяжесть цареубийства. Он отвергал груз, отвергал для них обоих, в честной уверенности, что снимает его с общества, открывает простор благим устремлениям, не замаранным ничьей кровью.

* * *

После ухода Каховского Бестужев быстро оделся и покинул дом. Он шел по утихшему к ночи городу, узкие панталоны напоминали о себе. Вокруг считанных фонарей Седьмой линии вилась желтая метель.

По ту сторону Невы набережная освещалась ярче. Он миновал тяжело темневшую громаду Сената, слившегося с Синодом. Слева, за изгородью, угадывался на вздыбленном коне Фальконетов Петр, еще левее — Адмиралтейство. Площадь завтрашнего действия, переворота, возрождающего Россию.

Петровская площадь, Нева, Васильевский остров — все осталось позади.

По Синему мосту через Мойку Бестужев спешит к дому Российско-американской торговой компании.

На первом этаже у Рылеева сквозь решетки пылают окна. За окнами двигаются фигуры-тени. Сейчас он войдет, сбросит

обсыпанную снежной крупой шинель. Станет одной из них.

Часть вторая

«…и все пятеро погибли в водовороте 14 декабря»

1

Неразличимо слились дни и ночи, он не мог припомнить, когда среди зловонного казематного мрака его озарила эта мысль. Вскоре, кажется, после того, как сняли железа, седой тюремщик бросил их в громоздкий грохочущий мешок и молча вышел. Вскоре. Но спустя сутки или неделю? Он принялся барабанить в отзывавшуюся металлическим гулом дверь. Седовласый надзиратель безучастно выслушал, кивнул и, не заставив себя ждать, вернулся с оловянной чернильницей, пером, стопкой пронумерован ной бумаги, предусмотрительно зажженным огарком. Еще не успел с тугим скрежетом запереться замок, Бестужев сидел за столиком и строчил.

Он забыл о стеклах, вымазанных белой краской, об окошке, схваченном ржавой решеткой, о кровати с тюфяком и скомканным бумажным одеялом, на которой сидел, склонясь к дощатому столику. Письмо на августейшее имя писалось с запалом, словно в лучшие часы сочинительства. Словно в тот предрассветный час у себя в милом сердцу флигеле, когда вольготно бежали строки. Только теперь без блесток, «бестужевских капель».

«Уверенный, что вы, государь, любите истину, я беру дерзновение изложить перед вами исторический ход свободомыслия в России и вообще многие понятия, составляющие нравственную и политическую часть предприятия 14 декабря, Я буду говорить с полной откровенностью, не скрывая худого, не смягчая даже выражений, ибо долг верноподданного есть говорить монарху правду без прикраски. Приступаю».

И приступил. Начав первыми годами царствования Александра, блестящими надеждами: *«…все говорили, что думали, и все по многому хорошему ждали еще лучшего».*

Ждали, да не дождались. Наполеон вторгся в Россию, *«и тогда-то народ русский впервые ощутил свою силу; тогда-то пробудилось во всех сердцах чувство независимости, сперва политической, а впоследствии и народной, Вот начало свободомыслия в России».*

(Император Николай, через сутки читавший послание

Бестужева, пробежал первую страницу без особого внимания. Чего ждать от этого щелкопера и франта, красовавшегося 14 декабря на Петровской площади в белых панталонах, размахивавшего шашкой впереди каре, одного из братьев-злодеев, самого, возможно, опасного, ибо язык остер, перо бойкое, тщеславие непомерное, замыслы сверхдерзкие. Он и сам увязывал «исторический ход свободомыслия» с либеральными посулами братца Александра и войной против Наполеона… Но далее, похоже, Бестужев-второй позволял себе более того, что дозволено человеку, коего ждет виселица. Или не догадывается о своей участи?)

Бестужев писал о ратниках, вернувшихся, одолев Наполеона. *«Мы проливали кровь, — говорили они, — а нас опять заставляют потеть на барщине. Мы избавили родину от тирана, а нас опять тиранят господа». Войска, от генералов до солдат, пришедши назад, только и толковали: «…как хорошо в чужих землях».*

Покуда говорили о всем том беспрепятственно, это расходилось на ветер, *«ибо ум, как порох, опасен только сжатый».* Еще ласкал луч надежды. Но вскоре угас, начались гонения. *«Люди, видевшие худое, или желавшие лучшего, от множества шпионов принуждены стали разговаривать скрытно — и вот начало тайных обществ».*

(В том только ли исток, мрачно улыбнулся Николаи. Наличествовали злонамеренные идеи, вынесенные с чужбины, и не одни лишь мечтавшие о лучшем соединялись в заговорщицкие общества. Он сам тоже желал лучшего, тоже сокрушался из-за непоследовательности коронованного старшего братца и мысленно укорял его. Но одно дело он, особа императорской фамилии, кому ниспослано истинное видение судеб российских, а другое — они, в своих суждениях идущие от низших классов, от невежественных работников. Не им судить о положении и грядущем отечества.)

Однако Бестужев-второй из своего каземата судил. О дурном устройстве дорог, обнищании губерний, злоупотреблении исправников и даже угнетении дворян. Назвав многие беды и перейдя к следующим, он счел, что сказано недостаточно. Но возвращаться не хотел и добавил внизу два примечания. *«О притеснениях земских чиновников можно написать книгу. Малейший распорядок свыше дает им повод к тысяче насилий и взяток…»* Еще о поведении русских дворян: *«Негры на плантациях счастливее многих помещичьих крестьян. Продавать в розницу семьи, похитить невинность, развратить жен крестьянских — считается ни во что и делается явно. Не говорю о барщине и оброках…»*

Прежде Бестужев не питал страсти к экономическим наукам. Но виденное в поездках, слышанное, пусть и краем уха, западало в сознание и сейчас в каземате с сырыми разводами на стенах, после прошлогоднего наводнения, выливалось стройным и последовательным изложением. Чем дальше, тем сильнее удивлявшим адресата.

С неожиданным знанием арестант писал о классах и сословиях — мещанах *(«класс почтенный и значительный во всех других государствах, у нас ничтожен, беден обременен повинностями, лишен средств к пропитанию…»),* о солдатах *(«роптали на истому учениями, чисткой, караулами»),* офицерах (роптали на *«скудость жалованья и непомерную строгость»),* а также о матросах… О всех с обстоятельностью, мотивами; картина складывалась горестная и тревожная.

«Словом, во всех уголках виделись недовольные лица) на улицах пожимали плечами, везде шептались — все говорили: к чему это приведет? Все элементы были в брожении. Одно лишь правительство беззаботно дремало над волканом, одни судебные места блаженствовали, ибо только для них Россия была обетованной землею. Лихоимство их взошло до неслыханной степени бесстыдства. Писаря заводили лошадей, повытчики покупали деревни, и только повышение цены взяток отличало высшие места, так что в столице под глазами блюстителей производился явный торг правосудием. Хорошо еще платить бы за дело, а то брали, водили и ничего не делали».

Бестужев впервые перевел дыхание. Не слишком ля он? Не зарвался ли? На минуту возобладало благоразумие.

«Вашему императорскому величеству, вероятно, известны теперь сии злоупотребления, но их скрыли от покойного императора».

(Он и не подозревал, насколько угадал в масть. Эта фраза надломила предубеждение императора. Они понимают, что он — не чета покойному брату. От его нацеленного глаза ничего не укроется. Не хуже их ему ведомы государственные несовершенства, но, в отличие от них, сумеет с ними управиться. Без липшей болтовни, без подлых посягательств.

В холодной душе императора шевельнулось что-то отдаленно напоминающее сочувствие. Нет, сочувствовать злоумышленникам он не мог, не желал единения с ними даже в малости. Но не хотел отказывать автору в некотором здравомыслии и зоркости. Чувство это пошло на убыль по мере дальнейшего чтения.)

Теперь Бестужев не мчал, закусив удила. Он не без хитрости выгораживал заговорщицкое общество. Искал ему оправдание в прошлом России и в затянувшемся междуцарствии (чем вызвал

новую злость Николая). Заверял в мирных намерениях и благих целях: *«Мы думали учредить Сенат из старейших и умнейших голов русских, в который надеялись привлечь всех важных людей нынешнего правления… Палату же представителей составить по выбору народа изо всех состояний».*

(Опять болтовня о Сенате, народном представительстве, болтовня, коей император сыт по горло. И все эти прожекты, касающиеся до просвещения, коммерции… Впрочем, насчет улучшения дорог, уменьшения армии, на треть всех платных чиновников, привлечения английского капитала, ограничения запретительной системы он и сам подумывал. Тем более что узник Никольской куртины, рассуждая о транзитной торговле, видел надобность в том, чтобы ее удерживали в русских руках, и вообще рисовал себя патриотом, советовал *«жить со всеми в мире, не мешаясь в чужие дела и не позволяя вступаться в свои, не слушать толков, не бояться угроз, ибо Россия самобытна и может обойтись на случай разрыва без пособия постороннего. В ней заключается целый мир…».*

Николай остановился, задумался. Задумчиво читал он и следующие два листка. Но вскоре вскипел. И было из-за чего. Тем паче, что дальше шло написанное водянистыми чернилами.)

Бестужев и не замечал, как пустела оловянная чернильница. Спохватился, но вызывать тюремщика не хотелось. Он нерасчетливо плеснул в чернильницу воды из железной кружки…

Выгораживая сообщников, менее всего пекся о собственной голове. *«…Если бы присоединился к нам Измайловский полк, я бы принял команду и решился на попытку атаки, которой в голове моей вертелся уже и план».* Далее — того хлеще: *«Признаюсь, я не раз говорил, что император Николай с его умом и суровостью будет деспотом, тем опаснейшим, что его проницательность грозит гонением всем умным и благонамеренным людям… что участь наша решена с минуты его восшествия, а потому нам все равно гибнуть сегодня или завтра».*

Тут бы и поставить точку. Но после минутного раздумья он дописал еще дюжину строк о собственном раскаянии, о надежде на императора, равного своими дарованиями Петру Великому, превосходящего Петра… Не скупясь на грубую лесть, отдававшую иронией.

(Немало вычитавший из этого письма Николай, хоть и чувствовал в нем приторное подобострастие, но иронии не замечал. Он уже успел привыкнуть к лести как к должному. И если узник принимал правила взаимоотношений с императором, это свидетельствовало в его пользу.

Николай Первый велел правителю дел Следственного

комитета Боровкову перебелить письмо штабс-капитана Бестужева-второго и копию оного вернуть императору.)

* * *

Автор же, завершив послание царю, продолжал макать свое размочаленное перо в водянистые чернила. Он уносился в безвестное, темное, глухое…

Все эти арестантские дни в мозгу пульсировала строчка; не сразу припомнил, да, из эпиграфа к одной из глав «Ревельского турнира»:

Но бьет минута пробужденья!

Бьет, бьет, бьет… Зарождались и гасли строфы.

И тайный подвиг роковой

Желал бы разделить с тобой…

Но пусть живые песнопенья

Иль темной летописи глас

Заронят в пепеле забвенья

Хоть искру памяти о нас…

И, смерть, по жизненным путям

Запороши мой след забвеньем!

Я не исчез в бездонной мгле…

Он не успевал заносить слова на бумагу. «Я не исчез…» «Не исчез…»

Мерцающие строфы, а не зловонный каземат с проржавевшей решеткой на окне и плесенью на стенах — реальность этой надмирной минуты.

Замок в дверях отомкнулся с металлическим скрипом. На пронумерованный листок со стихами седовласый надзиратель поставил миску гречневой каши-размазни.

Бестужев скомкал листок, бросил в грязное ведро, стоявшее в углу. Он сидел на тощем тюфяке, поджав под себя ногу, глядя в зарешеченное окно. В голове роились, множились, цеплялись друг за друга рифмы.

Когда вопросом «Быть иль нет?»

Вам заряжают пистолет.

2

Вступив на царство, Николай Павлович не изменил привычкам. Наоборот, они обрели новое значение. Склонности, даже капризы и слабости великого человека сообщают ему своеобразие, без коего не осесть прочно в людской памяти, в анналах. Александр Македонский въехал в историю на своем коне Буцефале, Наполеон шагнул в треуголке. Николай прославится как царь-аскет: в кабинете — постель с набитым сеном тюфячком, в супружеской опочивальне — походная кровать. Тарелка протертого картофеля в ужин, овощи на обед, изредка рюмка водки; табак — никогда. Хворая, накидывает старую шинель, не выносит халатов.

Придворным известны и склонности менее отшельнические. Николай любит итальянскую оперу, маскарады с быстролетными интрижками, блюдет верность не только отварным овощам, но и роскошным духам «Parfum de la Cour».

Духи и маскарад — это для себя. Для истории и апокрифов — походная кровать подле роскошной дворцовой мебели, старая шинель на широко развернутых плечах.

Сложен Николай отменно: сильные длинные ноги, узкая талия, литой торс.

Он подолгу любовался собой в огромном зеркале, воображая десятки, сотни собственных портретов анфас, вполоборота. Задумчивый, гневный, гордо откинувший голову, сверкающий очами…

С нежного возраста взлелеяна мечта о троне; лишенный права готовить себя к царствованию, он исподволь, в дворцовых передних, набирался доморощенного макиавеллизма. Придворные не стеснялись великого князя, и Николай все более убеждался, что двоедушие — условие всякой карьеры, умение выжидать дарует победу. Немало нелестного наслушался он здесь о царствующем брате. Не в этих ли вечно шепчущихся, ехидно и

настороженно подглядывающих передних взял начало потаенно-критический взгляд на Александра, крепнущая уверенность, что он, Николай, на троне вел бы политику, более сообразуясь с интересами короны и России? Надежда постепенно разрасталась до убеждения в высоком предназначении, миссии. И загонялась в подполье. Надо уметь ждать…

Получив военно-инженерное образование и в двадцать два года чин генерала, почти восемь лет командуя бригадой, он методичнее Аракчеева насаждал аракчеевщину, искоренял «распущенность», вынесенную войсками из европейских походов. В марте 1825 года вступил в командование 2-й гвардейской пехотной дивизией. И с выношенным упрямством мысленно продолжал примерять корону.

Летом, аккуратно развесив одежду на ветвях стриженых деревьев, он любил нежиться на мягкой траве. Всего слаще было греть живот, сквозь сомкнутые веки ощущая солнце. Воображение блаженно уносило в детство.

У двух младших царевичей семь наставников. Генерал граф Ламздорф с помощью тростника тщился приобщить великих кпязей к наукам. Отменное средство оказалось бесплодным, следовательно, лень была сильнее страха. Но не значило ли это также, что Ламздорф допускал половинчатость. Страх должен возрастать, чтобы к нему нельзя было привыкнуть.

Избегая грубого мужицкого загара, Николай переворачивался на живот.

Не в нагнетании ли страха истинная мудрость государственного мужа, которому надлежит, как пастырю, вести за собой невежественный, ленивый народ?

Барахтаясь в пруду Царского села, Николай забывал свои мечты. Нехотя вылезал на берег, где караулили два адъютанта с полотенцами. Давал растереть себе спину, потом долго, с наслаждением сам тер ноги, грудь, радостно осязая тело, более ладное и здоровое, нежели у братьев. Он холил его, вверяя твердым рукам массажистов, тренируя гимнастикой, вольтижировкой, ружейными приемами, забавами с визгливыми фрейлинами, умевшими, впрочем, держать язык за зубами. Болтливых не выносил.

Ощущение физического здоровья подогревало властолюбивые чаяния. Только надо дождаться своего часа.

Час грянул со смертью Александра. Однако чей это час — Николая или Константина?

Тревоги междуцарствия сотрясали размеченный, как фрунтовый устав, жизненный уклад Николая Павловича, но не заставляли отказаться от привычек. Уступая старшему брату

корону, он все сильнее вожделел ее; мечта станет явью, привычки — легендой. Не менять же их в такие дни!

Он ждал фельдъегерей из Варшавы, отправлял послания Константину в варшавский Бельведер, подписываясь: «ваш верноподданный Николай». 13 декабря завершил письмо словами: «Вашего императорского высочества искренно душевно верноподданный Николай». Распинаясь перед братом, Николай тянул мускулистые руки к рычагам административной машины. У него имелись свои соображения о предназначении и прерогативах императора. Среди первых истин — секретность во всем.

Сама мысль, что Константин, всего менее пригодный для государственного служения, взойдет на трон, глубоко ранила Николая. Ее осуществление он полагал оскорбительным и для России. Стрясись такое — беды неисчислимы. Грозило бедами и драматически затянувшееся междуцарствие.

Письмо Ростовцева заставляло поспешать с присягой: пора кончать… Когда заикающийся адъютант, умиленно глотая слезы, вышел, Николай дописал письмо к барону Дибичу:

«Послезавтра поутру я или государь, или без дыханья… Я Вам послезавтра, если жив буду, пришлю сам еще не знаю кого с уведомлением, как все сошло; Вы также не оставьте меня уведомлять обо всем, что у Вас или вокруг Вас происходить будет, особливо у Ермолова. Я, виноват, ему менее всех верю… Здесь у нас о сю пору непостижимо тихо, но спокойствие предшествует буре».

Страх подкатывал к неистово стучащему сердцу этого неробкого по природе человека. Страх перед «проконсулом Кавказа» Ермоловым, перед Сперанским, перед Мордвиновым, перед приглушенным ропотом гвардейских полков, перед петербургскими заговорщиками, о которых он не сообщил Дибичу. Душила тревога за семью, за свою жизнь, за корону, которую с минуты на минуту водрузят на голову. Ежели голова не ляжет на плаху. Спасать себя, спасать троп! Поступать без промедления и пощады!

Заговорщики шли ва-банк, отчаянно, подчас опрометчиво, полные беспокойства за отчизну, за государственное устройство, будущее народа, охваченные вчерашними, позавчерашними сомнениями; меньше всего их удерживала личная опасность.

У Николая нынче единственная дилемма — либо я на троне, либо без дыханья.

* * *

Занимался редкий в его жизни день — день без актерства. Под недобрыми взглядами мятежных полков, отбивающих атаки правительственных войск, черни, оглашающей площадь гнусными возгласами. Приходило ясное понимание, что растерянность равна краху не только мечты, ради которой жил, но и самой жизни. Его голос отдавал сталью, глаза делались обостренно зоркими, ум — расчетливым.

Прежде чем вскочить в седло, он наклонился, поднял конское копыто, убедился, что хорошо подковано, достаточно остры шипы. После вчерашней оттепели похолодало, льдом покрылся снежный наст, — не хватало поскользнуться, грохнуться оземь.

В каре среди солдатских мундиров Николай замечал офицерские, в рядах мелькали статские личности, круглые шляпы. С мундирами бунтовщики оплошали, морозец крепчал, дыхание застывало облаком, без шинелей долго не простоять…

Он пытался угадать их тактику: чего тянут? хотят выиграть время? Не мог вообразить, что эта медлительность отражала затянувшиеся дебаты, разногласия, колебания.

Николай видел, сколь выгодно окружить восставших, отрезать пути отступления, нанести упреждающий удар и завладеть полем боя. Соображения нравственные не связывали новоявленного императора. Смущала политическая нежелательность кровопролития, учиненного в день воцарения. Но чем-то надо жертвовать, дабы самому не стать жертвой бунтовщиков.

Николай грыз перчатки, выплюнутые куски кожи падали рядом с красной пеной, срывавшейся с губ жеребца.

Члены тайного общества обратили цареубийство в предмет нескончаемых полемик и заранее отвергали стрельбу по своим. Они не решились на нее и теперь, на морозной Петровской площади, перед сосредоточившимися к наступлению войсками правительства.

Николай, дождавшись наконец, когда подвезут снаряды, лично скомандовал бить картечью: «Раз, два — пли…»

Когда доходит до единоборства, отрывистые приказы тирана получают перевес над долгими словопрениями либералов-заговорщиков и над человеколюбивыми замыслами мечтателей…

Черная от солдатских сапог мостовая побагровела от солдатской крови.

На Руси и самого недалекого члена царской фамилии не удивишь дворцовым переворотом, ядом, железными пальцами на августейшем горле, подушкой, придавившей коронованную голову. Но все это нисколько не похоже на заговорщиков, выведших полки к Сенату. Николай силился раскусить

загадочных злоумышленников. Он не чурался мелочей, высочайше определял формы крепостного заключения — на кого и когда надеть железа (ручные, ножные, те и другие разом). Установил порядок следствия, два круга однотипных вопросов, чтобы сбить допрашиваемого, совладать с каждым.

Полный афронт случился в начале допроса капитан-лейтенанта Николая Бестужева, намеревавшегося спастись бегством и схваченного вблизи Кронштадта. Прежде всего, Бестужев потребовал ужин.

Николай, почувствовав твердость арестанта, сделал широкий жест.

— Вы знаете, все в моих руках, если бы мог увериться в том, что впредь буду иметь в вас верного слугу, то готов простить вам.

Отвергая царское великодушие, арестованный прочитал Николаю Первому мораль:

— Ваше величество, в том и несчастье, что вы все можете сделать; что вы выше закона: желаю, чтобы впредь жребий ваших подданных зависел от закона, а не от вашей угодности.

Уведомленный о колоде карт, изъятой у Бестужева, государь поинтересовался, что означает последовательность: король, туз червей, туз пик, десятка и четверка [26]. Он догадывался: сакраментального смысла карты не имеют, хотел все свести к шутке и задал вовсе безобидный вопрос: откуда колода? Бестужев насупился. Святое имя Любови Ивановны он не вымолвит.

У Александра Бестужева свои чудачества. При полном параде явился во дворец разделить долю друзей, покаянно отвечал на вопросы. А затем — письмо!.. Николай перечитывал его, теряясь от недоумения, внутренне мечась между сочувственным интересом к автору и ненавистью.

Он лежал, вытянувшись на топком тюфячке, отложив бестужевское письмо, измученный однообразной кутерьмой следствия; в прикрытых глазах рябило от вопросных листов, от записок, которые ежечасно слал коменданту Петропавловской крепости Сукину, и от полуграмотных ответов.

Кабинет императора переместили в Эрмитаж, развесили картинки с бивуаками, парадами, сменой караулов. Обширный письменный стол, крытый зеленым сукном, украшали фигурки солдат из тонированного гипса. В этом ему потрафили. Но обмишулились, поставив роскошную софу с жеманно выгнутой спинкой. Николай велел перенести в кабинет старую кровать с тюфяком.

Он мечтал о суровой, разумной и праведной власти. Его встретило враждебное каре; вместо коленопреклоненных восторженных толп — бунтовщики; тайное общество, истоками

уходящее в глубины России…

Ярость гнала сон. Он ненавидел всех — и тех, кто запирался на допросах, и тех, кто каялся, и тех, кто юлил. Он ненавидел и собственных братьев, презирал вельмож, адъютантов, членов Следственного комитета. Оскорбляла сама допустимость хотя бы и лакейски толковать его деяния и свойства. Однако ему уже не обойтись без смотрящих в рот лжецов и трусов. Конечно, от них не дождаться и капли правды, им не сочинить ничего, даже отдаленно напоминающее убийственную картину, бесстрашно нарисованную Александром Бестужевым…

Верно он писал Константину относительно Бестужева-второго и Щепина-Ростовского: «Я думаю, что их нужно попросту судить, притом только за самый поступок, полковым судом в 24 часа и казнить через людей того же полка».

В долгие часы бессонницы его посещали и бредовые видения. Изумить милосердием, освободить злодеев, самых умных поставить министрами, генерал-губернаторами, искоренить всякую кривду — а есть еще, есть таковая — тут Бестужев не фантазировал, — сообща направить отечество к процветанию…

Эту воображаемую комедию он разыгрывал лишь ночью, забавляя самого себя, измученного спектаклями для публики.

Но и в смехотворных видениях иной раз найдешь толику здравого смысла. В сцены, которые еще будут сыграны, чаще вкрапливать мотив единогласия. Они тоже боятся мятежной черни, тоже ратуют за русскую одежду. Пусть бы поверили: и он мечтает облагодетельствовать многострадальный народ, покарать лихоимцев. Но не вдруг, не под натиском толпы, которая употребит во зло великий дар вольности. Постепенность и мудрость, совместная мудрость царя и неподкупно верных соратников… Он с ними откровенен и ответно ждет искренности, безграничной жертвенности…

При допросах слезы бороздили бледные щеки царя, на совесть массированные парикмахером-французом. По другую сторону стола, отделяющего императора от подследственного, раздавались рыдания. Жертва, клюнув на приманку, рассиропилась.

Удовлетворенно вспоминая в ночи эти минуты, он предчувствовал наступление долгожданного сна и дул на свечу у изголовья…

Николай пришел к самоутешительному выводу: непонимание тоже подавляющая сила. Разве надобно понимание, чтобы душить толпу? Или дурачить книжных червей, застольных краснобаев?

Он писал Константину о «массе всякой сволочи». А Константин — по-фельдфебельски: «презренные русские».

Наша сволочь, продолжает Николай, набирается пагубных идей у заезжей сволочи:

«…Оказывается, что во вчерашней почте есть сообщение о приезде 84 иностранцев — французов, швейцарцев и немцев. Так как у нас достаточно нашей собственной сволочи, я полагаю, было бы полезно и сообразно с условиями настоящего времени отменить эту легкость въезда в страну…»

Еще длилось следствие, когда седоголовый мудрец (не хитрец ли?) председатель департамента экономии адмирал Мордвинов обратился к царю с запиской, предложив воспользоваться дарованиями и опытом заключенных:

«Большинство из них занималось поэзией, отвлеченными политическими теориями, метафизическими науками, которые развивают одно воображение, вводят в обман разум и зачастую развращают его. Сибирь не нуждается в этих науках. Зато механика, физика, химия, минералогия, металлургия, геология, агрокультура — положительные науки, могут способствовать процветанию Сибири… Те же преступники могут стать преподавателями этих наук и возродиться для общественной пользы… Можно было бы образовать из них Академию, при условии, чтобы члены ее занимались лишь вышеназванными науками, и чтобы в библиотеке Академии находились только книги, посвященные положительным знаниям».

Эка куда гнет, кривился царь, хочет вывести негодяев из-под карающего меча, укрыть за библиотечными полками, за толстыми стенами Академии. Отсидятся, переждут — и учредят новые общества.

Громогласно отвергнув проект, Николай все же задумался о нем. Хороший почин дорог, когда исходит от императора и соответствует его натуре. Всякие прочие почины, прочие правды вредны.

Все только и помышляют, как обойти самодержца, напяливают личину покорности. Мордвинов спит и во сне зрит белокаменные колонны Академии, под ее сводами входит в историю.

История принадлежит тому, кому принадлежат народы, страны, люди. Николай лично распорядится талантами арестантов, определив участь каждого.

Теперь он воочию видел: угроза его жизни была реальнее угрозы государству. Выстрел, удар кинжалом — и тренированное, холеное тело плюхнулось бы тяжелым кулем.

Пронесло, бог миловал. Или цареубийца оплошал? Кто-то удержал преступную длань?

Сквозь месиво вопросов и ответов он торил свою тропку,

искал важнейшую для себя отгадку…

Николай их не понимал на площади перед Сенатом, не понимал на допросах, не понимал на кронверке Петропавловской крепости. Ни оставшихся в живых, ни погибших. Непониманию сопутствовал страх, замаскированный лицедейством, которое становилось второй натурой. Он вошел в роль, чтобы долго и самозабвенно играть ее, все настойчивее отводя от себя истинное положение вещей.

Ложь годится для универсального обращения, когда содержит крупицы правды. Сомнительно, будто Николай, как писал он о том матери, жалел Каховского, но вполне вероятно, что обособлял от остальных.

Каховский убил Милорадовича и полковника Стюрлера, ранил свитского офицера, однако на императора не покушался, не делал попытки. Удержанный собственными колебаниями и — человеком, которому доверял. В чем и сознался на следствии. Одна и та же рука удержала цареубийцу и написала вызывающее письмо… Дивны дела твои!

* * *

Александр Бестужев был осужден по первому разряду — «смертная казнь отсечением головы». Конфирмация[27]10 июля 1826 года — в каторжные работы на двадцать лет; срок сокращен до пятнадцати. После нового приговора 17 августа 1826 года отправлен в Роченсальм, затем по особому высочайшему повелению обращен на поселение в Якутск…

Полковой суд, немедленный расстрел и вдруг, — отправка на поселение. Случай редчайший, если не единственный. Хитроумная игра на условиях, какие не сразу разгадаешь.

3

…Летом 1826 года вокруг Петербурга пылали леса, солнце тускло пробивалось сквозь удушливую мглу, что окутывала столицу.

Увидев в дымном мареве столбы с перекладиной, Бестужев одеревенел. Рылеева нет в говорливой толпе на кронверке.

Даже не заметил, что отсутствуют братья Николай и Петр, что отощал и зарос щетиной Михаил.

Мишель обнял за плечи, прижался, дрожа. Он сидел в четырнадцатом каземате Алексеевского равелина, Николай в

пятнадцатом, в шестнадцатом содержался Одоевский, в последнем, семнадцатом, — Рылеев.

— Рылеев! — очнулся Александр.

Мишель изобрел азбуку и перестукивался с Николаем. Но Одоевский с ней не совладал, через него не удалось связаться с Кондратием. Лишь записочка, словесные приветы в дежурство старого ефрейтора…

Вчера, когда оглашали сентенцию [28], еще теплилась надежда. Перворазрядникам смертную казнь заменили каторгой. Монаршья милость входила в условия судебного комедианства. Где ее пределы?

Безмолвно выслушали гундосую скороговорку лысого обер-секретаря суда:

— …Штабс-капитан Александр Бестужев. Умышлял на цареубийство и истребление императорской фамилии; возбуждал к тому других; соглашался также и на лишение свободы императорской фамилии; участвовал в умысле бунта привлечением товарищей и сочинением возмутительных стихов и песен; лично действовал в мятеже и возмущал к оному нижних чинов…

При эдаких провинностях — наворотили, однако! — оставляют голову. Неужто Кондратия лишат жизни!

Врожденная легкость нашептывала Бестужеву: обойдется, государь пожалеет мечтателя-поэта, сделает царский жест.

В своих показаниях Александр напирал на «чистейшую нравственность» Рылеева, — «человек весь в воображении». Не пощадив себя, вспомнил, как вознегодовал Рылеев, услышав о предложении заимствовать деньги в Губернском правлении.

За полгода казематного одиночества у Бестужева вспыхивало желание спросить Кондратия, что дал России неудавшийся заговор? Члены, лишившись всего, из людей, полезных отечеству, обратились в кандальников.

Он гнал эти мыслишки. Рылеев честно открывал: зову на гибель. Сам жил в готовности к ней. Бестужева захлестывала ненависть к императору — лукавому скомороху. Напрасно отговаривал Каховского, напрасно 14 декабря поутру советовал не убивать царя, дождаться праведного гласного суда. С тиранами по-рыцарски нельзя, за великодушие они платят жестокостью и коварством…

Но и это откатывало. Оставалась безжизненная пустота. Принесли похлебку — хорошо, вывели гулять — хорошо.

13 июля на плацу с чадящими кострами Бестужев не отводил глаз от виселицы.

Профосы[29]обходили заключенных, срывали эполеты,

помогали стащить мундиры, кидали в пламя.

От Михаила узнал: Николая, Петрушу, Торсона и всех флотских отправили на корабль, где и совершат разжалование по обряду морской службы: пушечный выстрел, черный флаг и прочее…

Когда подступил профос, Бестужев попятился, сам снял адъютантский мундир с оборванным аксельбантом, смял в ком, поддал ногой.

После коленопреклонения и ломки заранее подпиленных шпаг, профосы приволокли кучу халатов. Бестужев взял свой и швырнул в огонь.

Седой надзиратель принес в каземат кашу-размазню, щи, кусок ржаного хлеба. Вечером забрал нетронутыми. Вскоре вернулся с халатом, переброшенным через руку.

— Возьми, барин, сгодится.

— Повесили?

Надзиратель только перекрестился.

Из соседнего каземата Батеньков — в какой уже раз — колотил в стену. Бестужев лишь за полночь встал, щипцами отбил о кирпич: «Рылеев казнен» — и, не вслушиваясь в ответный стук, рухнул на кровать.

Он безостаточно отдавался горю, ночь длилась и днем.

Нанес визит высокий, с серебром в гриве Мысловский, протопоп Казанского собора, пекшийся о грешных душах злоумышленников. В священнике уживались чистосердечие и хитрость, сострадание к узникам и верность правительству. Он ободрял упавших духом, выслушивал долгие исповеди, которые — не целиком — сообщал Следственному комитету. Служил богу, но и для черта про запас кочергу хранил.

Несколько дней назад Бестужев спросил его об участи Рылеева. «Бог милостив», — Мысловский возвел очи горе. «Император?» «Милосерд».

Бестужев уверовал в помилование и теперь, встретив Мысловского бранью, пальцем с грязным ногтем указал на дверь…

В двадцатых числах июля началось великое переселение заключенных. Некоторым повезло — попали в казематы с окнами на Неву. Дозволялись свидания: раз в неделю, при плац-адъютанте.

Матушка ужаснулась, увидев Сашу в госпитальном халате, и принесла спешно — потому втридорога — сшитую венгерку.

Она сгорбилась, как-то скукожилась, выплаканные глаза утратили синеву. Куда девалась победительность, с какой восседала Прасковья Михайловна за праздничным столом? Она

это была?

Вопрос двоился, дробился: они ли то были? они ли, братья Бестужевы, вели вольный разговор, смеялись, шутили?

Он готов мириться с потерей друзей, альманаха, с концом сладостной жизни гвардейца-адъютанта. Но братья в кандалах! Но маменька, сестры!.. Гнев, перемешанный с жалостью, вырывался рыданьями.

Стражник поднимал клеенчатый лоскут над окошком в двери. Узник опять не в себе. Господские слезы даровые. Как у баб.

На свидание приходили сестры, случалось, под видом кузин и поклонницы из додекабрьской эпохи.

Бестужев острил, пытаясь вернуться к самому себе. За горло хватал вопрос: жизнь или память? Одно двух. Жить, вспоминая, невозможно. Но и память не вытравишь, не изобретена такая кислота.

Смех звучал жалковато, остроты — вымученно. Матушка не сдерживала слез. Все четверо сыновей изменились, но вовсе другим стал Александр, более остальных делавший вид, будто он — прежний.

Ожидая его расспросов, Прасковья Михайловна навела справки о семье Рылеева. Но он не заикнулся о Наталье Михайловне. Настойчиво вникал во все, касавшееся до маменьки и сестер, сыпал вопросами о братьях — как выглядят, в каком настроении? запасена ли одежда для путешествия в Сибирь? Лиошеньке шепнул:

— Дом на Седьмой линии будет не по карману. Надобно новый, поменьше.

Только резвые поклонницы узнавали Бестужева, — душку, говоруна-весельчака. И дивились: до чего мало отпечаталось на нем полугодичное ожидание смерти.

* * *

5 августа казематной дверью стукнул плац-майор Трусов:

— Готовьтесь к отъезду. Нынче вечером.

Когда начало смеркаться, Трусов повел узника к коменданту. Советовал остерегаться фельдъегерей, в дороге не говорить по-французски, вести себя смирно.

В комнате хромого Сукина, украшенной портретом Николая, уже толпились Матвей Муравьев-Апостол, брат казненного Сергея, поджарый Якушкин с татарскими усиками, гладко выбритый Арбузов, широколицый, задумчивый Тютчев.

На Арбузове и Тютчеве, не имевших родственников в

Петербурге, куртки и шаровары из серого толстого сукна. И Якушкин с Муравьевым-Апостолом одеты скромно. Синяя с черными шнурками венгерка Бестужева выглядела неуместно нарядной.

Комендант Сукин, постучав о пол деревянной ногой, добился тишины, Запинаясь, огласил высочайшее повеление отправить узников в Финляндию, в крепость, наказал слушаться фельдъегеря.

Бестужев выступил на середину, одернул венгерку и ни с того ни с сего назвал Сукина чуть ли не отцом заключенных… Арестанты оторопели: они не выносили придирчивого, тупого коменданта. Сукин растерялся. Быть отцом злодеев-заговорщиков не входило в его обязанности, государь услышит, вообразит, будто старый комендант дает поблажки преступникам. И хромой генерал сердито топнул деревяшкой: излишнее славословие, он строго блюл свой долг. Для пущего устрашения присовокупил: кто посмеет говорить на языке французском, будет закован в железа.

Все донельзя смущены, Бестужев — сильнее всех. Все витает, плавает, и вот — вылилось дурацкой речью.

Он забился в угол тряской повозки, у ног мешок, собранный матушкой; рядом сел жандарм.

Суждено ему когда-либо увидеть этот город, светлые прямоугольники окон, за которыми течет жизнь, чужая, безразличная к уделу арестантов?

Петербургская застава, как граница. По одну сторону все, что сделало его самим собой: семья, друзья, литература, женщины, книги, портные, парикмахеры, лихачи, рукописи, запертые в ящиках шкафа, корректурные листы; по другую — жестокая неизвестность.

Дым от лесных пожаров сгущался, лошади теряли дорогу, ямщики бестолково бранились.

Станционный дом в Парголове зазывал радушным огнями, на крыльцо высыпали родственники, друзья. Прасковья Михайловна привезла пирог с грибами, квашеную капусту.

Бестужев усадил за свой стол Арбузова и Тютчева. Наткнувшись на Мысловского, смиренно согнулся: «Благословите, отче». Священник ждал покаяния, но Бестужева след простыл.

Кто-то высказал надежду, — при коронации каторгу заменят поселением в Сибири. «Непременно заменят», — возликовал Бестужев. Будущее волшебно озарялось. Братья селятся вместе, трудятся, изучают науки, к ним поселяются сестры, маменька…

Утром расставались без горечи. Ветер, тянувший финских утесов, развеял удушливую гарь.

Жандармы дремали, узники невозбранно беседовали. Когда на станциях голоса звучали слишком громко, сонно двигающийся фельдъегерь Воробьев, вопреки наставлению плац-майора Трусова, добродушно просил:

— Парле франсе, мусью.

Пусть себе лопочут по-французски. Он того не разумеет, с него взятки гладки.

— Трудно на Руси искоренять крамолу, — шепнули Бестужев Якушкину, — фельдъегеря, и те спустя рукава несут службу.

Виной тому не только леность, но и брезгливость к доносам, полагал Иван Дмитриевич, возможны также и скрытно сочувствующие, сострадающие. Попадаются такие, у которых собственные суждения.

Вскоре Бестужев убедился в правоте Якушкина.

Обедая, заговорили о причинах краха. Якушкин доказывал, что они — в поспешности. Обществу надлежало быть фундаментом великого здания. Над фундаментом постепенно выросли бы этажи. Вместо того — вылезли наружу, захотели быть на виду, словно карниз.

— И потому упали вниз, — очнулся ото сна фельдъегерь Воробьев.

Может, и не спал, все слышал и соображал свое?

Да мы сами

Ведь с усами,

Так мотай себе на ус.

От Роченсальма к форту «Слава» арестантов вез шестивесельный катер. Каменный остров надвигался, каменная башня на нем ширилась, росла вверх, заслоняя море, небо.

Ты сызмальства бредишь таинственными крепостями, вот и получай, воспаряй сколько угодно. Здесь испустишь последний вздох.

Выстроенный Суворовым форт превратили в сырое, полутемное узилище с одиночными «гробовыми квартирами». В каждой — русская печь, кровать с соломой, стол, два окошка, снаружи забранные тесом. С потолка однообразная, как тиканье часов, капель. Постель днем скатывай и — в чемодан, иначе отсыреет.

Начальник охранного отряда поручик гарнизонной артиллерии Хоруженко — коломенская верста с длинными рыжими усами — днем и ночью врывался в каземат, — авось

захватит врасплох; за малейшую провинность лишал прогулки. Хапал свою долю из пятидесяти копеек, отпускаемых на каждого, кормил тухлой солониной.

Рвения и строгости хватило ему, однако, ненадолго. Привыкнув к арестантам, Хоруженко, бывший одновременно и комендантом форта, стал зазывать на чаепития. Он нуждался в слушателях, в сочувствии. Он, сын сосланного пугачевца, нахлебался кантонистских розог, солдатскую лямку тянул до кровавых мозолей.

Такой Хоруженко, думал Бестужев, за свое выслуженное дворянство глотку перегрызет. Слезливо вспоминает о солдатских тяготах и копеечно обкрадывает арестантов. С одинаковым упорством повторяет историю собственной карьеры и гаутку московского генерал-губернатора Растопчина: «Во Франции сапожники захотели стать знатными господами и устроили революцию, а у нас аристократы захотели стать сапожниками и начали бунтовать».

Выполняя приказ, поручик должен был «тыкать» арестантам, да и несуразно злодеев величать на «вы». Но злодеи остались на Петровской площади, в казематах Петропавловской крепости. В форте — столбовые дворяне. С языка само срывалось «вы». Хоруженко злился на себя, на арестантов, пускался в путаные пьяные объяснения.

Бестужева поразило: до чего мало он видел людей. Свое сословие легче постичь, нежели выходцев из низов. Что за фрукт этот Хоруженко? Раздувает самовар для государственных преступников, полотенцем вытирает пот с нависшего лба. Мелкий жулик? широкая натура? Человек шаткой нравственности?

Якушкин находит у Хоруженко преимущества сравнительно с каким-нибудь педантичным тюремщиком-немцем. Тот не стянул бы ни копейки, сносно кормил, дотошно исполняя все предписания, уморил бы заключенных. Не пил бы с ними чай, запретил общие прогулки.

Бестужев отравился тухлятиной, заболел. Неприязнь к вороватому поручику росла. Однако вскоре поручик его спас.

Ночной часовой, услышав в каземате шум, смекнул — арестант Бестужев вступил в сношения с нечистой силой. И потрусил к унтер-офицеру. Тот доложил Хоруженко. Поручик опрометью бросился по крепостному коридору, отомкнул замок, рванул дверь. Угоревший узник лежал на полу без чувств…

Книги, взятые из крепости, комендант не трогал. Бестужев, имевший два старинных британских журнала, том Ремблера и том Гертнера, обучал Якушкина и Муравьева английскому языку. Всему этому Хоруженко не противодействовал. Но напрасны были

мольбы о новых книгах. Доставил только от двух жительниц Роченсальма тетрадку, исписанную изящным почерком, — последняя часть «Чайльд-Гарольда» по-французски.

У Бестужева мелькнуло: страшится печатного слова. Солдаты страшатся нечистой силы, офицер — типографских литер. Узники читают Монтеня, комендант едва осилил «Четьи-Минеи». Где им столковаться?

Якушкин тоже считал невежество бедой, но ничтожество души — беда горшая. Она возможна и у человека просвещенного.

— Образованного, — поправил Бестужев. — Нам уготовано животное существование, и Байрон с Монтемем не спасут…

Они поеживались, гуляя по двору форта. Их доконали скверное питание, болезни. Хотелось присесть, лечь. Но сядешь на камень — холод до костей.

Больше всех зяб Матвей Муравьев-Апостол. Полученная в походе против Наполеона рана в бедре напоминала о себе, едва Матвей опускался на стылую глыбу. Весельчак Муравьев сделался угрюм после казни одного брата и самоубийства второго…

* * *

Сперва пробудилось желание поднять дух друзей-узников. Одолеть безысходность, охватившую Матвея Муравьева, грусть Тютчева, замкнутость Арбузова. Доказать им и себе: мы, замурованные в каменные стены, живы!

Образ Андрея Переяславского давно посещал Бестужева — князь, любящий народ, любимый народом.

Но нет бумаги, лишь обертки от табака, пера тоже нет и нет чернил. Где взять книги о далеких временах?

Пойдет наперекор всему. Расщепленный зубами жестяной обломок станет пером, разведет в склянке толченый уголь — вот и чернила.

Но пусть живые песнопенья

Иль темный летописей глас

Заронят в пепеле забвенья

Хоть искру памяти о нас

…Я не исчез в бездонной мгле,

Но, сединой веков юнея,

Раскинусь благом по земле,

Воспламеняя и светлея!

Он сочинял стихи о верном отчей земле Андрее Переяславском и о правдолюбце Световиде, об их недруга о давних днях и вымечтанной надежде:

Когда на землю снидут вновь

Покой и братская любовь,

И свяжет радуга завета

В один народ весь смертный род…

Далекое время возвращалось строфами, в которых слышался отголосок рылеевских «Дум». Снова ожил строчки, вспыхнувшие во тьме каземата Никольской куртины после письма императору, ожили и легли в поэму. Словно родились для нее.

Беспробудным зимним сном, хрипло кашляя, спит форт «Слава», конвоиры лениво бродят по сводчатым коридорам. При огарке Александр Бестужев горбится на дощатым столиком, лишь под утро опускаясь на соломенный тюфяк арестантской кровати.

Написав две главы (задумано пять), он просит товарищей выслушать историческую пиесу в стихах. Дабы сборище не выглядело тайным, хочет сделать это за чаем у Хоруженко. Поручик согласен. Если какой-нибудь злонамеренный душок — его не проведешь, — остановит и доложит по начальству.

Автор читает зычно, в пиитической манере. Ему внимают, вежливо отодвинув стаканы с недопитым чаем. Помолчав, обрушивают порицания: «Где же история?», «где живые натуры?», «где действие?..»

Бестужев улыбается — до чего похоже на собрания в квартире Рылеева; улыбается и отбивается. За каменными крепостными стенами шумит «Irritabile genus vatum» [30].

Бестужева не обескураживает критика, он несказанно рад. Какая у них страсть! Сила духа! Мысли!

Молчал только хозяин. По рыжим усам Хоруженко текли медленные слезы. А чего разнюнился? поэма проняла? сокрушается из-за скорого перевода — теряет тепленькое

местечко? лишается цивилизованного общества?

Многого не понимал Бестужев. Понимаемая жизнь кончилась.

Белеет парус одинокий,

Как лебединое крыло,

И грустен путник ясноокий;

У ног колчан, в руке весло.

Но если я в годину тьмы

Хоть сердце шаткое исправил,

Хотя немногие умы

Любить прекрасное заставил,

Когда лучом душевных сил

Законы правды озарил,

Когда благие увещанья

Иль безупречный подвиг мой

Взойдут незнаемой виной

Великодушного деянъя…

4

Еще накануне Нового года заявился генерал-губернатор Финляндии Закревский собственной персоной. Этому предшествовали две недели истового служебного усердия: казематы под замок, общие прогулки под запрет, чаепитий у коменданта как не бывало. Бестужев шумно втягивал широким носом воздух: «Начальством пахнет».

Закревский, однако, прибыл без помпы. Хоруженко не замечал, выскобленные полы не оцепил. С узниками держался почти как ровня.

У арестантов к этому времени запасы чаю, табаку, сахару иссякали. Надвигались зимние вечера без трубки, без кружки круто заваренного чаю.

— Сие не угрожает, — уверил генерал-губернатор. — Вот вам от меня…

Солдат внес ящик с табаком, сахаром, цибиками чая.

— Некогда я от вас получал презенты, теперь мой черед дарить.

Закревский числился в списке, по которому Рылеев с Бестужевым рассылали «Полярную звезду», — какие-то нити незримо тянулись из додекабрьской поры…

В сырой, промозглой камере издатель «Полярной звезды» беседует с генерал-губернатором. Закревский, но снимая бекеши, устроился на табурете.

Слишком велико все же неравенство между собеседниками. Читатель не без околичностей вопрошает: что ждет российскую словесность? Не оскудеет талантами родимая земля, надеется Бестужев, грядут новые, не слабее, чем аз многогрешный.

Хочется крикнуть: не спешите нас хоронить, я из колодца еще подам голос. Попросить у генерал-губернатора пачку бумаги, достать из-под подушки табачную обертку, покрытую стихотворными строками… Но время высокопарных излияний отошло.

Генерал-губернатор Финляндии, кхекнув, поднимает с табурета свое тяжелое тело, облаченное в долгополую бекешу.

Получили посылки, книги и остальные узники. Медвежьи сапоги от тещи Якушкина всех заставили призадуматься: к чему бы это?

Там, на воле, друзья и близкие обивали пороги, узнавали новости, строили планы. Арестанты строили лишь догадки. У Закревского благожелательство не доходило до откровенности. Личные симпатии, конечно, но — служебное положение, господа, обязывает… Губернатор оставил обласканных арестантов в неведении и некотором замешательстве.

Надвигалась бесконечность тоскливых ночей и дней в фортславской «гробовой квартире».

Якушкин и Муравьев-Апостол уверяли, что форт не на век, они еще увидят солнце не через решетку.

— Воля?! — горячился Бестужев. — На нас станут смотреть с невыгодной стороны. Кому любы неудачники?

— Напротив, — Якушкин поглаживает вислые усы, — как бы не почитали лучше, чем мы того стоим.

От зряшных споров Бестужев спасался, уединяясь с «Андреем Переяславским».

Летом 1827 года вступил в должность новый комендант, захвативший с собой жену и молоденькую смешливую дочку.

Бестужев взыграл: красавица!

Для начала выщипал бороду (бриться не дозволялось, бритв не давали). Потом… Венгерка ободралась, жалкая арестантская одежонка. Но уцелел красный шарф, полученный от матушки в Парголове. Обмотать голову, соорудить чалму.

Арбузов и Тютчев тоже вступили в единоборство за комендантскую дочь, тоже выщипали бороды.

Новый визит Закревского положил конец соперничеству. В этот приезд генерал не обременял себя встречами с узниками, велел коменданту выяснить, что им предпочтительнее — крепость на весь срок работ или Сибирь?

Форт сидел в печенках; впереди новая зима: казематный холод, угар, ледок на стенах. Сибирь — земля обетованная.

В начале октября прошелестел обнадеживающий слух: по случаю рождения великого князя Константина Николаевича все арестанты избавлены от каторжных работ. Вскоре поступило уточнение — не все.

Александр Бестужев и Муравьев-Апостол вызываются в Петербург, где им объявят высочайшую милость. Спектакль продолжался. Из-за кулис, опираясь на саблю, выступил уродец граф Иван Иванович Дибич, начальник Главного штаба. Ему отведена эпизодическая роль, куцые реплики: «Вам, Бестужев, разрешено печататься, но под условием не писать никакого вздору и без указания имени сочинителя».

Фразу расчленить на две. «Вам, Бестужев, разрешено печататься…» Обласканный сочинитель начнет исходить чувством благодарности. Тогда прозвучит вторая половина: «Но под условием…»

Дибич сделал паузу после «печататься». Партнер ею не воспользовался, и графу ничего не остается, как высказаться насчет «условия».

Свежеиспеченный поселенец смотрит мимо левого эполета Дибича в голое, забрызганное дождем окно. Мимо висящего над графом портрета императора — в рост, с отставленной ногой, — мимо массивного канделябра.

Чего, спрашивается, не видел? Петербургский слякотный день, мокрая брусчатка Дворцовой площади, Зимний за пеленой снега с моросью.

Вырази обласканный злоумышленник благодарность (как намечает пиеса), Дибич получил бы право на импровизацию. Мало не сочинять вздора, надобно писать то-то, то-то и то-то. Вразумляющие советы дают понять: ежели «то-то, то-то и то-то»,

тогда — почтительно-восхищенный поворот головы к портрету — может что-то воспоследовать. Намек, подталкивающий к трепетным размышлениям. В Сибири времени для них хватит с лихвой.

Дибич — кисть на эфесе, нога в начищенном ботфорте отставлена (все равно поза менее величественная, чем у императора на роскошном портрете) — ждет благодарности.

Но весь запас надлежащих слов не к месту израсходован на хромого коменданта Петропавловской крепости. В этом огромном, как плац, кабинете Бестужева сковала немота.

Глаза застит зловещая перекладина с петлями. Братьям Михаилу и Николаю каторга, никаких послаблений. Ему дозволено печататься, не подписывая… Кто будет определять: вздор — не вздор? Эта мартышка с тяжелыми эполетами и муаровой лентой через плечо?

Надо рассыпаться в благодарности, граф ждет. Ну и пускай себе ищет.

* * *

По лужам, выбоинам и топкой грязи, по осенней распутице, первой пороше, по зимнику вместе с Матвеем Муравьевым-Апостолом — в далекий Якутск, уготованный для поселения. Через Ярославль, Вятку, Пермь, Екатеринбург… Мимо утонувших в снегах деревень, изб под соломой, мимо колодцев, церквушек, верстовых столбов, шлагбаумов, черно-белых будок, погостов.

На почтовых станциях обмотанные платками бабы торгуют жареными курами, топленым молоком, солеными огурцами, вареными яйцами, свежевыпеченным хлебом.

Муравьев, сидевший обок в возке, махнул рукавицей в сторону встречного обоза. Кончался один — дорога недолго пустовала, начинался второй, за ним — третий, четвертый…

Летние даяния земли, рек и лесов, уложенные в мешки, ящики, бочки, корзины, сундуки, завернутые в рогожу, на телегах и розвальнях текли в городской дом помещика, в ненасытные погреба знати. Съедались, становились ассигнациями, банковскими счетами, продувались в карты, прокучивались в ресторанах, проматывались в веселых заведениях Варшавы, Парижа, Вены, шли на покупку нарядного платья, моднейшей обуви, редкой мебели, книг с золотым обрезом, бюстов мыслителей, императоров, полководцев…

Еще Чацкий, — да какой Чацкий? — Грибоедов негодовал: «… прошедшего житья подлейшие черты…»

Любуйтесь, вот они, эти черты в яви. Ничуть не прошедшие, уцелевшие во всей своей мерзости. Плоды труда отняты у тех, кто их добыл жилистыми руками своими, проливая пот с зари до зари. Самовластно, гнусно украденные плоды будут услаждать бездельников, сибаритов, распутников. Так торжествует величайшая из несправедливостей бытия. Посягнув на нее, Они, заговорщики, привели полки на Петровскую площадь и потерпели горькую неудачу.

История благоволит к победителям, но берет успешные уроки у побежденных. Вольнолюбцев можно возвести на эшафот, сослать в каторгу, унизить и оклеветать, но однажды пробудившийся дух вольнолюбия не казнишь, не задушишь намыленной веревкой, не втопчешь в грязь. Пробьет час, и хмуро-молчаливые мужики в армяках, сопровождающие обозы, уразумеют, кто катит им навстречу в возках с фельдфебелем на облучке. И тогда…

Он еще не знал, что наступит «и тогда», но перед ним открывалось бескрайнее поле для раздумий, какими покуда не станет делиться. Его ждет уединение; надлежит приучить мысль к одиноким странствиям. Наподобие того, как Робинзон приучил себя путешествовать по необитаемому острову…

В Муравьеве сохранялось что-то еще от иноземца, потрясенного дикостью нравов, кабалой установлений. Вместе с братом Сергеем он вырос в Париже, вернулся полный восторженной любви к отчизне.

У Матвея мелкие черты лица, ровный вытянутый нос, волосы, скрадывающие лоб. Задумавшись, он прихватывает зубами нижнюю губу, смотрит исподлобья.

Эти люди никогда не будут носить ту же одежду, что и хозяева, не узреют великолепных картин и скульптур.

— Безропотность лапотного племени. Ведать не ведают, что возможно и по-другому, — подхватывает Бестужев. — Смирение въелось в кровь, злость срывают на лошадях, жен бьют смертным боем, глаза заливают вином… Дать народу идеалы, образцы, могущие увлечь, возвысить…

— Опомнись! Какие идеалы! — в голосе Муравьева недоумение. — Сплошь темнота, безграмотность. Невежество — собрат тиранства.

Диалог еще не раз возобновится, оборвется, вспыхнет снова, замыкая заколдованный круг. Чтобы просветить народ, надо изменить условия его бытия. Но на разумные перемены способны люди, вкусившие от древа познания. В наших землях это древо растет только в заповедниках, куда простой люд не вхож.

— Для нас с Сергеем не существовало края лучше России, —

задумчиво вспоминал Муравьев, когда Они ночевали в тесной, с нависшим потолком комнате почтовой станции. — Не понять было матушку, предупредившую: «В России вы найдете рабов».

— Но и сегодня ничего лучше отечества не знаешь! — приподнялся на подушке Бестужев.

Матвей отозвался не сразу.

— Я и сегодня готов собою жертвовать ради России.

За оклеенной дешевыми обоями стеной раздавались брань, женский визг, звон посуды, — гуляет купец.

— Нам не спать, — Бестужев мотнул головой на стену. — Страшна голодная бунтующая чернь, но и чернь, добравшаяся до яств…

— Ты запамятовал об офицерских пирушках, о петербургских разгулах.

Не запамятовал, пображничал бы сейчас вместо того, чтобы слушать чужие пьяные вопли. Но Муравьеву в том не сознаешься, он строгих правил, чуть что — укоряющий взгляд исподлобья. Когда в Следственном комитете у него дознавались о причастности к обществу кое-кого из молодых людей, славившихся своими кутежами, брезгливо отверг предположение: «Они были слишком безнравственны, чтобы быть принятыми». «Так, стало быть, вы очень нравственны?» — «Я только отвечал на ваш вопрос».

Вместо сна в голове одуряющая путаница. Мужичье в армяках и лаптях — бессчетное рабье племя. А граф Дибич? С его орденами, ботфортами, лентами, эполетами, надменными позами, поучениями? Рабы внизу и наверху…

В Екатеринбурге остановились у почтмейстера. Хозяин щуплый, очки сползают с переносицы.

— Господа… не откажите, не обессудьте…

Достал большой клетчатый платок, вытер лоб. Почтмейстер умолял отобедать у него, чем бог послал. Он ждал их, считал дни, раздобыл доброго вина, жена с утра на кухне.

Бокалы за здравие Матвея Ивановича, Александра Александровича, их друзей.

Глухим надо быть, незрячим, чтобы не видеть, сколько души вложил почтмейстер в застолье, как благоговейно взирает на опальных гостей, какой восторг застыл в карих очах его супруги.

Что там екатеринбургский почтмейстер! Тобольский гражданский генерал-губернатор Бантыга-Каменский, красноярский — Бегичев — встречали вчерашних узников, ныне странствующих поселенцев, как почетных визитеров. Оба губернатора пописывали. Бестужев их собрат по перу, оба преклонялись перед просвещеннейшей семьей Муравьева-

Апостола.

Нет, не всеобщее рабство. Должностные лица, высокопоставленные чиновники, отлично знавшие, что в столицу полетят доносы, открыто выказывали свое расположение вчерашним заговорщикам.

На каторжных и ссыльных, оказывается, лежит не одно лишь клеймо отверженных, но и печать самоотвержения. Есть люди, для коих они — герои.

Муравьев-Апостол подбирал нижнюю губу, вперял неотступный взгляд в самодовольно улыбающегося спутника. Опрометчиво преувеличивать сочувствие. Сколько враждебности выпало на их долю и еще выпадет. Здесь коней не запрягают, там ночевать негде, однажды к обеду принесли разрезанное мясо, чтобы не давать ножей. Повсюду рыскают агенты, вынюхивают, следят за ссыльными и за тем, как их встречают…

Все это верно. Потому и обидно Бестужеву. После всего пережитого он мальчишески вверяется иллюзиям.

Одна дума не отпускает его — свидеться бы с Николаем и Михаилом. Их партию везут по тому же маршруту. Если гнать на перекладных…

После изнурительной дороги поздним вечером на исходе ноября добрались до укрывшегося в зимних сумерках Иркутска; возок замер у губернаторского дома. В доме давали бал. Светился иней на замерзших окнах, музыка рвалась сквозь запертые двери.

Окоченевшие до костей Муравьев и Бестужев вылезли размяться.

— Далеко направились? На бал не званы…

На крыльце пошатывался долговязый чиновник во фраке. Ему было весело, тепло и без шинели.

— Ишь ведь, к губернаторскому дому… В острог…

Они успели отвыкнуть от арестантских помещений с решетками, от тяжкого звона оков, от грязных полосатых матрацев, набитых вонючей соломой…

В остроге на часах стоял солдат, помнивший Матвея Муравьева еще по Семеновскому полку и сосланный в Сибирь за участие в «возмущении». Прислонив к косяку ружье, часовой бросился на шею Муравьеву.

Бестужев пытался сосредоточиться. Вот оно как: от обеда у тобольского губернатора до железной казематной койки в Иркутске. Все у него теперь неверно, постоянна лишь зависимость от чужой воли, от чьих-то прихотей. Но если дело обстоит подобным образом, значит, разболтались государственные скрепы. Не только на дворцовых этажах, где паркетное свободомыслие — чуть ли не признак хорошего тона. Солдат-

семеновец открыто сострадает декабристам.

Однако можно посмотреть на вещи иначе: разболтавшиеся оковы будут носить и носить, не ощущая их тяжести, натертых мозолей.

Солдат, откровенничая с Муравьевым, сыпал именами. Мелькнул и Якушкин. Не Иван ли Дмитриевич? Он самый. В соседнем каземате.

Бестужев рывком отстегнул ремни на чемодане, раскидал вещи. Вынул драгоценный подарок — «Цыган» Пушкина.

— Передай, служивый, и поклонись от Александра Бестужева.

Утром напоили жиденьким чаем. Но попозже принесли завтрак из трактира, оттуда же и обед. Вечером позвали в баню.

В липком, выжигающем глаза пару двигались костлявые фигуры, слышалось звяканье желез. Прислуживали — сноровисто, угодливо — клейменые преступники с рваными ноздрями.

Из пара вынырнул кто-то в мыльной пене, обнялись, ребра скользнули под ладонью.

— Иван!

— Саша!.. Спасибо за «Цыган»…

Опустились с Якушкиным на деревянный мокрый полок. Бестужев забыл о бане, о каторжниках с ушатами… «Цыгане» — вечная поэзия, романтизм, вольное сердце…

Якушкин, усмехнувшись в татарские усы, остановил:

— Саша, милый… Твои братья должны быть здесь. Николай и Михаило.

Вечером гражданский губернатор Цейдлер принес извинения. Муравьев-Апостол и Бестужев заключены в острог по ошибке, досадная оплошность, незамедлительно поселят на квартиры.

— Но тут товарищи, мы бы хотели…

— Досадно, однако закон. Тяжела не только его суровость, подчас и мягкость. Тяжела. Досадно.

Счастливо осененный, губернатор хлопнул себя по гладкому лбу:

— Вам, Александр Александрович, дозволяю свидеться с братьями, — Цейдлер хитренько сощурился. — Суров закон, мягок, но всегда что дышло… Досадно.

Свидание состоится в остроге, но не в каземате, а в служебной комнате со столом, залитым чернилами, с продавленными креслами и отполированной скамьей вдоль стены.

* * *

Миновало два года с воскресного обеда в «бестужевском гнезде» на Седьмой линии Васильевского острова. Александру Бестужеву оставалось жить около десяти лет, Николаю предстояло — почти тридцать, Михаилу — без малого сорок пять. Все эти годы каждый согревался памятью об иркутской встрече. Переживший братьев Михаил Александрович незадолго до кончины написал о необычном Александре, каким увидел его в последний раз: «Не было «блесток Бестужевских» — был грустен, ровен».

Грустный, ровный Александр обращался к братьям: «Как же мы теперь?» Николай твердил: «Ты должен писать. Тебе дозволено». Мишель пытался шутить: «А нами, каторжанами, государь распорядился». И звенел ножными кандалами.

* * *

Санная дорога вилась по берегу Лены — буераки, рытвины, впадины; метельные заряды сотрясали возок.

По негласному уговору Матвей Муравьев и Александр Бестужев, разговаривая, обходили иркутскую встречу с Николаем и Михаилом. Муравьев догадывался, что она значит для Бестужева. Бестужев понимал, какие мысли вызывает у Муравьева…

Снимая варежки, он недоуменно рассматривал свои окоченевшие пальцы. Есть ли в них сила сжать стремительное перо?

Матвей, не удержавшись, нарушил неписаный договор. Почесал длинный нос, втянул нижнюю губу.

— Не только мстительность, но и коварство…

— Ты об участи нашего Павла? — догадался Бестужев.

— О ней.

В Иркутске, где собралось немало декабристов, все знали, что великий князь Рыжий Мишка поцеловал Павла: «Для меня ты не брат бунтовщиков». И приказал арестовать его за чтение «Полярной звезды». Хотя книжка была не Павла и он не читал ее вовсе. Слышали и о письме Прасковьи Михайловны: даже если б установили, что ее младший сын читал «Полярную звезду», где основания для приговора? Альманах одобрен цензурой, издатели удостоились подарков от царской семьи.

Около года Павел отсидел в Бобруйской крепости и был сослан солдатом на Кавказ…

— Какая-то странность, — пробормотал Бестужев, — один издатель казнен, другой помилован…

— Странность? Рылеев — вождь петербургской «управы». Девиз «разделяй и властвуй» применяется и к государственным преступникам, и к их близким.

— Ни в чем не повинного юнкера, последнюю опору старухи матушки!.. — зашелся Бестужев.

— В том и состоит коварство.

— Издателя — на поселение, читателя — в крепость. Какой-то подвох. Либо утонченное мучительство.

— Может статься, и подвох, и мучительство. Государь любит большую месть, целым семьям, но и малой не брезгует…

Почти месячное путешествие в сопровождении казачьего урядника из Иркутска до Якутска завершилось накануне Нового года.

Город дремал, по слюдяные окна заваленный снегом.

Наступило прощание с Матвеем, которому назначена была ссылка в Вилюйск,

5

Совпадение? Дьявольское. Пророчество? Трагическое. «Войнаровский был сослан со всем семейством в Якутск, где и кончил жизнь свою, но когда и как, неизвестно…

Превратность судьбы его предупредила все вымыслы романтика…»

Это — из «Жизнеописания Войнаровского», составленного Бестужевым к поэме Рылеева «Войнаровский». Поэма посвящена ему, Александру Бестужеву, у нее эпиграф из Данте:

…Nessun maggior dolore

che ricordarsi del tempo felice

Nella miseria…[31]

Рылеевская поэма поначалу называлась «Ссыльный».

Если верить Кондратию (попробуй не верь, когда едва не все сходится), впереди — одинокая смерть в пустынном снежном краю. Бестужеву определено жительствовать в городе, где после бурных странствий и приключений влачил свои ссыльные дни Войнаровский, где все дышит обреченностью, напоминая о скорбном конце героя поэмы, об участи ее создателя.

По меркам графа Дибича «Войнаровский» — образец

«вздора», какой сочинять не положено. Автор не послушался властей и печего сетовать на возмездие…

Опустилась долгая якутская ночь, ночь в изматывающем ожидании рассвета.

* * *

Утром Бестужев заставил себя подняться, побрился. Озираясь, вылез на улицу.

Извилистой тропой он спешит за женщиной. Фигуру не угадать под пышным салопом, лицо укрыто меховым воротником, толстый платок надвинут на глаза.

Сугробы расступились, Бестужев обогнал незнакомку, резко повернулся. И залпом:

В стране метелей и снегов,

На берегу широкой Лены,

Чернеет длинный ряд домов

И юрт бревенчатые стены…

Он читал, и на разрумянившемся лице женщины сменялись недоумение, гнев, мимолетная улыбка. Из-под платка дрогнули заиндевевшие ресницы. Рука, покинув муфту, сделала жест: прочь с дороги. Но голос тих, без возмущения:

— Простите… господин… Бестужев.

Он хотел сразить, но сам был сражен. Уже известно о его приезде. Громкая слава? Нравы захолустья?

Слава греет и у Полярного круга.

Возбужденный прогулкой, лестным опознанием, он посасывал трубку и осматривал голые стены своего нового жилища, пепел высыпал на подоконник.

Впервые за два с лишком года Бестужев гулял без охраны, сопровождения. Свободно вдыхал воздух, морозно обжигавший гортань. Повстречал незнакомку…

Может, не ахти как молода. Подобные одеяния, поди, разберись… Как у Пушкина? «Падут ревнивые одежды на цареградские ковры…» Пушкин — романтик, о любой вещи пишет в высоком стиле. «Падут ревнивые одежды…» Но когда рисует гардероб и манеры ничтожного Онегина…

Обрывая филиппику, Бестужев огорченно прикинул: у него

самого с гардеробом худо. Ничего нет для дома, для визитов, для встреч — чаянных и нечаянных. Он ссыльный, но — петербуржец, и ему ли одеваться скуднее тутошних жителей?

Бей челом матушке, докучай сестре Елене. Они покинули насиженное «бестужевское гнездо» и обживали неприметный домик на Пятнадцатой линии все того же Васильевского острова, на углу Большого проспекта.

Бестужев взял четвертушку бумаги — заносить самое необходимое. Необходимого набралось столько, что листка не хватило. Однобортный черный сюртук, материя на жилетку, шейный платок, несколько пар цветных перчаток, полдюжины бумажных чулок, две бритвы с прибором, головные щетки, столовая и чайная ложки, книга по агрономии…

Список рос день ото дня. В Якутске — дороговизна, до ярмарки — она в июне — ничего не купишь. Из столицы посылка дойдет раньше. Почта совершает круг за четыре месяца. (Письма братьям в Читу поступали в Петербург, читались в жандармском управлении и возвращались в Сибирь; правительство не скупилось на почтовые траты.)

Надо самому хлопотать по хозяйству; без собственного огорода не обойтись, овощи доставляют за две тысячи верст и дерут за них три шкуры.

Заботы о чашках-плошках, о хлебе насущном навалились с первых недель. Отбросишь их — конец; отдашься без остатка — станешь улиткой огородной.

В список вносятся лексиконы — немецкий, французский, итальянский.

Усовершенствоваться в языках, прочитать в подлиннике великих немцев — «Валленштейна» Шиллера, «Фауста» Гёте, по-итальянски Данте, чей афоризм о счастливом времени, горько вспоминаемом в несчастье, не идет из ума…

Ехидный вопрос холодит сердце: к чему все это? Данте?.. Шиллер?.. Копаться на грядках? Обольщать местных дев? Умный человек копит — деньги ли, знания, опыт — ради практического приложения. Ему ради чего?

Ни малейших порывов к сочинительству. Долго нежится в постели. И нет желания шевельнуть пальцем, коснуться с трудом раздобытой бумаги. Предписал себе монашеское затворничество. Чтобы избежать соблазнов, обрил голову. Читал с утра до ночи.

Серьезная проза требует источников, материалов. Откуда им взяться? Для статеек, прежде беззаботно скатывавшихся с пера, слишком многое позади, не до них ему, набравшему казематной сырости в легкие, пережившему дымный рассвет на кронверке, отмахавшему девять тысяч верст по грязи и снежной хляби.

Увидено больше, чем успел понять и обдумать. Убедился в несовершенстве жизненного устройства. Но где выход? Каковы средства преобразования? Куда податься заговорщику, когда заговор потерпел фиаско?

Однажды Муравьев-Апостол так высказался: им, ссыльным и каторжанам, искать ответ на вопрос, заданный историей. Поражение — тоже урок, для каждого — свой.

Это перекликалось с мыслью, возникшей у Бестужева при виде вереницы обозов. Не извинительная наивность полагать, будто миссия их завершилась четырнадцатым декабря, будто залпы на Петровской площади положили последний и окончательный предел их порыву, их назначению.

Не теперь ли начинается главное испытание? На каторге, на поселении, в солдатчине выявится, на что годен каждый, какова его сила сопротивления самодержавной тирании.

С отчаянием, доводившим до скрежета зубовного, Бестужев переносил всю тяжесть духовного одиночества. Оплошности прошлого в сгустившемся мраке вставали четче, нежели перспективы. Его не тянуло вернуться памятью в квартиру у Синего моста, в каре перед Сенатом. Но еще не ясное будущее пробивалось сквозь темень. Он послужит отчизне, докажет, что идея и воля могущественнее казематов, унизительных допросов, государева коварства, Чем докажет?

Бестужев одержимо вгрызался в книги, уходил в науки.

Некогда они помогли распознать укоренившееся бесправие, противостоять ему, обрести славных единомышленников. Так пускай дадут ариаднину нить в грядущее.

Два месяца, и читаются без словаря Шиллер, Гёте. Увлекаясь естественными науками, принялся за Гумбольдта, Франклина…

Часами валяется с книгой, трубкой. Пока вечернюю тишь не нарушит дробный, как у дятла, стук в раму. Пряча самодовольную улыбку, идет со свечой в сени, отодвигает засов. Анахорет из него не получился; обритая голова не помогла…

Когда нет сердечного жара, надо довольствоваться телесным теплом…

Воображение якутских дам и девиц потрясено стихотворными экспромтами ссыльного поэта, игривыми строками в альбомы, пламенной откровенностью в духе Гафиза:

Прильнув к твоим рубиновым устам,

Не ведаю ни срока, ни завета.

Тоска любви — единственная мета,

Лобзания — целительный бальзам.

Нужды нет, что северные красавицы слыхом ее слыхивали о Гафизе, что четверостишие — перевод из Гёте.

Женщины примиряют Бестужева с Якутском. Захолустье как захолустье; лавок много, товаров мало, улицы, когда стаял снег, широки, жители не менее богомольны и не более безнравственны, чем повсюду.

Стихи посвящаются не только дамам, но и мужчинам, строки, не подлежащие, как правило, оглашению в смешанном обществе.

Одни стихотворения списывают женщины, другие — мужчины. И все довольны. Кроме автора.

Нет недостатка в поклонницах и в приглашениях. Но что за мизерные победы! Пушкин числил его среди первых стихотворцев. Ему ли пробавляться альбомными пустячками, амурными виршами!..

Весной Бестужев отрешенно бродит среди могил Якутского монастыря. Под общей плитой покоятся отец и сын Михалевы. Подумалось:

Счастливцы!
Здесь и там не знали вы разлуки…[32]

Разлука с близкими — самое тяжкое его наказание. Крест, который нести до гроба.

А для якутского «света» Бестужев — государственный преступник, смирившийся со своей долей ссыльного, поэт, готовый звучными строфами славить знакомых, человек ученый, книжный, однако с живым умом и энергией, не чуждый земных радостей. По собственному выражению, он в Якутске — «модная картинка»…

Весной «модная картинка» сажает цветы, рыхлит грядки. Бродя по городу, вслушивается в разговоры. Его все более занимают туземцы: Они — тоже Россия. Но еще загадочнее, чем русские крестьяне, сопровождавшие обозы. У мужчин и женщин одинаковые одежды из заячьего меха, оленьих шкур. В жилищах холод, грязь, дурной запах. Не умываются, носят платье, пока не распадется лохмотьями. Он рисует аборигенов в праздничных нарядах, шлет «виньеты» братьям в Читу.

Зажав нос платком, входит в юрты, затевает разговоры. Многие пороки переняты у русских. (Жители города видятся ему теперь не столь безобидными, как вначале, — доносительство

процветает, сплетни — непременны…) Якуты же гостеприимны, сноровисты в рукоделии, честны, сообразительны.

С началом лета, оно наступило раньше обычного, — ружье за спину и в тундру. Ружье не у конвоира — у тебя самого. Для человека, сидевшего под стражей, это кое-что значит.

Вышел на рассвете, странствовал по тундре без цели, но со смутной надеждой. Где-то жил старый якут, помнивший многие сказания.

Старик закурил длинную трубку, Бестужев — короткий, изогнутый чубук. Он уже сносно понимал по-якутски, если что-либо не понимал, останавливал рассказчика рукой.

Сговорившись с возлюбленным, женщина притворилась мертвой, завещала, вопреки обычаю, не вешать гроб на деревья, а закопать в землю. Ночью влюбленный разрыл могилу, любовники счастливо соединились. Однако налетели злые духи, шаманы и погубили их…

Он поблагодарил старика, звавшего его заночевать в юрте, разложил возле тлеющего костра оленьи шкуры. Тучи комаров, не страшась дыма, звенели над головой.

Встал чуть свет — не выспавшийся, искусанный и — довольный. К обеду добрался домой. В сенях стянул грязные сапоги, надел мягкие туфли, прошел в зальцу.

На подоконнике лежала почта. Журналы, петербургские газеты; писем не было. Почту сложил на стул, стул подвинул к постели.

Газеты просматривал бегло, рассеянно листал журналы. Протер глаза. «Московский вестник» в разделе «Литературные новости» оповещал читателей:

«Нам обещают скоро национальную поэму неизвестного автора «Андрей Переяславский». В ней много мест живописных, красот истинно поэтических, иногда обнаруживающих перо зрелое. Просим заранее читателей смотреть на нее без предубеждения, к которому, вероятно, приучили их наши неутомимые эпики».

Оттолкнул стул, журналы и газеты рассыпались по полу, трубка упала. Бред какой-то. Самоуправство. Зачислили в неизвестные авторы, отвалили сомнительные комплименты, воровским способом добыли рукопись и будут печатать. Кусай локти, бей посуду, рычи от злости…

Друзья в форте «Слава» судили — теперь-то он уверен, справедливо — поэму. Как возликуют недруги! В «Андрее» уйма исторических и всяких ошибок, огрехов, части не связаны между собой.

Бестужев ступал по газетным листам, под ногами шуршали

журнальные обложки.

В новой почте жди поучений и разносов «неизвестному автору»…

«Московский телеграф» не заставил себя ждать, рецензия не вполне ругательная, но обидная. Автора поэмы, как школяра, ловили на ошибках, не отказывая в даровании, дотошно вели счет слабостям…

Чудеса творились с его сочинениями, да и только. Еще в мае он прочитал в «Невском альманахе» за 1827 год свой рассказ «Кровь за кровь», кем-то переименованный теперь в «Замок «Эйзен». Как рассказ залетел к Аладьину, издававшему «Невский альманах»?

«Замок «Эйзен» печатался в таком виде, в каком был оттиснут в корректурных листах, оставленных им утром 13 декабря 1825 года Оресту Сомову. Сомов сберег листы? распорядился «Замком» в намерении помочь деньгами Прасковье Михайловне?

Так или иначе, вопреки своему желанию, он снова вовлечен в литературные баталии. Вовлечен с опущенным забралом. (Рецензент «Московского вестника» [33] писал, что о создателе поэмы в Москве ходят разные толки, видимо, допускал авторство кого-либо из декабристов и, возможно, поэтому обходил идеи, ради которых сочинялся «Андрей Переяславский».)

Все это вызвало двойственные ощущения. С одной стороны, нежелание сочинять: кто угодно украдет стихи, строчки. С другой — не попытаться ли завершить «Андрея»?

Но вставали неодолимые препятствия — отсутствие нужных книг, материалов. Исторические пиесы из головы не пишутся.

Бывают, правда, и сочинения легкого рода, наподобие «Дон Жуана». Попробовать? А чем дурен сюжет легенды, рассказанный старым якутом?

Он ходил по комнате, затягиваясь трубкой, полировал ногти о борта куртки, потом невидяще уставился в окно.

За мутной слюдой мчались арабские скакуны, рвалась шрапнель — таяли черные облачка, — зловеще лязгая, скрещивались сабли, с вершин низвергались седые лохмы водопада…

6

Бестужев уносился в миражные дали, не видя в этот час ухабистой безлюдной улицы.

Ямщик придерживал загнанную пару. Фельдъегерь с облучка взывал к редким прохожим: где квартирует государственный

преступник господин Бестужев?

Увидев в дверях худого, лимонно-желтого Чернышева, Бестужев онемел. Они смотрели друг на друга с одинаковым молчаливым состраданием: укатали сивку крутые горки.

А каково там братьям в читинской каторге? Захар Чернышев пренебрег фельдъегерем:

— Мишель и Николай шлют поклоны. В добром здравии…

Вихрь радушия захватил Бестужева: готовить стол, разгружать багаж, дать помыться.

Баня не согнала желтизну с лица Чернышева. Он побрился, старательно повязал галстук, надел сюртук, не помявшийся и в дорожных передрягах.

Чернышев привез самое бесценное — подробности каторжной жизни братьев, которые не доверишь люто цензурируемым письмам. Читинский комендант Лепарский — службист, близок к императору, но сердоболен; командир инвалидной роты, несшей караул, Степанов — по нраву и внешности вылитый Аракчеев (не побочный ли сын?); начальник нерчинских заводов Бурнашев — заплечных дел мастер… Питание? Кормовых три копейки ассигнациями на день и два пуда муки в месяц… Николай и Мишель сперва спали на общих парах, каждому — не более метра. В новом каземате попросторнее, деревянные кровати. Сгодились золотые Николаевы руки — чинит и шьет товарищам башмаки, фуражки, латает одежду, вяжет чулки и носки. Мишель — ему помощник; весел, общителен. Не изменяют братья своим литературным увлечениям: сочиняют, читают вслух. Николай по памяти нарисовал портреты-миниатюры родителей, старшей сестры и Любови Ивановны.

Все до удивления отлично от его, Александра, пустых якутских будней. Каторга, сберегшая живые души братьев…

Однажды вечером Чернышев по-английски рассказал о «черниговце» Сухинове, вознамерившемся поднять мятеж на Зерентуйском руднике, вызволить каторжан в Чите и Благовещенске, бежать по Амуру. Сухинов был предан, приговорен к расстрелу, опасаясь плетей наложил на себя руки…

Читинские братья, новости с каторги поддерживают Бестужева в раздумьях о литературе. Ее герою дано превозмочь поражение, любые муки. Когда он возобладает в повестях и поэмах, российская словесность продолжит дело тайного общества, будет споспешествовать бескровному искоренению пороков, торжеству высоких истин… Самое прекрасное — весть о женах, добравшихся до сибирских острогов.

— Это может примирить с надменным и низким человеческим родом! — сдерживая слезы восторга, вымолвил

Бестужев.

— Примирить? — удивился Чернышев. — Слишком много низостей вынес каждый из нас, попав во власть судей, комендантов, фельдъегерей, чиновников, стражников.

— Высокие образцы очищают и умиротворяют душу.

Но умиротворение быстро иссякло: братьям не ждать своих спутниц. Не слышно, чтобы Анета Михайловская спешила к Мишелю; Николай — он догадывался — не переписывается со Степовой. Не для братьев Бестужевых семейное счастье.

Он подумал и о том, что якутяне, с которыми завязал знакомство, никогда не станут близки; свои — только те, кто хлебнул казематной похлебки, изведал тяжесть металлических браслетов, кто обречен на сибирскую каторгу либо кавказские роты. Полгода в Якутске, до приезда Захара, — одиночество среди людей.

Наверстывая, он выкладывал Чернышеву («любезному графу», «милому Захару», «славному ротмистру», свои мнения. О сибирских богатствах, кои должны послужить России. О народах, населяющих северные края (их губят невежество, водка, скверные обычаи; потребны разумные меры, медицинские знания, поощрение смелых, искусных охотников). О судостроении, прокладке дорог, добыче полезных ископаемых…

— Тебя бы, Александр, сибирским губернатором, — дивился Чернышев многообразию сведений, накопленных Бестужевым. — Сколько среди наших сотоварищей всяческих талантов! Ученые, стихотворцы, художники, военачальники, государственные мужи! И всех — в оковы, в каторжные рудники, в солдаты…

— Не считая… — Бестужев красноречиво растопырил пятерню. — Царю таланты не ко двору, ему подавай льстецов и холуев.

Захар образован, умен, не робкого десятка. Член Следственного комитета надушенный и завитой, как парижская кокотка, военный министр Чернышев обратился на допросе к нему: «Comment, cousin, vous etes coupable aussi?»[34]В ответ, как хлыстом: «Coupable, peut-etre, mais cousin jamais».[35]

Ежели бы «кузен», к министру отходит майорат — десять тысяч крепостных, которые Захар должен был унаследовать. (Генерал Ермолов не сдержался: «Что же тут удивительного? Одежда жертвы всегда и везде поступала в собственность палача».) Каторги для декабриста он добился (два года скостили до одного, по отбытии обращен на поселение в Якутск), но поместье и крепостные от «палача» уплыли, — родство было сочтено недостаточным.

При знатности происхождения внешность у Захара

Чернышева не слишком аристократическая. До ареста — налитые, розовые щеки, волосы в беспорядке. Сейчас, отощав, спал с лица, желтизна сменила румянец, улеглась шевелюра. Но утонченности в чертах не добавилось.

Бродя с ружьем по окрестностям Якутска, Бестужев отошел после форта «Слава» и казался богатырем рядом с заморенным Чернышевым. Теперь, обедая, он заботится, чтобы тарелка Захара не пустовала, с летней ярмарки несет домой овощи. (Покупает также провиант и одежду для Матвея Муравьева-Апостола, с оказией шлет в Вилюйск…)

В неторопливом застолье сибирские темы сменяются кавказскими.

Бестужев молится о победе русского оружия в турецкой войне, завидует младшим братьям Петру и Павлу — на Кавказе им даровано доказать свою верность отечеству, потягаться с бесстрашными турками, отчаянными горцами.

Захар согласен — надо проучить Порту, осесть на побережье Черного моря. Для них, декабристов, единственный путь в Россию — через Кавказский хребет.

— О чем ты? — Бестужев перестал полировать ногти.

— Надо бы отличиться в битвах. Возвратить себе офицерский чин, благосклонность императора.

— И вернуться в Петербург!

— О том и мечтаю.

Чернышеву дозволительно мечтать: осужден по седьмому разряду, на Бестужеве — несмываемая отметина первого.

* * *

Бестужев подыскал дом на двоих. У каждого своя половина с залом, столовой, буфетной, чуланом, сенями. В месяц по тридцать рублей, пять рублей человеку.

Жизнь входит в более ровную — спасибо Чернышеву — колею.

Когда Александр утром подолгу валяется в постели, Захар, дурачась, стаскивает его — завтракать! Около часу — обед. За кофе — разговор о Чите, о петербургских вечерах, о старине, о столичных новостях, дошедших с опозданием. В шесть — чай, в одиннадцать — ужин.

Теперь у них недурная библиотека. Бестужев просит сестру выслать очередные главы «Евгения Онегина», первые две учит наизусть. Однако новый Пушкин, не в пример старому, ему далек.

— Не внял моим увещеваниям, — жалуется он Чернышеву.

«Первый консул» не склонен подражать сатирам Байрона, не стремится к идеальному, его герой удручающе обычен. Разве такие, как Онегин, потребны времени и России? Разве они заменят неудачливых заговорщиков?

Но они толпятся в салонах, фланируют по петербургским тротуарам. Как пренебречь сущим? В политике? В поэзии?

— Идеал постоянен и абсолютен, — упорствует Бестужев. — Недостижим сегодня? Тем хуже для сегодняшнего дня. Но сие ничуть не умаляет идеала. Жалка поэзия, копирующая салопы и улицы. Ее истинный предмет — не сущее, а долженствующее быть. Отстаивая возвышенное, поэзия совершенствует жизнь.

Захар не очень-то верит в подобное совершенствование. Однако избегает возражений. От спора недалеко до ссоры. Знает, как избежать напрасной полемики.

— Почитай, пожалуйста.

Из якутских стихов Александра Чернышев всего более ценит «Череп». Сравнивает его с байроновской «Надписью на кубке из черепа», противопоставляет — в пользу Бестужева — «Черепу» Баратынского.

— Неужто читающая публика наша не увидит «Череп», созданный в Якутске? — Чернышев вкладывает в свой вопрос ту меру негодования, какая ему доступна.

Бестужеву не хочется объяснять, что «Череп» он отправит Ленхен, Елене Ивановне Булгариной, в слабой надежде напечатать.

Что публика? Для «Черепа» надобно улавливать трудноуловимое, распознавать отвлеченные понятия. Нужен вкус, приученный к романтизму. Бестужева подхватило, снова выносит на стезю, где ему трудно договориться с Захаром. Публика не самостоятельна в своих влечениях и творит кумиров, ее бог, бог моды — Пушкин, отрекшийся от романтизма.

— Отрекшийся, — со значением повторяет Бестужев.

— Пушкин познал ссылку, когда все мы наслаждались волей, — вступается Чернышев за поэта.

— Наслаждались волей, — кипит Бестужев. — Вернее, вожделенно мечтали о ней, приуготовляли… И добились тяжкой неволи… Но не будем об этом.

— Не будем, — подхватывает Захар.

Уместнее темы, где они едины. Чернышев возмущен публикацией «Андрея Переяславского». Поддержал намерение завершить поэму, вернуться к поэтическим пиесам. Но удивлялся балладе «Саатырь»: любоваться дикими нравами?

Бестужев, воспламенившись, заговорил о красоте легенды, своеобразии северных племен, об искусном рукоделии, отважных

звероловах, о весеннем якутском празднике Исых…

Напомнил завет Пестеля, возгласившего в «Русской правде» по поводу кочевых племен Сибири: «Да сделаются они нашими братьями и перестанут коснеть в жалостном их положении».

Пускай Захар не думает, будто уловил разлад между бестужевским стремлением к идеальному в поэзии и интересом к низменному в жизни. Он отстаивает идеальное в словесности как противовес низменному в ежедневном обиходе.

Бестужев готов кое-что сказать о вине русских чиновников и торговцев за плачевное состояние кочевников; водка и спирт изобретены не якутами.

Захар все равно сохранит презрение к дурно пахнущим кочевникам. Брезгливость овладевает человеком и о слабее, чем идея.

Они обмениваются дружелюбными улыбками; Бестужев заваривает чай, подставляя расписной чайник под крученую струйку медного самовара. Чернышев с чувством начинает:

Кончины памятник безгробной!

Скиталец-череп, возвести:

В отраду ль сердцу ты повержен на пути,

Шли уму загадкой злобной?

Глядя на пар над кружками, Бестужев подхватывает:

Не ты ли — мост, не ты ли — первый след

По океану правды зыбкой?..

Чернышев не бросит с Николаевой прямотой: «Ты должен писать», но всем видом, вниманием к строкам, вышедшим из-под пера Бестужева, побуждает к сочинительству.

О чем писать, однако? Для кого? Чего ради?

Якутская жизнь все более обнажает свое убожество. Ум круглогодично на точке замерзания, движутся только желчные страсти: корысть, зависть, тщеславие. В царстве спячки откуда взяться порывам к поэзии? Писать сухую прозу, которая пойдет на оклейку стен?

Если не на оклейку? если — не сухую?

Он слушает предания о Войнаровском, выспрашивает о

графине Бестужевой, некогда высланной в Якутск императрицей Елизаветой. Снова наведывается к старику якуту, заносит на бумагу услышанное от кочевников и охотников, ведет записи о сибирской природе…

На вопрос брата Петра о северном житье-бытье отвечает коротко: «Полярный круг, конечно, не Венерин пояс». Павлику пишет назидательно: «Прости, не напоминаю тебе о храбрости, если ты находишься в рядах русских; не напоминаю о прямоте — ты Бестужев, напоминаю об одном хладнокровии: оно — око в битве и в мире».

Но самому недостает этого «ока в битве и в мире». Будь хладнокровнее, заметил бы: Чернышев, сохраняя дружество, отчего-то тяготится совместным проживанием.

В октябре морозы затянули оконную слюду. Однако в избе жарко, старик Наум, «Личарда паш», дров не жалеет. На столе сверкает начищенной медью самовар.

Они с Захаром почаевничали, блаженно развалясь в креслах, сосут трубки.

— У меня родился счастливый прожект, — Бестужев хочет заинтриговать собеседника. — Будущим летом сделать пристройку — общую с двумя входами комнату для обедов и чая.

Захар медлит с одобрением, вопреки заведенному, называет его Сашей.

— У меня, Саша, иные виды… Хотел бы найти для себя другой дом.

Бестужев вздрогнул, трубка погасла.

Захар довольствуется коротким: «Здесь тесно двоим».

Бестужев зовет на помощь гордость.

— Ты прав, Захар Григорьевич… Живи тут.

— Ни за что! — Чернышев выложил главное, остальное не составляет труда. Нет силы, какая бы порушила их союз. Этот дом останется Александру; Чернышев будет частым гостем…

В начале января двадцать девятого года Захар поселяется на новой квартире, в первый же вечер прибегает пить чай.

Но ударили жестокие морозы, и уже не до визитов.

Одиночество нагоняет тоску. Давно нет писем от Павла и Петра. Красна смерть во славу отечественного оружия, но все равно — смерть.

Когда закутанный по глаза шарфом Чернышев после долгого отсутствия приходит в гости, Бестужев ошарашивает его своими суждениями о славе. Во что она обходится? Не грех посчитать жертвы, какими оплачены лавровые венки великих триумфаторов. Грядет день, и водрузят статуи Румфорду, Фультону, им подобным на освободившихся подножиях истуканов Юлия Цезаря

и Александра Македонского…

— Македонского? — теряется Чернышев.

— Забияки Македонского. Наш Петр Великий — не нам чета, гигант, созидатель…

Младшие братья, выясняется из письма, живы, сражались при Ахалцыхе, Бестужев спешит к Захару с отрадной вестью. Настолько ею полон, что не слышит слов Чернышева о возможном переводе на Кавказ.

Лишь дома сообразил: Захар вскоре уедет, он снова один, один, один.

Одолевая хандру, Бестужев шлет стихи Булгариной и сестре Елене, — пускай попытаются напечатать. Елена должна хлопотать об издании его сочинений, о разрешении альманаха вроде «Полярной звезды». Он даст прозу, стихи и критику. Это в соответствующих выражениях (подсказывает, в каких именно) следует разъяснить графу Бенкендорфу. Все будет миновать две цензуры, он отроду не обнародовал ничего, где бы не сохранены были нравственность и вера…

Завязывает переписку с Булгариным, предложившим стать годовым сотрудником…

Приспело время напомнить графу Дибичу о его великодушии и обратиться с просьбой — «равно покорной и пламенной… о дозволении вступить… рядовым под знамена, коим вы указываете след к победам… Ищу только случая пролить кровь мою за славу государя и с честью кончить жизнь, им дарованную…».

Надо набраться терпения и ждать в этом море весенней грязи, где тонут дрожки и один инвалид промышляет тем, что удит башмаки и галоши.

Еще осенью отыскана могила Анны Гавриловны Бестужевой, урожденной Головкиной, — все заросло травой, крест сгнил. Из ревности Елизавета велела высечь Бестужеву кнутом, отрезать язык, сослать в Якутск. Бумаги графини, хранившиеся в здешнем архиве, какой-то вандал употребил на оклейку своей спальни.

Ему мерзки эти люди, не умеющие сберегать память в бесценные свидетельства (от Войнаровского ни надгробья, ни креста). Уж лучше жители тундры, их первозданный и жестокий быт.

Бестужев откинул полу у входа в юрту знакомого тунгусского охотника.

Он любил и умел воображать ужасы, вызывать привидения, судачить с нечистой силой, с улыбающимися черепами. Но то была выдумка, которой не грех поперчить повесть, стихотворение… Дома, уняв дрожь, бьющую тело, Бестужев с хладнокровной приметливостью занес все в толстую тетрадь с

твердым переплетом и надписью «Рассказы о Сибири».

«Вхожу, у меня замерло сердце! Жена его оледенела над грудным младенцем, который лежал у ней на коленях и умер, не находя молока в истощенной груди. Старшая дочь лежала на погасшем очаге, желая, конечно, погреться на угольях, которых не могла раздуть от слабости. Мальчик лет двенадцати закоченел, грызя ремень обуви. Судорожная тоска видна была на всех лицах и во всех членах, особенно в поднятых к небу глазах матери. Должно быть, ужасное происшествие случилось месяца два назад, потому что ветром навеяло в трубу много инея и мертвецы сверкали им. Хозяин, я полагаю, погиб от метели на ловле, а семья — дома от голода…»

Безмерно опасна жизнь охотника, но он ей верен! И заслуживает тем сострадания, уважения. Истинная любовь к отечеству — любовь ко всем его племенам. Даже когда они — парии.

Этим открытием он обязан Якутску, мертвой хижине тунгусского охотника.

Захар Чернышев уехал, и некому прочитать отрывок, от которого содрогнется даже каменное сердце.

Пустота. Ее нежданно-негаданно заполнил физик Георг-Адольф Эрман.

Молодой немецкий ученый затеял кругосветное путешествие, исследуя земной магнетизм и ведя астрономические наблюдения. В Якутске доктора Эрмана не так поразили северное сияние и капризы магнитной стрелки, как ссыльный русский поэт, изъяснявшийся на европейских языках, читавший по памяти из Гёте, Байрона, Шиллера, Мицкевича…

Доктор восхищенно размахивал короткими ручками, тряс лысеющей головой, внимая бестужевским «Рассказам о Сибири». Вскоре сообразил: судьба свела его с человеком, которому известно все или почти все о мятеже 1825 года. Бестужев наотрез отказался вспоминать о декабрьском предприятии. Однако доктор был упорен, и Бестужев не устоял.

Впервые он вернулся мыслью к дням, предшествовавшим выступлению на Петровской площади, к самому 14 декабря, и поразился. Дни эти озарял слепяще-яркий свет, что не погас и не погаснет. Сколько изобретательности, благородства, отваги было явлено!

О нет, такое не минет бесследно, не «исчезнет в бездонной мгле».

Бестужев вспоминал, казалось, ушедшие подробности, слышал запальчивые речи, словесные поединки, вспыхивающие жарким пламенем. Видел гордые лица, уверенные жесты, мудрые

улыбки…

Минувшее властно захватило его, он не замечал собеседника и менее всего подозревал, что воспоминания, какими делится в якутской избе с милым немцем-естествоиспытателем за бутылкой «Мозельвейна», станут достоянием многих — земляк Эрмана, известный писатель Адельберт Шамиссо, создаст поэму «Изгнанники»: о Войнаровском и о Бестужеве…

* * *

Из двух начинаний, замышленных Бестужевым в часы отчаяния, одно провалилось, но другое…

Хлопоты Елены, неутомимой Лиошеньки, относительно издания сочинений брата, выпуска альманаха разбились о неприступную твердыню, — резолюция графа Бенкендорфа гласила: имя Александра Бестужева «пребывает еще у всех в столь свежей памяти», что «может произвести неблагоприятное влияние в публике». Запрет Дибича на имя Бестужева подтвержден авторитетом шефа жандармов, начальника III Отделения, любимца императора. (Невелика новация: Бестужев ждал этого, слал стихи, желая публиковаться без подписи.)

Письмо, направленное графу Дибичу, прибыло в Петербург после отъезда адресата во вторую армию, и дежурный генерал-адъютант Потапов отправил ему копию, снабдив ее припиской: «По чувствам моим, письмо Бестужева достойно прочтепия Вашего». В середине апреля 1829 года оно было доложено Николаю.

На исходе марта чутье арестанта, ссыльного подсказывало Бестужеву: надо ждать перемен. Хуже, пустыннее, отдаленнее не будет.

Подготовку к отъезду он начал с посылок братьям в Читу. Куртка зеленого сукна на лисьем меху, серые брюки тонкого сукна, летний сюртук из нанки. Каждая вещь зашита в простыню, опечатана сургучной печатью с литерами «А. Б.». Как распорядиться венгеркой, что перешита ив синего сюртука? Лучшим его нарядом? Венгерку оставляет себе.

В мае приходит бумага о переводе. Куда — не сказано.

Следом — сокрушающее известие о смерти Грибоедова. Скорбь рождает безутешность и величественные образы:

«Молния не свергается на мураву, но на высоту башен и на главы гор. Высь души, кажется, манит к себе удар жребия. Доблесть человеческая осуждена гибнуть в цвету…»

Печаль омрачает сборы. А откладывать нельзя. Велено быть

готовым к отъезду.

Сорок шесть томов (из них семнадцать Шиллеровых и шестнадцать латинских классиков) отправлены матушке.

Пожитки собраны, возок фельдъегеря замер под окнами.

В Иркутск, там укажут место назначения.

Он не наносил прощальных визитов и не оглянулся, когда купол деревянной колокольни расплылся в молочно-белесом небе.

7

Давно такого не бывало: чуть утро — где перо? Не сошел сон, тело ломит от вчерашних колдобин, за стеной раскатисто храпит фельдъегерь. Но еще не пробудилась, на счастье, изба почтовой станции, со двора не слыхать ржания лошадей, перебранки ямщиков, звяканья ведер… Медлительный носатый фельдъегерь диву дается: не в Петербург ведь мчим к молодой жене, не к теще на пироги. Преступник-сумасброд выбирает дороги абы покороче да попрямее. Горную стежку, где не разминуться со встречным, на лодке против быстрины, по карнизу над бездной. Пятнадцать верст отмахал с порванными подпругами — места не было соскочить с коня… На что фельдъегерь — тертый калач, но такого оглашенного ему сопровождать не доводилось. Здоров как бык: целый день в седле — и все нипочем. Прикорнет чуток и марает бумагу; считал, верно, будто фельдъегерь беспробудно спит и ничего не видит. Что надлежит — видит, и в бумажки изловчился залезть. Одни исписаны не по-нашему, на остальных — вкривь и вкось короткие строчки по-русски.

В первые же дорожные часы в Бестужеве очнулась дремавшая последние годы жажда сочинительства.

«Вы ничего не видали, не видев Лены весною; это прелесть! За каждой излучиной новая картина, новое очарование. Вообразите разлив вод, которому впору гомеровское выражение: поток-океан, высоко упершийся в утесы и отражающий лесистые вершины их в своем зеркале. И все дико, и все тихо. Не голос человека — один рокот грома смущал там порой сон полупробудившегося творения… И как величава гроза над этим краем! Молния то расшибалась о череп скал, то жар-птицей купалась в кипящих, мутных валах. Кедры падали, как тростник под тяжелым полетом туч, а возмущенный бор плескался и выл, как море. Но зато как мирно, как радостно выходило утро на крыльцо гор, сыпля рубины с крыльев своих…»

Путевой дневник? Но тогда — системность, больше строгости. Как у доктора Эрмана: с кем видался, что открыл, прильнув к телескопу, как фокусничает магнитная стрелка. Вместо дневника — удачная находка! — письмо к доктору Эрману. Никакого вздора. Сведения, способные занять ученого мужа. А чтоб они не слишком интересовали сующего всюду свой меланхолический нос фельдъегеря — по-французски.

В стихах — тоже о природе.

…Картина эта преследовала месяцами: грозный поток,

низринувшийся с высей. Водопад — неутолимое беспокойство, мощь, обреченная падать, разбиваясь о камни. Участь доблестных…

Образ мерцал, однако слова ускользали, Бестужев рвал черновики с вялыми строками.

Дорога вела к Щебутую — водопаду Станового хребта. Час стоял у водопада, второй, удивляя фельдъегеря своей отрешенностью. Ночевку облюбовал неподалеку. Гулкий рев воды пробивался сквозь сон.

Рассвело — первый набросок. Назавтра — новый. В Иркутске — чистая комната с бревенчатыми стенами, высоким потолком, окно в сад — утром, повернувшись на пуховике, потянулся к бумаге. Затеплил свечу: нужды в ней нет, но похоже на давнее петербургское утро. Последнее утро…

Когда громам твоим внимаю

И в кудри льется брызгов пыль —

Невольно я припоминаю

Свою таинственную быль…

Тебе подобно, гордый, шумный,

От высоты родимых скал

Влекомый страстию безумной,

Я в бездну гибели упал!

Занеся на бумагу строфы (отделает потом) и не вставая с постели, тянется за свежим листом для описаний, обращенных к доктору Эрману. Тут уж путешествие можно расцветить: встречи с медведями — «мохнатыми князьями дебрей», не то с двумя, не то с тремя (не считал), падения с крутизны. Забавные пустяки странствования…

* * *

В канцелярии иркутского губернатора чиновник, не поднимая головы — овальная плешь в венчике редеющих волос, — бубнил: высочайшее распоряжение… Кавказский корпус… рядовым… без

фельдъегеря… подорожная… погонные… рапортоваться в штабе графа Паскевича…

Ветер с Ангары гнал пыль по пустынной улице.

«В день св. Петра я был уже в Иркутске…» — писал Бестужев в письме к Эрману.

Братьям в Читу: «Лечу к стенам Арзерума…»

Из холодной Сибири — в теплую.

Дорога дарила бодростью. Когда быстрее — вольготнее на сердце. На поселение с Матвеем Муравьевым-Апостолом они плелись по ступицы в осенней грязи, медленно утюжили ухабистый зимник. Понурые обозы, черные деревеньки. Воображение распалялось для того лишь, чтобы нарисовать жизнь более отрадную, чем увиденная.

Это он и втолковывал Матвею Ивановичу. Тот обдумывал его слова, сперва про себя, потом — вслух. У литературы — кто спорит? — великий жребий, ей дано воспарить над убогостью бытия. Но только ли героическими образцами, надзвездным полетом жива словесность? Пренебречь мужиками, сопровождающими обоз? Творить сплошь рыцарей и злодеев? Отвернуться от жребия, какой сужден тысячам?.. Заговорщики отстаивали волю для этих тысяч, однако их постигла неудача. Быть может, вникая в обнажившуюся перед ними жизнь, авторы из когорты заговорщиков поймут истоки краха на Петровской площади? Воспевая мечту, рожденную высокой фантазией, не сократить бы им свой сочинительский век…

Не раз в Якутске Бестужев задумывался над этими суждениями Матвея. Развивая их, следовало, вероятно, признать, что книжных рыцарей без страха и упрека защищает сочинитель, не обретший своего героя среди соплеменников. Не нашел желаемого и уносится в поднебесье.

Бестужев пережил крушение планов, выношенных у Синего моста, писал стихи о горькой доле. Но — поэт-неудачник? Все восставало против досадной роли. Особенно теперь, когда в стремительном путешествии он испытывал подъем нерастраченных сил.

«…Я на миг въехал в Европу, чтобы снова покинуть ее. Ровно через месяц от холмов Саянских я уже был под тенью Эльбруса и Бештау».

Почтовый тракт кончался в Екатеринграде. Отсюда шли земли, где без казачьего сопровождения не показывайся. И оно не всегда спасало, — чеченцы вырезали охрану.

После Владикавказа дорогу стиснуло Дарьяльским ущельем, каменные глыбы нависли над головой, пахнуло холодом.

Проем раздался, посветлело, справа уже вздымали снеговые

холмы…

Лошади, спотыкаясь, брали крутизну Военно-Грузинского шляха, камни из-под копыт долго катились по склону, прежде чем их заглатывал Терек.

Пробужденный рассветом — блеяли овцы, лаяли собаки, — Бестужев нагнулся к чемодану с бумагой, уложенной поверх вещей. За окном впереди розовел в ранних лучах солнца Казбек: протяни, кажется, руку — упрешься в ледовый панцирь. Пониже на покатой макушке — монастырские башни.

К нему вернулось одушевление, родившееся еще вчера, когда кони вступили в тенистый распадок Дарьяла.

Сладко потягиваясь, Бестужев вышел на улочку и стоял, вслушиваясь в неумолчный шум горного потока. Терек, розовеющий Казбек, монастырь Святой Троицы — едино. Могучий мир, открывающий ему объятия.

— Ты, барин, знать, желанен Кавказу, — заговорил с ним случившийся рядом казак; босой, но с ружьем за плечами. — Примета есть: от нежеланного гостя Казбек укрывается облаками…

Он заселит аулы, каменистые берега, сакли своими новыми героями — сынами Кавказа.

В час ранней, утренней прохлады,

Вперял он любопытный взор

На отдаленные громады

Седых, румяных, синих гор…

Дальнейшие строчки вылетели из памяти. Миновав их, Бестужев заставил себя вспомнить остальные.

У ног его дымились тучи,

В степи взвивался прах летучий:

Уже приюта между скал

Елень испуганный искал;

Орлы с утесов подымались

И в небесах перекликались;

Шум табунов, мычанье стад

Уж гласом бури заглушались…

Пушкину-романтику близки величие и вольный ветер Кавказа, родство гор и бури. Создав «Кавказского пленника», Пушкин одухотворил горы; с человека, прикоснувшегося к ним, падали оковы светской суеты. Узрел бы поэт снова обрывистые вершины, увенчанные старинными башнями, услышал рокот Терека и, как в былые времена, обратился бы к идеальному, отверг никчемного Онегина, глухого к великому в жизни и в природе…

Босого казака распирает от новостей с Военно-Грузинской дороги. Позавчера горцы увели в плен доктора; отбили, невзирая на конвой и пушки, купеческий табун; при проезде Хозрев-Мирзы ранили нукера. Весной была и вовсе забавная история, — казак заранее фыркал. Из Петербурга поспешал фельдъегерь — невзрачный, коротышка, но смельчак. Не захотел ждать охраны, — быстрее в Тифлис. Пуля пробила сумку с бумагами, вторая угодила ямщику в то место («Вы уж извините, ваше благородие»), откуда ноги растут…

Бестужеву не захотелось оставаться в долгу у казака. Он рассказал, как четырнадцать человек, сопровождавших его на речке Белой, возвратясь на пост близ Ардона, были атакованы тремястами наездниками (кто их считал? однако цифра внушительная). Целый час казаки отстреливались из-за укрытий. Но полил дождь и замочил ружья. Черкесы ударили в шашки, изрубили на куски русских, лишь одному посчастливилось спастись…

Подали завтрак (сыр, терпкая зелень, плоские лепешки белого хлеба, вино), кормили и взнуздывали лошадей. Бестужев делал короткие пометки для письма к доктору Эрману. А если расширить письмо, перевести на русский и — чем черт не шутит — напечатать? Никакого вздора, эпистолярные записи путешественника…

Дорога опоясывает горный кряж; там, где она расширяется, станции, смена лошадей, ремонт повозок.

Он слышит, не веря ушам своим, что на этой станции — на этой! — останавливался Пушкин. Кто говорит — час назад, кто — вчера. Какой Пушкин — Лев Сергеевич? Александр Сергеевич? Пожимают плечами…

Не дожидаясь, пока у повозки сменят колесо, сломя голову

скачет верхом, без сопровождения, не зная толком куда. Но дорога — одна: найдет, догонит!

То-то и беда: не одна.

Конь едва шевелит ногами. Дотянуть бы до Крестового перевала, до Коби. Неподалеку, в селении Квешети, резиденция правителя горских народов на Военно-Грузинской дороге майора Бориса Гавриловича Чиляева. На грузинский манер — Чилашвили. Для Бестужева Борис — друг и однокашник по Горному корпусу.

Чиляев радушно усаживает его за тот же стол, за которым недавно потчевал Александра Сергеевича Пушкина, а год назад — Александра Сергеевича Грибоедова…

Случай сыграл с Бестужевым дурную шутку, они разминулись; Пушкин, вверившись провожатому, поехал по новой околесной дороге…

Вернуться, догнать?

Чиляев не уверен в успехе.

— Не сетуй, Александр, но без охраны не пущу. Отдохни, мой дом — твой дом. — Чиляев подносит правую ладонь к газырям. — Для меня, поверь, счастье и честь принимать тебя.

В открытых карих глазах Бориса Гавриловича сочувствие, рожденное не только давней кадетской дружбой, но и знанием новой судьбы Бестужева.

Не суета надвигающегося застолья удерживает Бестужева, заставляет снять пыльные сапоги, отдать коия на попечение людям Чиляева. Вероятная встреча с Пушкиным вдруг утратила заманчивость. Поймут ли они ДРУГ друга?

В двадцать пятом году, когда чаялась поездка в Михайловское, надеялся — поймут. Близость была сильнее разногласий, было соседство на Парнасе.

Кто сейчас Александр Бестужев? Полузабытый сочинитель, чье имя исчезло с журнальных страниц, вчерашний арестант, поселенец, завтра — солдат, брошенный на убой…

Еще утром он восхищался Пушкиным. Вспоминал стихи, позабыв обо всем, горячил коня, мчась со склона на склон. Только бы свидеться. Теперь настроен иначе. В лучшие времена он не вернул Пушкина в лоно романтики, пример великой сатиры Грибоедова не побудил «первого консула» осмеять Онегина. Какие козыри извлечет сегодня из своего дырявого кармана?

Со двора доносится одуряющий запах шашлыка. Весь дом ходуном ходит. Люди в мягкой обуви скользят с подносами, вазами.

Не судьба встретиться с «первым консулом». Может, и к лучшему.

Однако он возразит Пушкину. Не в открытой полемике, не в письмах, которые пройдут через чужие руки.

Это будет поэма. Нет, скорее, повесть…

— …Твое здоровье, дорогой Александр! За твой неумирающий дар! За бессмертную поэзию!

Чиляев поднял оправленный серебром рог, до краев полный вина.

8

Царь удовлетворенно сощурился, услышав, что на Кавказе поэты разминулись; Пушкин и без того слишком много якшался с «друзьями по 14 декабря» (император сам придумал это название, находил его удачным и охотно им пользовался).

Покуда завиральные мыслишки роятся в чьей-то голове, угроза невелика, но при обмене мысли дозревают, расползаются, отравляя, как чума, организм. Поэтому Николай Павлович неустанно требовал наблюдать за связями людей.

Николай отменил прежний цензурный устав, раздражавший общество, вернул из ссылки первого поэта России и стал его цензором, снял обвинения с Грибоедова и пожаловал ему высокий пост. Он делал жесты, подтверждающие готовность не только карать, но и быть снисходительным. Именно жесты. Не связывая своих рук, расположить к себе сердца. Без шумных обещаний усовершенствовать правление и снискать поддержку общества.

«Наш ангел» — старший братец — насулил невесть что, взбудоражил умы, сообщил им вольтерьянское направление. Благоволил к масонам, не подумав, что всякое тайное сообщество рано либо поздно проникнется злоумышленными устремлениями. Потом, остерегаясь, начал пятиться назад. И дал новые аргументы заговорщикам.

Нет ничего соблазнительнее, чем, сев на трон, пообещать молочные реки в кисельных берегах, всякие сеймы, конституции. Однако по векселям надо платить. В политике банкрот — зрелище горшее, нежели в коммерции. Властитель, не сдержавший слова, губит себя в глазах подданных, сам рыхлит почву для всякого недовольства.

Александр взрыхлил, а Николаю в декабрьскую стужу собирать урожай. Целиком ли собран? Где-нибудь корешок остался, потянется росточек. Просыпайся средь ночи на своей солдатской кровати. Покидай, сдернув маску, веселый карнавал…

Стратегия, намеченная императором относительно Пушкина, требовала сузить круг нежелательных соприкосновений поэта,

укоротить путешествия, не пускать далее российской границы. Встреться Пушкин с Бестужевым, без подстрекательства не обойдется. От вредных разговоров надлежало оградить и Александра Бестужева.

Он вызывал у императора ненависть, усиленную настороженностью. Более всего из-за послания на высочайшее имя. Благодаря ему Бестужев-второй попадал в категорию людей, от которых жди чего угодно, прежде всего — злонамеренных выходок против престола.

Однако государственные соображения понуждали принимать в расчет талант и ум этой отвратительной для Николая человеческой разновидности, думать о преступнике Бестужеве, имея в виду свой дальний прицел, хитроумную стратегию.

Похерив прожект лукавого старца Мордвинова, император, тем не менее, ощущал нехватку политических дарований подле себя, голов, способных на что-либо более ценное, чем подобострастие и карьерные ухищрения. Он велел рассмотреть записку о реорганизации флота, составленную преступником Торсоном, вдумчиво читать бумаги, поступающие из одиночного каземата Батенькова.

На читинскую каторгу прискакал фельдъегерь и увез Корниловича обратно в Петербург, в крепость. Четыре года с лишком арестант Корнилович писал свои заключения о разных сторонах российской жизни. Бумаги ложились на зеленое сукно императорского стола.

Николай был вынужден использовать умы и таланты злоумышленников. Не сказать, чтобы то была прямая зависимость от них, но нечто обидно смахивающее на нее усматривалось. Он распорядился собрать в единый свод все мнения осужденных о недостатках российской жизни и мерах к их исправлению.

Но подозрительность душила разумные побуждения: обманут, подсунут гибельный прожект…

Скудость собственных знаний мешала вникать в дела, еще менее он надеялся на министров, не полагался на адъютантов, число коих бесконечно увеличивалось.

Ладно, он не разбирался во флотских делах, слаб в науках и не слишком сведущ в административных сложностях. Все же у него достанет самообладания и самоуверенности, чтобы скрыть неведение. Есть, наконец, сфера, где он, подобно всякому повелителю, дока. Словесность и градостроение для него не тайна за семью печатями. Сознавая не только монаршее, но и внутреннее человеческое право, он произносит последнее слово, дозволяя (или запрещая) новую поэму, архитектурный чертеж казармы. Любое его замечание ловится восторженно и

выполняется без заминки. Где еще результат настолько нагляден? Разве что в армии, на параде. Команда — исполнение, приказ — повиновение…

Он хочет навести порядок в канцеляриях, усовершенствовать флот, двинуть вперед промышленность и коммерцию, выкорчевать казнокрадство. Но уже гложет подленький червячок сомнения… Как это обрисовал Бестужев-второй в своем казематном послании: «Кто мог, тот грабил, кто не смел, тот крал».

Императором стать легче, нежели преобразователем.

Наблюдая из окна кабинета смену караулов, Николай подмечает малейшую оплошность солдат. Плюнув на толпящихся в приемной министров, устремляется на плац.

И в словесности уместен «гатчинский дух»! Найдутся ревностные исполнители, сбегутся сочинители, для коих ему достаточно бровью повести, поощряюще улыбнуться или грозно нахмурить чело.

Однако как обойтись с теми, кто обуян гордыней и считает: поэзия неподвластна августейшей воле, вдохновение не повинуется приказам?

Смешно думать, будто они, трижды расталантливые, в силах подточить опоры царства, будто их вирши, пиески, экспромты, всякие «Горе от ума» рождают Пугачевых. Не в том беда. Нарушается единообразие, потребное всякому строю — солдатскому и государственному, строю верноподданнического мышления. Когда единообразие нарушено, где-нибудь обнаружится щель для нежелательного вздора. Начинается вздором, бахвальством за бокалом вина, партией виста, а кончается…

Всплывала декабрьская — со снежком — площадь перед Сенатом, насупленный четырехгранник каре. Среди закоперщиков — сочинители. Адъютантишка в мундире, белых панталонах размахивает шашкой. Не хотел офицерской шинели в Петербурге, пусть носит солдатскую на Кавказе…

Николай не мог не презирать словесность и тех, кто подвизается на ее пиве. Но просвещенный монарх такое презрение не выкажет. Как не выкажет страха, который, вопреки рассудку, вызывают эти бумагомаратели.

Наличествуют соглядатаи, фискалы в полках, в штабах, в канцеляриях. Почему бы не завести среди литературной и журнальной братии?

Он не жаловал доносчиков, но увлеченно читал доносы.

Есть человек — единственный в его окружении, — все схватывает с полувзгляда, полуслова, свободный от

чистоплюйства. 14 декабря, когда чаша весов еще колебалась, граф Бенкендорф подставил верное плечо новому государю. Мысли их текли в общем русле и приходили к единому заключению. Когда мысль Бенкендорфа опережала государеву (ничего удивительного, к нему ранее поступали донесения), он ее чуть придерживал, и конечное решение все равно исходило от Николая.

День начинался докладом Бенкендорфа, получившего эту привилегию после того, как 25 июня 1826 года было учреждено III Отделение собственной его императорского величества канцелярии.

Благодаря III Отделению расследование по делу декабристов велось и после сентенции, и даже после роспуска Следственного комитета. Каждый осужденный оставался под неусыпным наблюдением, разговоры подслушивались, письма перлюстрировались, свидания с родственниками и переписка дозировались…

Ненавязчивые рекомендации шефа жандармов позволяли царю властно воздействовать на литераторов и литературу. Решать судьбу стихов Александра Пушкина и участь Александра Бестужева.

Ссылку Бестужева в Якутск Николай приравнивал к отправке на необитаемый остров. Жестокость первой сеп-тепции и ее смягчение надлежало рассматривать как методу, постепенно, последовательно ломающую хребет виновному: крепость, форт, поселение…

Александр Бестужев относился к тем преступникам, с какими император продолжал войну. Ведя ее, он но упускал из памяти письмо, сочиненное в Петропавловском каземате. Для чего было врагу, признавшему себя побежденным, распалять монарший гнев? Выходит, он не из числа искренне кающихся, выходит, держит камень за пазухой, держится своих злонамеренных идей, опасных для трона и царствующей фамилии.

Быть может, составляя письмо, Бестужев продолжал завирально сочинительствовать? Но опять-таки досадно противоречивая размытость. Противоречий, туманной неясности император не выносил. А они одолевали всякий раз, когда вспоминался этот сотоварищ Рылеева, один из государевых «друзей по 14 декабря».

Прежде Александр Бестужев славил древность, расписывал рыцарские поединки, развлекался безобидными эпиграммами, амурными стишками. И Николай почитал старину, требовал русской речи при дворе, видел в себе хранителя угасающей рыцарской традиции.

В увлечении русскими нарядами он шел дальше заговорщиков. Поддерживал разговоры о придворных дамских форменных платьях, подобных сарафанам. Платья бархатные — зеленые, синие, красные, малиновые — по рангам. На голове кокошники. Не спешил с нововведением, — чужеземные умники будут потешаться. Надо выбрать подходящий час и утвердить.

В запасе и еще одна уступка — не то старине, не то свободомыслию: дозволить офицерам без различия родов войск носить усы.

О таком и Бестужев не заикался, вожделея реформ.

Все-таки чего ради этот злодей-карбонарий отводил цареубийственную руку? Полнейшая несуразность: император был обязан жизнью преступнику, который, ожидая под замком праведной казни, слал на высочайшее имя обличительное послание!

Ссылка в Якутск должна была также выявить, насколько основательны крамольные идеи Бестужева, насколько он в них закоснел.

Николай слышал где-то, что ученые, проводя опыт, изолируют подопытное существо от внешних воздействий. Он желал идти в ногу с наукой.

Император разгневался, узнав, что в Якутск направлен на поселение Захар Чернышев, что преступники квартируют вместе. Злым свистящим шепотом переспросил: «В одном доме? Под общей крышей?»

Александр Иванович Чернышев в Следственном комитете не давал поблажек извергам, вотировал свирепые сентенции. Но — духи, помада… Император поморщился. Все-таки генерал-адъютант. А возня вокруг майората… Корысть не красит государственного мужа, французскими духами не перебить дурной запашок.

Но безупречные и бескорыстные всего восприимчивее к пагубным идеям.

Тем же свистящим шепотом он велел Захара Чернышева при ближайшей оказии отправить на Кавказ.

— А ссыльного Бестужева?

Своенравно монаршее сердце. Генерал-адъютант Чернышев не семи пядей во лбу, в полках не популярен; дурацкая эта манера душиться десять раз на дню… Однако любим царем. Впрямь любовь слепа? А может быть, не слепа? Может, любим за трепет, который вечно испытывает перед императором, за неприязнь, какой окружен в армии?

Когда Чернышев оставил кабинет, Николай погладил тершуюся у ног собаку (пальцы отдохновенно скользнули по

шелковистой шерсти), сунул ей два печенья с блюда, стоявшего на крытом зеленым сукном — без единой бумажки — столе с двумя раскрашенными гипсовыми солдатами.

Он по-прежнему почти не позволял себе сладкого, лишь изредка нарушал аскетичную диету и следил, не растет ли живот, не надо ли ослаблять пряжку на панталонах.

* * *

Бенкендорф не докучал бы напрасным вопросом. Постиг линию царя касательно Бестужева. Видел, между прочим, что сам Бестужев не уразумел ни этой линии, ни истинного своего положения. Намерение издавать собственные сочинения, выпускать (из Якутска?) альманах подтверждало, что он, отбывая полярную ссылку, живет на небесах. Резолюция Бенкендорфа должна была опустить его на землю.

Царь с ней согласился, добавив лишь, чтоб оказали матери преступников Бестужевых денежное вспомоществование. Это входило в систему милосердных жестов для всеобщего сведения…

Его удивляло, а потому и тревожило, что Бестужев ничего не пишет; стишки не в счет, никакой основательной прозы, выказывающей новое умонастроение, преданность монарху, явившему снисходительность и давшему — через Дибича — ясно понять, каких сочинений от него ждут.

Бенкендорф не возражал против намерения Булгарина привлечь Бестужева к сотрудничеству в журнале. Это на шалости своей Ленхен Фаддей Венедиктович смотрит сквозь пальцы, позволяет баловаться невесть с кем, а когда дело государственное — бдит, вздору не напечатает.

Но Бестужев не слал Булгарину ничего серьезного, в письмах интересовался условиями сотрудничества и оплатой.

Правда, чего-либо предосудительного за время нахождения в Якутске за ним не значилось. Докладывая об этом, Александр Христофорович вызвал монаршую улыбку своим добавлением: что там совершишь злонамеренного? учредишь тайное общество из тунгусов?

Ничего предосудительного и ничего благонамеренного. Просит разрешить печататься, однако как воспользуется разрешением, не угадаешь, еще затеет тяжбу с цензурой, разбудит внимание публики, память о «Полярной звезде».

Николай верил в полезность ссылки, обрекавшей преступника на одиночество. Только палка была о двух концах: нет возможности судить о взглядах и литературных намерениях.

Когда Дибич доложил о просьбе Бестужева отправить его в действующий Кавказский корпус, император задумался. Чем заслужил якутский сиделец очередную милость?

Бенкендорф опасался: не пустить бы щуку в море. На Кавказе полно вчерашних преступников, не изжит дух Ермолова…

Еще весной, до того как Бестужев вступил на Военно-Грузинскую дорогу, по ней проследовал курьер из Петербурга. Неказистого вида коротконогий фельдъегерь, которому вверяли доставку важнейших бумаг, человек исполнительный и неустрашимый.

Фельдъегерь подтвердил свою репутацию при обстреле горцев. Пуля ранила ямщика, вторая пробила фельдъегерскую сумку. Он с гордостью показывал дырку в толстой кожаной крышке тифлисскому чиновнику, вручая пакеты. В одном из них — предписание от 13 апреля 1829 года главнокомандующему отдельным Кавказским корпусом графу Паскевичу:

«Сосланного в Сибирь на поселение определить на службу в один из действующих против неприятеля полков Кавказского отдельного корпуса по усмотрению вашего сиятельства, с тем, однако же, что, в случае оказанного им отличия против неприятеля, не был он представлен к повышению, а доносить только на высочайшее благоволение, какое именно отличие будет им сделано… и доносить немедленно, коль скоро усмотрено будет в поведении Бестужева какое-либо отступление от порядка».

9

Провидец из Бестужева никудышный. Сколько раз падал с круч, стискивал зубы, чтобы не стонать от боли. Но, видно, радужная фантазия сильнее человека. А уж когда ее подогревает полуденное солнце, осеняют белоголовые вершины Кавказа, овевает горный ветер, когда вино веселит истомившуюся душу, стройные грузинки чарующе плывут в танце…

Все пойдет как по-писаному. Отличится в первом бою, будет замечен, доложат главнокомандующему. Граф Паскевич уведомлен о нем Грибоедовым. (Грибоедов — добрый гений Бестужева и родственник Паскевича; нижнему чину, опальному сочинителю одних подвигов мало, кто-то должен порадеть «родному человечку».) Услышав о доблестном солдате, носившем некогда эполеты штабс-капитана и адъютантские аксельбанты, Паскевич, мудрый военачальник, приближает его к себе, шлет депешу в Петербург. Несправедливо, дескать, такого человека

снова и снова гнать под пули. Получив место при штабе, он отдается словесности. Сюжеты просятся на бумагу, письмо к Эрману ждет завершения… Тем временем монаршей волей Бестужеву возвращен офицерский чин, награды украшают многострадальную грудь. Августейше отмеченному боевому офицеру не возбраняется подать рапорт об отставке по семейным мотивам: болезнь матушки, беспомощность сестер. И — Петербург!..

Но как загадаешь на завтра, когда непредвиденное уже сегодня подкарауливает за углом?

На окраинной улице Тифлиса Бестужева остановил молодой загорелый офицер, внимательно всмотрелся:

— Господин Бестужев?.. Не заблуждаюсь?.. Здесь ваши братья.

Повел к домику в глубине двора.

Петр, по-турецки сидевший на диване с трубкой в зубах, рука на черной перевязи, онемел от изумления.

Когда обнимались, Александр старался не задеть руку брата.

— Ты ранен?

— Царапнуло при Ахалцыхе… Сейчас будет Павлик.

Откинувшись на диванные подушки, Петр снова затянулся трубкой.

Александр пытался совладать с внутренним смятением. Надо ли удивляться бестрепетности брата? Война ожесточает сердца, Петруша всегда был склонен к хмурости.

Резво ворвался самый младший, и его ребячливое веселье сняло неловкость. Наконец-то они втроем. И где? В кавказском Вавилоне — Тифлисе…

Смех не стихал, пока Александр не начал посвящать Павла и Петра в свой великолепный план. Они взирали на старшего брата, как на дитя малое. Досталось ему, бедолаге, в эти годы. От крыльев широкого носа в усы убегали, прячась, глубокие морщины. Но соображения детские, пиитические. Кого здесь удивишь доблестью? кто воздаст за нее?

Петр поднял руку на черной косынке.

— Кровь пролил, голову подставлял… И — сподобился унтер-офицерского чина…

Александра, однако, трудно выбить из седла (первые попытки уже делал Борис Чиляев); он верит в незакатную звезду — Кавказ. Представится Паскевичу, граф уведомлен.

Услышав имя главнокомандующего, Петр вынул изо рта чубук и поискал глазами, куда бы плюнуть. Павел скорчил рожу.

Откуда такое пренебрежение? Паскевич славился в Отечественную войну, скромный и отважный командир.

Петр насмешливо свистнул, Павел растолковал: Паскевич менее ищет сражений, чем приемов; хлебом не корми — дай покрасоваться своими викториями.

Петр и Павел ютились в двух комнатушках; за стеной — татарская семья с малыми детьми. Александр остался ночевать у братьев, но селиться здесь отказался.

Найдет себе саклю, мечтает жить по-кавказски, через день-другой отбудет в войска.

Сакля — на той же взбирающейся вверх улице. Но с отъездом из Тифлиса пришлось повременить. Навалилась лихорадка, зуб на зуб не попадал, ломило кости. Чуть отпускало, еле шевеля ногами, Бестужев бродил берегом журчащей Куры, отдыхал под деревом, ловил дурманящие запахи, несшиеся из вечно открытых дверей духанов. Он боялся удаляться от своей сакли и не спешил к военному коменданту. Ложился рано, спал дурно, натужно зевая, вставал. Снова тянуло на койку, под одеяло.

Дождь, назойливо стучит по земляной, заросшей травой крыше, нудными каплями падает с потолка на кирпичный пол. Вся сакля — одна комната. Шестнадцать затянутых бумагой окошек в два яруса, двенадцать ниш в стенах, три двери. Пересчитывая, норовя ив сбиться, ниши и окна, он развлекал себя в эти тягучие дни.

Однажды вскочил уязвленный: живет в Тифлисе и не поклонился праху Грибоедова! Человеку, которого чтил выше всех!

Дождь кончился, солнце из-за Кахетинских гор разгоняло остатки туч. Умытой зеленью сиял амфитеатр Мтацминды. В зелени темные гроты, белые стены домов, ротонды католического кладбища. На полпути к вершине — храм святого Давида. К нему нескончаемой вереницей тянулись женщины.

«Какова любовь!» — возликовал Бестужев. Но разочарованно спохватился: сегодня — четверг, грузинки идут на богомолье, святой Давид — покровитель семейного счастья; трижды обходя храм и обвивая его нитками, девушки гадают о замужестве; рядом источник, ниспосланный тем же святым для лечения от бесплодия.

На могилу поэта спешил только он.

Уступом ниже храма полукруглое углубление в горе. Памятник еще не водружен, лежит голый камень. Безгласная глыба на могиле Грибоедова! Он сел на скамейку возле камня.

* * *

…Отношения у них установились не сразу. Бестужев подозревал, что незаурядный ум Грибоедова обособлен от сердца. Но вскоре убедился в своей неправоте. Истинно умный человек — человек добрый; литературное творение — отпечаток авторской души; рано или поздно лицемер изобличит себя.

Получив «Горе от ума», он трижды взахлеб перечитал список. В комедии было все непременное для подлинной словесности: свобода русского разговорного языка, неиссякаемое остроумие, оригинальность характеров, презрение к низкому, гордая отвага одинокого героя. Поэт никому не давал спуску!

Бестужев схватил шляпу и — к Грибоедову. Александр Сергеевич отменил ранее предполагаемый визит, вместе провели остаток дня. Назавтра Грибоедов, читая свою комедию, окончательно пленил нового друга.

В Грибоедове, восхищался Бестужев, соседствовали дарования, каких достало бы на нескольких; он был сведущ в различных областях — музыка, восточные языки, словесность, дипломатия. Создал нетленную комедию, обдумывает новые сочинения, административные прожекты.

Искусство, с каким Грибоедов вышел из последекабрьского разгрома, увеличило бестужевский восторг. Чацкий — только вслушайтесь! — звал на Петровскую площадь. А опасные связи поэта, вольные разговоры, едкие оценки… Десятой доли этого доставало, чтобы упечь в Нерчинские рудники.

Не все, однако, отгадки в ловкости грибоедовской. Имелось и другое.

Александр Сергеевич своими переворотными мыслями, как флагом, не размахивал. За Чацкого — не ответчик» Да и тот не впрямую звал на Петровскую площадь, полкам «в штыки» не командовал. Зовы Чацкого каждый слышит по-своему. Сам Грибоедов относится к ним с искренностью, сочувствием, но тут же и скептическая гримаска.

Задним числом Бестужев очень видел эту гримаску.

В додекабрьские суматошные дни он гнал от себя и воспаленно-трагическое «Мы погибнем» и скепсис холодный. «Мы погибнем» — это, значит, поспешай на площадь, скепсис же удерживает от затей, не гарантирующих успеха. Как он, такой скепсис, удерживал Грибоедова, насколько, — Бестужеву сегодня знать не дано. Однако знает: поэт получил «очистительный аттестат» и сан полномочного министра.

Бестужев казнился, ему недоставало зоркости, гибкости до 14 декабря, бывал растерян и говорлив в Следственном комитете, однако о письме к императору не жалел, — выплеснул накопившееся. Грибоедов бы одобрил. Скепсис — не высшая

мудрость, но терпкая к ней приправа…

* * *

В Якутске и сейчас, на Кавказе, минутами Бестужеву чудилось, что с ним ведут игру. Но — кто именно? какую? Грибоедов разрешил бы его недоумения.

…Поток богомолок уже стекал с горного склона. Сколько он просидел возле могилы?

У его ног кустились сады. На скалистом хребте вздымался символ и страж безопасности грузинской столицы — Наринхалат. Влево от крепостных башен по дороге к таможне ползли караваны с вьюками, повозки с товарами, еще левее, под зубчатыми стенами Метехского замка, спускались к мосту арбы из Кахетии.

Тифлис оглушал криками и руганью на добром десятке языков. С визгом катили не смазанные осетинские арбы, русобородые ямщики в остроконечных шляпах залихватски бодрили лошадей, мчались коляски, запряженные четверней, величественно проплывал украшенный азиатскими тканями трахтараван[36]. Кони шарахались от безразличных к ним верблюдов, восточный наездник обгонял европейского франта, убранная по петербургской моде дама шествовала рядом с женщиной в чадре.

На Эриванской площади возы с сеном, фургоны с припасами из немецких колоний, арбы, груженные дровами, задумчивые быки, навьюченные татарским податным хлебом.

Где-то впереди — Казбек, горная цепь под снеговым покровом.

Все это созерцал Грибоедов, вобрал в душу, завещая похоронить себя на Мтацминде… Нет, то перст судьбы — Бестужев в Тифлисе!..

* * *

Еще в Квешети наутро после пирушки (веселились до упаду, тостам не было конца) Борис Чиляев увлек Бестужева в беседку, увитую виноградом. Посвящал в кавказские сложности, наставлял, в какие двери стучаться, какие — обходить, с кем держаться открыто, кого — избегать. Бестужев взмолился: у него недостанет хитрости. Чиляев смеялся: все привыкают к нашей кухне, имея в виду не столько хинкали, сациви и шашлыки, сколько страсти, интересы, побуждения, спутавшиеся в клубок на

земле, где не стихает пальба, где молниеносные карьеры соседствуют со стремительными падениями, где одни ищут пуль, другие — наград, где у русских своя жизнь, у кавказцев — своя, но они не расторжимы: просвещенная верхушка грузин и армян тянется к русской культуре, сохраняя при том собственную; русские — военные, чиновники, ив замешанных в декабрьском деле, — желают содействовать процветанию здешних народностей, однако нигде нет такой бюрократической косности, такого соглядатайства, казнокрадства и лихоимства…

— Уж и нигде, — недоверчиво пожал плечами Бестужев, надеясь, что Борис сгущает краски. На Кавказе мерзость немыслима, ее растопят, выжгут южные лучи…

Всего более Бестужева заинтересовал тогда рассказ Чиляева о «Тифлисских ведомостях». В газете печатался Грибоедов, «непременный» ее редактор — Павел Степанович Санковский, благоволивший к сосланным, заместителем у него Сухоруков.

Василия Дмитриевича Сухорукова вместе с Корниловичем Бестужев одобрил в своем «Взгляде на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 годов» («…любопытны, живы, занимательны. Сердце радуется, видя, как проза и поэзия скидывают свое безличие и обращаются к родным старинным источникам»). Это — гласно. Негласно — разговор втроем: Рылеев, Бестужев, Сухоруков. Зондирование накануне вербовки, обмен взглядами о конституционном правлении в России. Сухоруков искал способ содействовать образованию на Дону, и Рылеева занимали донские казаки… Точку поставить не успели, но и так очевидно: Сухоруков — свой. Вопросы Следственного комитета это подтвердили; Бестужев и Рылеев посильно выгораживали Василия Дмитриевича. Сухоруков избежал клейма «государственный преступник», но не ссылки на Кавказ и — что того горше — мести всесильного Чернышева. (Чернышев рекомендовал Сухорукова в Главный штаб, а тот, неблагодарный, спутался с сомнительными личностями; возражал против генеральского проекта о преобразовании Войска Донского, выдвигал свой; крепкий орешек…)

…В Тифлисе Бестужев не застал Сухорукова. Василий Дмитриевич исполнял обязанности и в канцелярии штаба Кавказского корпуса, ведя журнал боевых действий; Наскевич держал его подле себя, — что есть боевые действия, как не исполнение полководческих замыслов главнокомандующего?

Оправившись от лихорадки, Бестужев зашел в редакцию, положил на стол Санковского листок.

Пока редактор проглядывал шестнадцать строчек, он испытал все терзания робкого неофита.

Куплеты в народной манере, лихие.

Богатырь у нас народ,

Молодецкой самой,

За святую Русь — вперед!

Все вперед, все прямо!

Последняя строка повторялась и венчала песню: «Все вперед, все прямо!» Как девиз, как заповедь.

Бестужева смущало: песню он сложил, еще не нюхав пороху. Санковского смущала подпись: «А. Б-въ». Но даже если поэту, разжалованному в рядовые, и не велено печататься под своей фамилией, здесь всего лишь инициалы. Кто будет связывать бесхитростные куплеты с некогда громким именем.

На гвозде, вбитом в стену, рядом с портретом Державина, сушился корректурный лист, источая запах типографской краски и навеки миновавших времен «Полярной звезды».

Редактор из-за дубового стола, заваленного бумагами, потряс руку сочинителя, высказал надежду на дальнейшее сотрудничество…

* * *

16 августа 1829 года «Тифлисские ведомости» напечатали «Солдатскую песню». В тот же день Бестужев, купив лошадь, пустился догонять наступающие войска.

Он летел, оставляя позади обозы, понурых кляч, отставшие пушки, встречая раненых — пеших и на повозках, — сокращая ночлеги, но… примчался к стенам уже поверженного Арзерума.

Визит к Паскевичу следовало отложить; сперва доблестно отличиться. Хорошо бы дело заметное, где авангардом идут охотники: о таких доложат в реляции.

Все предусмотрено. Кроме лихорадки. Снова, как в Тифлисе, бросало то в жар, то в холод, раскалывалась голова.

Заставив себя подняться, Бестужев явился к ротному командиру и, вопреки докладу фельдшера, отрапортовался здоровым.

Командир недоверчиво оглядел солдата из государственных преступников. К разжалованным он испытывал почтение. Но операция трудная, за Байбурт турки держатся зубами,

перебросили целый корпус из Трапезонта. Новичок необстрелянный, думает, что война — это батальные картинки… Напомнил: надобны охотники.

— Я пойду, — вызвался Бестужев.

Глазом человека, знающего путевое строительство, он следил, как солдаты кирками и лопатами выравнивали дорогу на Байбурт, укрепляли склоны во избежание осыпи. Работали устало, разморенные лютым зноем, губы обметало, щеки в красных пятнах. На головах мокрые мешки.

Но у тех, что шли штурмовать, глаза блестели от водки.

С марша егеря под картечью устремились на завалы. Турки метким огнем сверху преграждают подход к селениям.

У Бестужева лихорадку будто рукой сняло. Суматошная пальба не возбуждала страха. Твердил — шепотом ли? в голос? про себя? — я могу, я могу, я могу… Спотыкнувшись, вскочил, отряхнул шаровары, заметил дыру на колене и — вперед.

Селения, лепившиеся к Байбурту, пали, Сам же город надлежало брать обходным маневром (двадцать верст, марш с рассвета до полудня), отрезать от Трапезонта, овладеть горами.

Штурм под свинцовым градом и раскаленным солнцем, после бессонной ночи, вчерашних атак.

Защищавшие крепость лазы бросались в рукопашную. Бестужев ничего не видел, бил наотмашь невесомым ружьем.

Когда все завершилось (обезображенные трупы устилали улицы, черный дым застилал развалины), командиры начали скликать солдат.

Бестужев занял свое место в шеренге, не расставаясь с трофеями — турецким молитвенником и виноградной кистью.

Батальонный командир обходил ряды, вопрошая: кто первым ворвался в Байбурт? В числе трех названных Бестужев услышал и свое имя.

Обедали жаренной на кострах бараниной, запивали ее вином из байбуртских погребов. Две роты отправились наводить мост.

Бестужеву казалось: он всеми забыт, предоставлен самому себе. Натянул подпругу у лошади, потерявшей хозяина, вскочил в седло — и не спеша по улицам поверженного города; едкая гарь пожарищ мешалась с трупным смрадом и дымом солдатских костров.

Он трусил мимо охваченных пламенем домов; армянская семья оплакивала свое жилище, старая турчанка рыдала над телом сына…

* * *

Началось путешествие по стране, обращенной в руины. Бестужев добрался до подножия Арарата, побывал в Эривани… Завороженно и недоуменно всматривался в хищный лик войны.

Когда бы не фантазия, он задохся бы от вони, утратил бы зоркость. Но чтобы жить на земле, напоенной кровью, надо мысленно заставить эту землю счастливо плодоносить, усилием воли понудить себя не ощущать гнилостного смрада, льющегося в легкие.

10

В знойные, пыльные дни похода он не забывал о Сухорукове, и наконец они свиделись.

Василий Дмитриевич, черный, не хуже африканца, сдержал горестное изумление, увидев Бестужева — рядового в драной шинели. Он ходил, ссутулясь, по палатке, вскидывал голову.

Там, в Петербурге, первое слово было за Бестужевым. На Кавказе Сухоруков — ветеран, успевший поднатореть в здешних штабных и журналистских тонкостях, посвященный в кое-какие тайны, поскольку состоит при особе главнокомандующего корпусом. Это его положение, заверял Сухоруков, обязывает поддерживать поэта, низвергнутого со столичного Олимпа. Для «Тифлисских ведомостей» честь числить Александра Александровича своим постоянным автором.

У Бестужева отлегло от сердца, — все сбывается! Он будет печататься.

Но Сухоруков сразу погасил надежду.

— Кругом соглядатайство, пакости. Паскевич дорожит моим пером, жаждет восславления, однако скрипит зубами, когда беру секретные документы…

Василий Дмитриевич кончил безостановочное хождение.

Не эта бы подозрительность, он посодействовал переводу Бестужева в штаб, нашел союзников, кои дорожат неповторимым талантом Александра Александровича — отменного писателя, знатока истории военного искусства…

Хоть и разомлел Бестужев от комплиментов, но видел:

Сухоруков помочь бессилен, старается лишь дружески подготовить к встрече с фельдмаршалом.

После такой подготовки идти к Паскевичу не хотелось. Какое графу дело до его подвигов и дарований? Но одолев колебания, Бестужев отважился представиться Паскевичу. В лавровом венке командующего и его, Александра Бестужева, скромный листок, листок братьев.

На прием явился в многострадальной походной амуниции. Паскевич держался с надменной корректностью, поглаживая мясистые щеки. Бестужев, кажется… сочинитель… Граф смутно помнил заступничество Грибоедова. Сколько прошений к нему обращено, сколько фамилий должен хранить в голове…

Голова эта сильно кружилась от ратных удач. Фортуна к нему благоволила, офицеры в линиях и в штабах были искусны, кровь лилась рекой. Паскевич принимал это как должное: солдату надлежит класть живот за веру, царя и отечество.

Офицеры же… К офицерам у главнокомандующего чувство смешанное. Потаенная зависть недоучки к образованным. Мало того, что образованны; им только и свет в окошке — Алексей Петрович Ермолов. Щеголяют его изречениями и словечками. Ермоловские словечки с подковыркой, без должного пиетета к августейшим именам. У многих офицеров рыльце в пушку. Оттого и прыть; в огонь лезут, надеясь искупить вину перед государем.

Щекастый фельдмаршал не мастак на изречения и реляции. Реляции и без него покорнейше составят. Он к этому прежде приспособил Грибоедова (царство небесное!), сейчас — Сухорукова.

Рядового Бестужева в штаб брать не резон. И так довольно «этих». Обер-квартирмейстер Вольховский (замешан в декабрьской смуте), на военных совещаниях подает голос Михаил Иванович Пущин (разжалован в солдаты и теперь покрикивает на генералов — распоряжается всеми траншейными и взрывными операциями).

За «этими» велено глаз да глаз, о Бестужеве особая бумага графа Чернышева. Ранее того граф Дибич давал общую диспозицию:

«…Его величество желал бы знать: как они располагаются по квартирам, т. е. вместе с прочими нижними чинами или совершенно отдельно от оных? О чем я покорнейше прошу меня уведомить для доклада его величеству. При чем честь имею присовокупить, что в таком случае, если означенные разжалованные располагаются по квартирам совершенно отдельно от прочих нижних чинов, сия мера полезна с той стороны, что они тем лишены свободно сообщать прочим нижним чинам какие-либо вредные внушения; но его величество находит то неудобство, что они, не имея ни с кем никакого сообщения и живя только одни, могут с большей удобностью утверждать себя в вредных мнениях и иногда покушаться на какие-либо злые намерения. В отвращение сего, его величество полагает удобнейшим располагать их по квартирам и в лагерях вместе с прочими нижними чинами, но с препоручением их в надзор

надежным старослужилым унтер-офицерам, которые должны иметь строгое и неусыпное наблюдение за тем, чтобы они не могли распространять между товарищами каких-либо вредных толков».

Бумаги эти хранятся у графа Паскевича в специальном бюваре для сугубо секретных, таких, какие он постоянно почитывает. На царской службе всякая обязанность славна — полководческая или сыскная.

С брезгливо-барственным сожалением фельдмаршал взирает в лорнет на здоровенного, широкоплечего солдата. Не пер бы, милый, на рожон, тогда носил бы вместо выгоревшей рубахи да латаных шаровар золотом шитый мундир, сверкал лаком узконосых сапог… Хочет видом своим солдатским воздействовать, небось в атаку бежит застрельщиком. Ну и беги себе.

Паскевич дремотно цедит насчет гордыни, губящей карьеру…

Любит фимиам, думает Бестужев, где-нибудь в письме к доктору Эрману надо вставить о победоносном полководце Паскевиче-Эриванском, Такие млеют, узрев свое имя на печатной странице…

Завершая аудиенцию, граф, раздобрившись, дозволил рядовому Бестужеву в часы, свободные от службы, носить партикулярное платье…

При выходе Бестужева перехватил неправдоподобно худой Вольховский в болтающемся, словно на жерди, летнем мундире. Ему известно, как граф встречает разжалованных, какая смесь высокомерия, заносчивости и скрытой боязни в самодовольном военачальнике.

Лицейский однокашник и друг Пушкина, единомышленник декабристов, Вольховский чудом избежал наказания. По своенравному стечению обстоятельств был свидетелем казни пятерых… Теперь безотказно выполняет многосложные квартирмейстерские обязанности в Кавказском корпусе.

Вольховский научился разгадывать мелкие козни фельдмаршала, но считал его человеком по натуре незлым: из Петербурга не заставят — пакостей творить не станет, в отчаянную минуту вместе с солдатами рванет на приступ. Фельдмаршальское звание, правда, пошло во вред, появились спесь, мнительность.

Николай, отстранив Ермолова, мог назначить на Кавказ человека и похуже. Это Вольховский втолковывал своим давним приятелям, ныне рядовым и офицерам Кавказского корпуса. Попечительство о них вынуждало его к изворотливости.

— Не отчаивайтесь, Александр Александрович, —

Вольховский усадил Бестужева в походное кресло, подвинул инкрустированный ящичек с табаком, худыми пальцами погладил жидкие усы.

Бестужева обескуражило завершение войны с Турцией; годом раньше кончилась русско-персидская война. Он стремился на Кавказ, чтобы прославиться в сражениях. Теперь видел напрасность подвигов, но отказываться от надежды не хотел.

Вольховский грустно усмехнулся, дымя янтарной трубкой. На Кавказе война никогда не кончится. Не персы, так турки, не турки, так горцы, а то и те, и другие, и третьи, науськиваемые британцами. Всегда найдется где отличиться. Прок каков? Многие себя выказали лучшим образом, однако все еще обречены на солдатскую лямку.

Вольховскому внятен их патриотический, искупительный порыв. Однако жертвы принимаются, но прощение не следует. Только богу ведомо, где лучше: в Якутске или на Кавказе!

— На Кавказе! — упрямился Бестужев.

В Якутске не узнаешь самозабвенного азарта, какой он почувствовал, врываясь в Байбурт. Единожды испытав, станет ждать повторения. Ему на роду написано подставлять голову под пули. Их свист будит фантазию…

— Я тоже любуюсь здешними местами, — устало подтвердил Вольховский. — Природы дивные, но климат вредоносен, русский организм подвержен многим болезням…

Вольховский обещал содействие, но возможности его мизерны. Паскевич лично контролирует перемещение разжалованных.

— Надо вам удержаться в сорок первом егерском полку. Будет дислоцироваться под Тифлисом. Командиром полковник Леман. Человек порядочный, из неблагонадежных.

* * *

Бестужев валяется на продавленном тюфяке в Авапури — карантин перед Тифлисом, куда возвращается после похода, после неудачного визита к Паскевичу.

Сказочный край посещают попеременно либо вместе — чума и холера. Путешественники да соблаговолят отдохнуть накануне въезда в Тифлис, полюбоваться горами, старинным храмом, посидеть в духане, в саду с плетенной из веток оградой.

В карантинном доме маленькие опрятные комнаты для людей благородных и общая — для прочих.

Кто Бестужев — «благородный» или «прочие»?

Выношенная венгерка, юфтовые сапоги со сбитыми каблуками (радетель Паскевич дозволил партикулярное). Поразмыслив, карантинный фельдшер все-таки определяет ему отдельную комнатку.

Спешить Бестужеву, собственно, некуда. Надо бы разобраться в сумбуре и хаосе последних недель.

Якутское житье можно обозначить паролем, которым караульные обмениваются, сдавая пост: «Никаких перемен»— «Все в порядке». На южной земле что ни день — перемены. Самое разительное для него новшество — бой. Он не испытал страха. Кому, однако, дорого его бесстрашие, кроме него самого?..

Полковник Леман уведомлен Вольховским и, вероятно, не воспрепятствует жизни в Тифлисе. Не Петербург, конечно. Но город занятный, пересечение наций и искусств. Редакция «Тифлисских ведомостей» тут же…

Вечером вкрадчивая дробь в дверной косяк. Несмотря на свое всевластие в этой точечке земной поверхности, фельдшер, начальник карантина, держится скованно. Узловатые крестьянские руки, крепкие скулы, монгольские раскосые глаза. Лет тридцать, как не более. Фельдшера, заносившего в амбарную, с сургучной печатью, книгу лиц, миновавших карантин, остановила фамилия Бестужева. Сам он — страстный любитель литературы, молился на Державина и Пушкина.

— Садитесь, — Бестужев нехотя поднялся с койки.

Фельдшер, помедлив, сел, бросил на стол мужицкие ладони, сбиваясь, завел свое.

Ему памятна фамилия «Бестужев». Был такой, издавал альманах «Полярная звезда»… Тот Бестужев, видать, сгинул или коротает век в сибирских рудниках. Не доводится ли уважаемый обитатель карантина родственником сочинителю? Если вопрос чем-то неприличен, господин Бестужев извинит за вторжение. Сам он человек бесхитростный, образован мало, но сердцем прикипел к поэзии. Кропает стихотвореньица. Кавказские пейзажи, строфы во славу августейшей особы, ко дню ангела. Тетрадочка здесь, в кармане.

Бестужев уставился в раскосые глазки. Оглушить мужиковатого фельдшера: я — сочинитель и редактор Александр Бестужев!

Подошел к темному окну.

Похоронили. Крест водрузили.

Резко обернулся. Как по команде «кру-гом».

— В родстве с упомянутым поэтом не состою. Совпадение фамилий.

* * *

Фельдшер, винясь, попятился к двери.

В Тифлисе Бестужев вместе с братьями снял квартиру неподалеку от Эриванской площади, откуда докатывался прибой караванного торжища. Павлик пошутил: как на Седьмой линии Васильевского острова, напротив Андреевского рынка.

Петру и Павлу досталось по комнате, Александру — две. Комнаты выходили в залу для гостей.

В своей спальне вплотную к тахте Бестужев придвинул низкую конторку, в кабинете поставил солидный письменный стол. Он обдуманно меблировал квартиру, Объясняя мастеру-армянину размеры каждой вещи, выбирая породы дерева. У персов, долго приценяваясь, купил ковры. Обосновался надежно, рассчитывая на гонорары в «Тифлисских ведомостях» и у Булгарина.

Павел часто отлучался в Бомборы, где стояла его артиллерийская рота; дни Петра текли в батальонной казарме. Рядовой Александр Бестужев был свободен от солдатских повинностей, в полку — спасибо Вольховскому и Леману — о нем забыли, числя больным. Если б еще забыла лихорадка.

Приятели подыскали лекаря; Бестужева пользовал доктор Депнер — налитой, как спелое яблоко, здоровяк, охочий до рассуждений. Организму и природе, настаивал доктор Депнер, должно быть в постоянной гармонии, а посему смена климатов губительна.

Бестужева увлекала медицина, он подолгу слушал Депнера, однако приступы от этого не слабели.

Вымотанный ночным жаром, сменив пропотевшее белье, Бестужев утром сгибался над конторкой, устало водил пером по белому листу.

Жена тифлисского коменданта полковника Бухарина, услышав, что в городе Александр Бестужев, настояла, чтобы муж зазвал в гости опального автора.

Полковник Бухарин, смелый в сражениях, ревностный в службе, был добр, не выносил мздоимства, должностных злоупотреблений.

Когда Бестужев за воскресным обедом у коменданта описывал свое путешествие из Якутска на Кавказ (был в ударе, сыпал шутками), хозяйка дома не сводила с него зачарованного взора. Екатерина Ивановна легко, мягко двигалась по комнате, шурша шелковым платьем. В сметливых, с искоркой глазах горел острый интерес к повествованию и повествователю. Вечерами она наведывалась, чтобы по рекомендации доктора Депнера — он

врачевал и ее семейство — сменить Бестужеву компресс, потереть виски ароматным уксусом. Взволнованно косилась на стопку исписанной бумаги, не решаясь спросить, что за сочинение.

Разжигая любопытство, Бестужев многозначительно молчал, но когда заверил, что новую повесть посвятил несравненной Екатерине Ивановне, сердце комендантши бешено затрепетало, дыхание сбилось, она обессилела, шелка обмякли.

Единственная женщина, комендантша украшала собой вечера в вале, где рассаживались вокруг длинного стола Михаил Пущин, Оржицкий, Мусин-Пушкин, Нил Кожевников, Александр Гангеблов — люди с декабристским прошлым. Бывали и офицеры с незапятнанной репутацией, не боявшиеся ее, однако, замарать; это было чрезвычайно просто, ибо популярнейшей темой в собрании служил Паскевич.

Фельдмаршал отпустил волосы, соорудил из них куафюру a la Louis XIV: он алкал славы и сравнивал кампанию 1829 года с походами Александра Македонского, с египетским походом Наполеона.

Павел, раздобыв похожий на прическу фельдмаршала пудреный парик и как бы обращаясь к иностранным дипломатам (Паскевич устраивал пышные приемы для чужеземцев), произнес речь о кавказских победах.

Собирались и у Александра Гангеблова. Гангеблов маялся в поисках уединения с Бестужевым. В Следственном комитете он назвал его имя, наговорил лишнего, а сейчас, в Тифлисе, хотел отпущения грехов. Но чуть упомянул об этом, когда они остались вдвоем, — и Бестужев набычился.

— Ни слова. Что прошло, то прошло.

Схватил фуражку.

Гангеблов смятенно кинулся за ним. — Куда вы, Александр Александрович? Будете вечером?

— Посмотрю, — не обернулся Бестужев.

Вечером его не было.

«Что прошло, то прошло». Хотел так думать, так жить, отрубив оставшееся позади. Хотел, постоянно чувствуя минувшее, которое гнездилось внутри и напоминало о себе даже в часы, когда Бестужев норовил оторваться от него. Не то чтобы по хладному расчету, по властной команде, отданной самому себе. Другое тут — надежда преодолеть прошлое ради мечты, уносящей в неизведанное.

Однако теперь, особенно после якутской беседы с немецким ученым доктором, знал: ему не уйти ни от Петровской площади, ни от Петропавловской крепости. Связь нерасторжимая. И не один лишь мрак несет изжитое время, но и свет незакатный; от

него быстрее ток крови, бурлит, радужно переливаясь, воображение.

Объяснить это непросто, ох как непросто. Да и пускать кого-либо в заповедное не хотелось, боязно пускать. Тем более сейчас, когда пробуждается долго дремавшее вдохновение, в голове роятся сюжеты — не всегда ясные, но уже приманчивые и отнюдь не безразличные к тому, что свершилось на декабрьской площади подле Сената, о чем пускались в полемику у Синего моста…

Только нет — не сцены на площади, не диалоги заговорщиков. От хроник увольте. «Что прошло, то прошло». Свежие порывы увлекут читательские сердца к высокой справедливости, наполнят гневом против всяческой кривды, попрания человека человеком…

Тяжкий груз былого давил на перо, однако — диво дивное! — не приземлял его вольного лёта.

Он догадывался: чуду такому обязан и времени (в Якутске перо двигалось, точно чугунное), для него благо — седовершинный Кавказ, приятельские сборища по вечерам, разноязычные улицы Тифлиса.

Грибоедов бы понял, что бестужевская муза не изменила себе, вдохновляется давним духом свободолюбия.

Но сюжеты навеяны свежими впечатлениями бытия.

В новых обстоятельствах Грибоедов тоже искал, как использовать обширные свои таланты, вряд ли жил воспоминаниями… Потерпев неудачу, одни складывают оружие, другие ищут новое ему применение. Никакие утраты и горести не понудят истинного сына родины отречься от помыслов о благе и совершенствовании ее, от труда, осененного достойным идеалом.

Пускай думают, как карантинный фельдшер: писатель Александр Бестужев кончился, его талант погребен в петропавловской камере, в оледеневшей сибирской земле… (Тифлисские знакомцы вряд ли так думали, но ему нравилось считать, что и они совпадают с фельдшером.) В урочный час он предстанет в своем сочинительском могуществе.

Отложив часам к четырем пополудни рукопись, расслабленно направлялся в ресторацию Матасси (он — завсегдатай, слугам известна его любовь к острым блюдам, кислому; восточная кухня пришлась по нутру — суп из баранины, капуста по-гурийски, лобио, махохи). Пересекал после обеда замусоренный майдан — Эриванскую площадь, шел к Гаджинским воротам.

Он гуляет, но внутри совершается работа, обостряющая зрение.

Идет стройная женщина — черная юбка, на голове чихта [37], поверх белая кисея. На кисее шелковый платок, повязанный у

подбородка. С ней мужчина в коротком архалуке, по рукавам, на груди мелкие пуговицы. Широкие шаровары забраны в сапоги.

Дома Бестужев делает зарисовки: одежда, фигуры, убранство комнат (ковры, широкие тахты, цилиндрические подушки — мутаки), живописная фигурка кивто, танцующего свой танец — кинтаури.

Он не устает внушать друзьям: нам должно знать кавказцев, их быт, языки, верования.

— Мы и русского мужика не разгадали, — отмахивается Пущин.

— Тем хуже для нас, — вставляет Петр Бестужев.

— Не потому ли квартируем на Кавказе? — присоединяется Павел…

Александр любит спуск к Куре, что против устремленной в небо башни Метехского замка. Река здесь нешироκая, каких-нибудь пятнадцать сажен.

Уютный духан. Возле дверей, как и у многих тифлисских духанов, медведь на цепи. Общая растерянность беспредельна, когда воскресным днем Бестужев из коляски бросается к медведю, обнимает его мохнатую шею, слезно стенает:

— Оба мы с тобой на цепи, бедный Мишель… Оба в железах…

Испуганный духанщик оттаскивает русского, удивленно замечая, что барин трезв. Как ни в чем не бывало Бестужев возвращается к друзьям.

Его все более затягивает тифлисская жизнь, и поздней осенью предпочитающая двор комнате: на ноздреватых камнях под навесом расстелена скатерть — балык, икра, свежая рыба, сыр, баранина, дичь, плов, ведра кахетинского. Заходи — гостем будешь. Бестужев изъясняется по-татарски, понимает многие грузинские, персидские и армянские слова и не отказывается «быть гостем».

Вечерами — свое общество. По воскресеньям оно собирается у полковника Бухарина, где шуршит юбками проворная Екатерина Ивановна, все так же не сводящая с Бестужева восторженного взгляда. Анекдоты, шахматы, вист, споры о войне и словесности.

Полно, ссылка ли это? Государственные ли они преступники?

В разгар веселой вечеринки команда: всем гостям незамедлительно покинуть Тифлис.

Доктор Депнер в ужасе, Екатерина Ивановна близка к умопомрачению. Два дня назад Александр Александрович перенес приступ лихорадки.

Распоряжение исходит от главнокомандующего. Первым в

нем поименован Бестужев; его сразу отправляют с двумя жандармами в Метехский замок. Из тюрьмы — в Дербент, в линейный батальон. Не дав проститься с Павлом (Петра — тоже в Дербент), с друзьями (их тоже вон из Тифлиса, по дальним гарнизонам).

* * *

Разные выдвигались гипотезы, объясняющие сей гром средь ясного неба. Бестужев не отвергал интриг военного губернатора Стрекалова, ревновавшего к нему Екатерину Ивановну, за которой губернатор безуспешно волочился…

Не было ясного неба, оно таким лишь виделось ссыльным и разжалованным; пока они весело читали стихи, играли в шахматы, строили куры тифлисским красавицам, над ними сгущались тучи. Старая злоба и новая неприязнь питали наветы на тех, кто умнее, одареннее, удачливее.

Бестужев ощущал, что воздух Кавказа напоен поэзией, но не ощутил в нем предательства. Он и его товарищи понимали: донос — известное средство сводить личные счеты, однако не понимали — со времени воцарения Николая и учреждения III Отделения донос стал непременным условием работы государственной машины. Осведомитель подталкивает ржавые маховики и шестерни имперского механизма, доказывая собственную преданность. На чиновника, офицера, брезгующего соглядатайством, падает тень. Где, позвольте знать, ваше недреманное око?

Подобным вопросом начальственно оглушили полковника Бухарина. Его бормотание — ничего крамольного за столом не говорилось, гостей приглашала Екатерина Ивановна — вызвало фырканье и отстранение от комендантской должности. За Бухариным и полковником Леманом отныне устанавливался «бдительный и секретный надзор».

За Бестужевым в Тифлисе слежка велась с первых дней и усилилась, когда он повадился в дом к коменданту. Паскевич получал сообщения агентов и, не мешкая, слал депеши Бенкендорфу. Фельдмаршал был заинтересован в обличении «государственных преступников», но лица, не входившие в сей разряд, его непосредственные подчиненные, не должны были выглядеть неблаговидно. Поэтому на Бестужева вешали всех собак. Бухарина же достаточно было выставить добродушным недотепой, намекнуть на его рога.

Однако противоречие таилось в том, что Паскевичу не

доказать свою верность государю без опоры на «злоумышленников». Они — лучшие, храбрейшие, самые знающие командиры. Худо, пусто станет без Раевского, Сакена, Муравьева. Но их популярность (Раевский был самым юным — одиннадцатилетним — участником войны двенадцатого года, другом Пушкина) побуждает ревнивого к славе фельдмаршала скрепя сердце настоять на отозвании с Кавказа вышеупомянутых генералов как неблагонадежных.

Сложная возня ведется из-за Сухорукова, который, выполняя приказ Паскевича, составляет историческую хронику о войне России с Турцией. Паскевич норовит втолковать это военному министру, жаждавшему ареста Сухорукова:

«Употребление Сухорукова к такому поручению, когда он, как известно, замешан в происшествии 14 декабря и находится под секретным надзором, не должно удивлять вас, милостивый государь, ибо в одинаковом с ним разряде находились многие служившие при мне; как-то: генерал-майор Бурцов, полковник Леман, поручик Пущин, Искрицкий и полковник Вольховский были в замечании. Не имея других, которые бы с пользою употреблены быть могли, я, по малому числу людей в сем корпусе способных, принужден был давать поручения мои сего рода чиновникам».

В конце длинного объяснения фельдмаршал написал: «Они оправдали доверие по службе, но многие из них не оставили прежних мыслей».

Зачеркнул последнюю фразу: получилось, будто «прежние мысли» не мешают оправдывать «доверие по службе». Что само по себе крамольно.

Был арестован и выслан Сухоруков, подверглись высылке из Тифлиса братья Бестужевы, все их друзья. Вина — чего они не могли взять в толк — заключалась в одном: они оставались самими собой, разжалованные и сосланные, жили, думали, трудились ради отечества. Это и было предосудительно. Равно как и постоянные их встречи.

* * *

В канун нового года тифлисцы вывешивают ковры на резные балконные перила.

Александру и Петру Бестужевым не до предпраздничных украшений. В холодный, сырой день они покидали грузинскую столицу. Теплые вещи, взятые из Якутска, хранились на полковом складе в Белых Ключах, деревеньке поблизости от Тифлиса. Но

Бестужеву не дали забрать одежду, побывать в штаб-квартире 41-го полка из списков которого он исключался.

Денег не было, продать мебель не успели. Жалкие пожитки валялись на колымаге. Братья ехали верхом. Кони спотыкались на обледенелой аробной тропе. У Петра болела рука, рана снова гноилась. Александра одолевала слабость. Еды хватало, лишь чтобы не протянуть ноги.

К исходу шестнадцатых суток впереди смутно забелела россыпь домиков — Дербент.

11

Опостылевшее ружье отдыхает у стены крепостного палисада. Бестужев сел на мерзлую бугристую землю, стиснул голову. Лихорадка нещадно бьет тело.

Караульному сидеть не полагается, и ружье запрещено выпускать из рук. Но никакой черт не обходит ночные посты. «Их благородия», напившись вина, до одури наигравшись в засаленные карты, спят на пропотевших перинах.

Зловонный Дербент — вотчина Аида, воистину царство мертвых. Мрут солдаты, офицеры, их жены и дети. Но, обгоняя смерть с косой на плече, наступает умственное омертвение…

Утром притащится сонная смена: «Никаких перемен» — «Все в порядке». Скорбный девиз якутского житья-бытья. Райское было житье! Теплый бревенчатый пятистенок, сладкий дым самовара, дощатый стол, фолианты Гёте и Байрона, английская речь Захара, родные сугробы за окном…

Под Байбуртом Бестужев первым вызвался на клич «Кто желает охотником?» В Дербенте, опережая других, идет в ненавистный для всех караул. Ему милее ночь и одиночество. Вой шакалов отраднее матерной брани фельдфебеля. Ветер, налетая с Каспия, холодит до костей, но и отгоняет мерзкий смрад кривых улочек Дербента.

После ночного караула нижнему чину положено отсыпаться до обеда. Но это — инструкция, что хранится в штабном сундуке. Командиру линейного батальона подполковнику Якову Евтифеевичу Васильеву инструкция не указ. Он накрепко усвоил: любые неполадки — от праздности нижних чинов, в ней корень зла. Потому после ночного караула солдату достаточно прикорнуть часок и — на плац.

Васильев хищно шагает вдоль строя, вытянутой шашкой проверяя равнение. Еще унтер-офицером он видел однажды, как император Александр с тонкой серебряной шпагой обходил каре.

Вросло в память, и сейчас, когда Васильев в летах, под пятьдесят, отяжелел телом, рыжие пучки волос торчат из ушей, ревматизм донимает ночами, он услаждает себя этим зловещим шествием мимо застывшего солдатского ряда.

Батальонный командир не долее чем на минуту останавливается перед рядовым Бестужевым: серое от лихорадки лицо, но глаза с бесовским пламенем, на закушенной нижней губе капелька крови. Усы сбрить, решает Васильев, не сегодня, при назидательном случае. Непутевый Бестужев сам избрал солдатскую участь, посягнув на порядок, который свят и незыблем, унаследован от отцов и дедов, определен всевышним. От праздности все посягательства, от разврата и чужеземных книг…

Время всегда катилось для Бестужева с оглушительной быстротой. Оно ослабило свой бег в Якутске и, наверстывая, помчалось в кавказских расщелинах, в многоцветном, голосистом Тифлисе. В Дербенте время замерло.

Он достает часы, луна тускло освещает серебряную луковицу. Стрелки приржавели к циферблату.

Остановившееся время в царстве мертвых.

Шершавой ладонью Бестужев ведет по глазам, небритым щекам, колкому подбородку, острому кадыку. У покойников день-два растут ногти и борода.

Не лихорадка, так воспаление легких, не холера, так подполковник Васильев. Живым отсюда не выбраться. Однако смерть его не пугает, — доказал при Байбурте; страшен безгласный конец.

Об этом думает, стоя на карауле, терзаясь бессонницей в казарме с тяжелым духом портянок, смазанных дегтем сапог, нестираной амуниции, потных тел.

В карауле Бестужев ждет не дождется рассвета. Бегает, согреваясь, между рвом и прогнившим палисадом, смотрит в сторону моря. Вот-вот полоска зари подожжет мелкую волну, она розово вспыхнет.

Только и радости — эти минуты. Потом — артикулы, фрунт, муштра и голод.

Нет у него покровителя, вновь адресоваться к Дибичу неразумно: рвался на Кавказ — терпи.

Воззвать к всемогущему Бенкендорфу? Но Васильев, увидев на конверте грозную фамилию, сцапает послание.

Письмо к матушке и сестрам подполковник изучать не станет, в чтении не силен. Маменька и Елена смиренно обратятся к графу Бенкендорфу: исходатайствовать у императора перевод в любой армейский полк, употребляемый против неприятеля.

Бенкендорф увидит — Бестужев рвется на верную гибель. Но поймет ли, что не все равно — кончить дни в битве или околеть в зловонной дыре?..

Не получая вестей от Петра — как там его рана? — Бестужев попросил у Васильева разрешения съездить к брату. Петра назначили в крепость Бурную, это менее ста тридцати верст от Дербента.

Подполковник поучающе рек, подчеркивая в воздухе толстым пальцем каждое слово: отпуска даются только в виде поощрения.

— Получше бы держал «гусиный шаг» на плацу.

«Гусиный шаг», маршировка вместе с рекрутами при ранце, ружье, полной амуниции… Местоимение «ты» не произнесено, однако: «Получше бы держал…»

* * *

Преследуемый запахом щей и солонины, Бестужев — не сыт и не голоден — покинул столовую. Навстречу — запыхавшийся вестовой из батальонного штаба: рядового Бестужева спешно к коменданту города господину майору Шнитникову.

Ничего хорошего от этого вызова Бестужев не ждал; очередной подвох, не иначе.

Вытянулся в дверном проеме. Напротив — конторский стол, над ним — портрет императора.

Комендант сидел не за столом, а на диване, закинув ногу на ногу. Вскочил, не дав нижнему чину отрапортоваться.

— Здравствуйте, любезнейший Александр Александрович… Садитесь, пожалуйста… Меня величают Федором Александровичем…

Майор усадил его на диван, а сам, прогуливаясь по кабинету, говорил, говорил, повергая Бестужева во все большую растерянность.

Кабинет как кабинет; чернильные кляксы на облезшей столешнице, гора серых папок, с коих свешиваются сургучные печати, обшарпанные стулья у стены. Единственная особенность — этажерка с книгами.

Комендант — ненасытный книгочей, и Бестужев — почитаемый автор. Еще со времен «Романа и Ольги», «Замка Вендена», «Вечера на бивуаке», «Замка Нейгаузена», «Ревельского турнира»…

— На радуге воображенья

Воздушный замок строит он;

Его любви лелеет сон…

Но бьет минута пробу жденья! —

одушевленно декламировал Шнитников.

— Сколько воздушных замков мы воздвигаем в младости! — все так же увлеченно рассуждал комендант. — Что жизнь наша без них? «Но бьет минута пробужденья!»

В эту минуту, дражайший Александр Александрович, каждый держит ответ перед совестью и перед ним, — Шнитников воздел перст к потолку, у которого по углам отвалилась штукатурка.

Ошеломили Бестужева эти признания в казенном кабинете, пропахшем сургучом, чернилами и канцелярской пылью.

— С начального часа вашего прибытия в Дербент мы с моей Таисией Максимовной ждем, когда вы пожалуете в гости.

— Но я… — заикнулся было Бестужев.

— Знаю, все знаю, — радостно сиял синими глазами Шнитников, — потому не сразу пригласил. Эту дубину стоеросовую — Васильева — надобно брать во внимание, надобно быть чуть-чуть Талейраном.

Положим, Талейран из тебя неважнецкий, подумал Бестужев, больно быстро ты моего батальонного командира дубиной окрестил.

Шнитников, угадав это, рассмеялся еще пуще:

— Никудышный из меня Талейран… Однако соловья баснями не кормят… Чем бог послал.

Бестужев попытался отказаться — он уже обедал. И вызвал у коменданта новый приступ смеха: казарменный обед в лучшем случае дразнит аппетит, в худшем — отбивает оный.

По долгому коридору проследовали в жилую половину дома, миновали какие-то комнаты и оказались перед накрытым — у Бестужева зарябило в глазах — столом, из-за которого поднялась смуглая красавица с тяжелым пучком волос, оттягивающим голову.

— Я вас наверняка встречала, — без тени жеманства Таисия Максимовна подала гостю мягкую руку. — Говорила Федору Александровичу: вероятно, Бестужев…

Таисия Максимовна разбирается в отечественной словесности, они с мужем библиоманы, обладают редчайшими по нашим временам книгами, номерами «Полярной звезды».

Внутреннее оцепенение, не отпускавшее после Тифлиса,

покидает Бестужева. Раз в вонючем омуте — иначе Дербент не назовешь — попадаются такие люди, как супруги Шнитниковы, не все потеряно. Подо льдом, которым сковал страну декабрь, бежит ручей.

Федор Александрович раскраснелся, русые волосы спутались, молодо сверкает глазами — кахетинское делало свое дело, — но судит здраво, без прекраснодушия.

От Васильева — что попишешь — никуда не деться: невежда, получивший власть.

Бестужеву почудилась укоризна. Он и его братья отнюдь не намеревались передать власть невежественным мужланам, мечтали споспешествовать общему просвещению. Он уже сталкивался с людьми, облеченными властью, но не отягощенными знаниями. Попадаются забавнейшие экземпляры. В форте «Слава» начальствовал поручик Хоруженко…

Бестужев ударился в воспоминания; получалось, что жили в форте «Слава» не худо, весело, он сочинял стихотворную повесть…

— Какую повесть? — нагнулась над столом Таисия Максимовна.

Ляпнул лишнее, но запираться перед Шнитниковыми грешно. Когда назвал «Андрея Переяславского», комендант вышел из столовой и вскоре вернулся со злосчастной книжкой.

— Мы с Таисией Максимовной подозревали, что сочинитель из опальных поэтов.

В своей драной рубахе и шароварах с заплатой Бестужев свободно чувствовал себя за этим столом. Родство всех трех душ настолько властное, что Бестужев отогнал фривольные мысли, когда Таисия Максимовна склонилась над столом, а он невзначай глянул в вырез платья. Ему везет на комендантов и комендантш. Но с Шнитниковой не затеет романа, умеет дорожить дружбой — мужской и женской.

У добряка Бухарина, кажется, из-за него осложнения, надо предупредить дербентского коменданта.

Шнитникову известно об отставке Бухарина с должности, догадывается о тайном надзоре. Что с того, однако? Жизнь с вечной дрожью перед доносами унизительна для человека, русского офицера. Ломать себя из-за соглядатаев? Натягивать личину угодливости? Потакать всякому прохвосту?.. Как же тогда нам с Таисией Максимовной смотреть в глаза друг другу?

— Я ничего не совершаю во вред отечеству. Подставлял и еще подставлю грудь под пули…

Таисия Максимовна стала быстро-быстро креститься.

— …Но отворачиваться от человека потому лишь, что его,

истине вопреки, зачислили в государственные преступники, отдали во власть стоеросовой дубине Васильеву… Кто в полном значении более полезен родине — губящий дарования (сколько их уничтожено, пущено на распыл?) или тот, кто старается им содействовать?..

Бестужев, сдерживая слезы, отошел к окну.

Таисия Максимовна крикнула слугу, велела в соседней комнате накрыть чай.

Шнитников стал рядом с Бестужевым у окна. Перед комендантским домом улица раздалась, образуя подобие площади. У столба дремали низкорослые лошаденки, короткими хвостами отгонявшие мух, солдат без ремня нес на коромысле ведра, у забора на лавке сидели изваяниями трое в черных чохах и белых папахах, мохнатым шаром надвинутых на брови.

— Впереди море, — тихо сказал Шнитников. — Куда же нас с вами дальше посылать?.. Оставим это.

Комендант не отмахивался, однако, от положения, в каком находился Бестужев.

Шнитников выше Васильева должностью, но ниже чином, моложе почти на десять лет; как комендант располагает большей властью, но батальонный командир всегда при солдатах — напакостит, не успеешь опомниться. Со Шнитниковым он на ножах, хотя как будто и не ссорились.

— Враждебность Васильева ко мне сродни чувству, какое вы в нем возбуждаете. Зачем книжки читаю, журналы выписываю, с солдатами по-людски разговариваю. Поэтому и опасен, неблагонадежен, но, увы, еще не изобличен… Ежели ты на меня не похож — помыслами, поведением, — уже поэтому я буду сживать тебя со света. Но меня захочет проглотить — подавится. В боях он смел, но в интригах робок, опасается поскользнуться. Я ему внушаю, что вас нельзя обижать, даю намеки на высоких покровителей. Дескать, нынче нижний чин, а завтра…

— И завтра, Федор Александрович, и послезавтра, — уныло откликнулся Бестужев.

— Завтрашний день от смертных сокрыт. Я уведомил Васильева о своем намерении употребить вас как толмача, сведущего в татарском языке.

— Не настолько…

— Настолько, поверьте, настолько, — к Шнитникову вернулась улыбчивость. — Прошу к чаю. Завтра вечером за вами будет вестовой…

* * *

Ночью на часах, покуривая в рукав шинели, Бестужев размышлял о превратностях судьбы. Новая дружба согревала сердце. Но он видел также, что угодил между молотом и наковальней, из-за него обострится противостояние Шнитникова и Васильева.

Утром подполковник Васильев — он приходил до подъема, — возле казармы окликнул Бестужева. Солдат подбежал, стукнул каблуками, застыл, не дыша, с ружьем у бедра, взглядом «поедая» командира. Будь Васильев и более грамотен, он не сумел бы что-либо прочитать в этом непроницаемом взоре.

— Дозволяю спать до обеда. По обеде пойдете на учение.

Все-таки «пойдете», а не «пойдешь».

Не отрывая левой пятки от земли, Бестужев повернулся, стукнул каблуками, клацнул вскинутым ружьем и, задирая вытянутые ноги, направился в казарму.

С мучительным умственным напряжением — бугристые мужицкие морщины собрались на лбу — подполковник Васильев смотрел на удаляющуюся, прямую, как доска, спину рядового, обтянутую линялой рубахой.

12

Назавтра Шнитников прислал обещанного вестового. Стол в комендантском доме был накрыт в ожидании гостя, но до того, как сели, Федор Александрович повел Бестужева по комнатам. Прижав палец к губам, открыл двери в две детские — как-никак пятеро, над каждым склонился, поцеловал спящее личико. Задержался в библиотеке. Неярко горела подвесная лампа, с зеленым абажуром. Шнитников — мундир по-домашнему нараспашку, под ним свежая сорочка — без малейшей торжественности сообщил: библиотека эта и столик к услугам Бестужева.

Шнитников предупредил, что не так часто удастся любезнейшему Александру Александровичу пользоваться их гостеприимным кровом. Васильев — дубина стоеросовая, это бесспорно, однако батальон действительно насчитывает четверть комплекта, манкировать службой нельзя, как ни крути, ни верти, часовым достается по две смены…

Не ретируется ли перед Васильевым?

Бестужев слишком многое связал с новым покровительством — неизлечим, так и не избавился от розовых иллюзий.

Но Шнитников и на вершок не отступил. Сообща с Таисией Максимовной обдумывая положение Бестужева, он вник и в положение линейного батальона, чтобы отделить злой умысел командира от истинных надобностей по охране слабо укрепленной крепости. В последние недели стали часты дорожные налеты, возможно нападение на город. Васильев поступал разумно, увеличив число постов, выдвигая форпосты, дорожа каждым штыком.

Потому, считал Шнитников, добиваясь своих целей, желательно блюсти высочайшую осторожность с Васильевым. Цель первая, ближайшая: откомандирование рядового Бестужева под начало коменданта для исполнения обязанностей толмача на встречах с туземным населением. Вначале переговоры в Дербенте, потом — поездки к горцам. Поездки на день-два, неделю приучат Васильева к отсутствию Бестужева. Затем — следующий этап: право ночевать на частной квартире. Надо-де переводить важные бумаги…

Долгое вечернее чаепитие напоминало тайный сговор. Свет от висевшей над столом грушевидной лампы играл на гранях вазочек, на серебре ножей, ложек. Это напоминало стол у маменьки…

— Мое служебное самолюбие ропщет, — беззаботно улыбался Шнитников, — квартируя в Тифлисе, вы обладали условиями к писательству, в Дербенте, где я имею честь состоять комендантом, вынуждены проделывать ружейные артикулы, трамбовать плац, ночами дежурить на часах.

Теперь ответно улыбался Бестужев; все верно — артикулы, караулы, шагистика, но он не переставал сочинять.

— Как так? — вскинулась Таисия Максимовна. Разговор нешуточный, писательские пальцы вместо летучего пера стискивают солдатское ружье. Разве не беда, не позор для общества? Вероятно, Александр Александрович намерен их повеселить, но она не видит повода.

— Я не веселюсь, — Бестужева подзадорило недоумение хозяйки. Он пустился в пояснения.

Сочинительский порыв не всегда согласуется с житейскими обстоятельствами. Якутск давал вдоволь досуга, однако не писалось. Подъезжая к Кавказу, ощутил дыхание снежных вершин и воспрял духом.

Это Таисии Максимовне и Федору Александровичу внятно. Однако ночами выстаивая в карауле, Бестужев поневоле обрекает свои замыслы на угасание.

— Нисколько! — воскликнул гость. — Воображение — сила сатанинская.

— Продав душу сатане, писатель обретает взамен дар воображения? — снова склонилась над столом Таисия Максимовна, ее смуглое лицо приблизилось, стал заметен пушок на четко обрисованной верхней губе.

— Продав душу, — возразил Бестужев, — сочинитель лишается дара.

Он рассуждал о пагубных уступках сатане, мамоне, моде — тирану успеха. Уступая, даже самый светлый талант скудеет. Писателем утрачен идеал, и его герой обращается в эгоистическую личность, коей не дано страстно чувствовать, высоко мыслить, печься о людях и отечестве.

— Поэту должно ее клеймить, жестоко осмеивать, — заметил Шнитников.

— Если бы клеймил! Если б вослед незабвенному Грибоедову занес бич сатиры…

Шнитниковым показалось, будто он с кем-то яростно спорит, ищет новые доводы.

Но кто он такой, чтобы возражать кумиру? Последний шанс схлестнуться на равных упущен, встреча на Крестовом перевале, в доме Бориса Чиляева, не состоялась. Но Бестужев не отказывается от своего мнения, будет оборонять его…

Сбитый с толку Шнитников (из-за чего скрещиваются копья?) старается вернуть Бестужева к предметам более насущным. Неужто он сочинял, даже совершая мучительное путешествие к Дербенту?

— Не совсем сочинительство; ни бумаги, ни чернил, ни крова. Однако сюжеты вились, вились бесконечно. У меня их уйма! Светские и кое-что из кавказских. Они сами клубятся, — Бестужев хочет быть понятым этими людьми. Да только как все растолкуешь?

Нервничая, он машинально полировал ногти, — привычка нелепа, ногти огрубели, потрескались…

В пути из Тифлиса Петр отставал, Александр тревожно оборачивался (на такой тропе лучше не вертеть головой). Однако запоминалось все: селение на отлогом склоне, едва различимые отары, куст с колючками, разрушенная башня на вершине, горный поток, меняющий цвет в течение дня — от серого до голубого, дерево, заглядывающее в пропасть… Все низалось на «четки памяти». Он снимает с «четок» камушки, украшая ими повествование.

— Какое, простите нас грешных, повествование?

Бестужев медлит. Не от скрытности; кавказские сюжеты всего расплывчатее, одна надежда на Шнитникова, ва поездки в горы. Он не выносит верхоглядских творений о Кавказе, наворотили столько небылиц… Для начала следует завершить письмо к доктору Эрману и обнародовать его в русском издании.

Он оборачивается к Таисии Максимовне, Федору Александровичу, ища на их освещенных лампой лицах отражение собственных слов.

— Не сочтите за нескромность, — Шнитников делает глоток холодного чая. — Коротенькое письмо к почтенному немецкому доктору, дай бог, вам посчастливится написать…

— Коротенькое?! Тетрадка написана!

— Вы ее окончили в Тифлисе?

— Начата по отъезде из Якутска, продолжена под сенью Мтацминды, под стенами Байбурта, завершается в нашем Дербенте.

— Здесь, — разводит руками Таисия Максимовна. Быть может, гость мистифицирует их с мужем?

Супруги Шнитниковы не посягают на пиитические секреты, но желали бы уяснить себе, когда Бестужев фантазирует, когда произносит правду. Как он составляет письмо к немецкому профессору, записывает новые сюжеты, ежели в батальоне нет и секунды свободной?

В равелине Петропавловской крепости и то сподручнее

писать, нежели в дербентской караульне. Но он изловчился. Стоя на часах, все припоминает, обдумывает, подбирает сравнения, блестки. Воротясь в полутемную казарму, быстро-быстро делает набросок.

(Между ними не должно оставаться и тени недосказанности, иначе Бестужев лишится этих ниспосланных ему во спасение друзей.)

У него спрятан огарок в плошке. Зажигает, подвинув табурет, и строчит, лежа на боку. Любит писать лежа.

— Но не на казарменной койке? — Шнитников недоумевает.

Приятнее, конечно, под пуховым одеялом, облокотись на конторку красного дерева. В Петербурге, когда жил у Синего моста… Он отвык от удобств. Не он один. Его братья прозябают в каторжных работах. Ему ли жаловаться на тусклый огарок, железную казарменную кровать? Пишет, будет писать, пока стучит сердце…

— Пока не доложат командиру батальона, — уточняет Шнитников. — Таисия Максимовна, еще по стаканчику, коли самовар не остыл.

— Где — не секрет? — сберегаете манускрипты? — Таисия Максимовна вышла из оцепенения, по-хозяйски распоряжается за столом.

— Меж нами какие секреты!.. Рукописи берегу под тюфяком.

На днях он писал в караульне, увлекся — унтер за спиной: «Твой черед, Бестужев, заступать…»

— Снесете все к нам в дом, — тоном, не допускающим спора, решает Шнитников.

— Если Васильев, покуда мы беседуем, не изъял бумаги, — добавляет Таисия Максимовна.

Океаны лжи напустили, чтобы погубить их, опрометчивых заговорщиков, в людском мнении, изрядно страху нагнали, каких только шпионских ловушек не расставили… И что же?

Оно, конечно, нечасты люди вроде Шнитниковых. Но человеческое благородство, как и благородные металлы, надо исчислять малыми единицами. Потому оно заслуживает воспевания.

Похоже, он подошел к ответу на каверзный вопрос, что тормозит окончание повести. Ответ не только самому себе, но в воображаемом споре, который уже не жаждет длить, однако и не в силах оборвать. Свои воззрения он выскажет, вероятно, анонимно. Но выскажет. Накипело, рвется наружу. Условия понуждают к безмолвию, но порыв сильнее условий.

Только как о том спросишь, чтобы не выглядеть глупцом, неотесанной натурой?

— Таисия Максимовна (встав, он отвешивает поклон), Федор Александрович (опять кивок), возможно ли в наши грустные дни супружеское согласие, более того, счастье полной чашей?.. Простите меня. Но от вашего ответа многое зависит. Нет, я не в видах женитьбы, каков из меня жених в нынешнем состоянии, в заплатанных шароварах и с кулаком Васильева над теменем… Мне для…

— …повести, — поспешает на выручку Шнитников. — Скажу вам, Таисия Максимовна поддержит: такое счастье достижимо…

— Спасибо.

— Но — вопреки всему. Редкое исключение.

— Разумеется, конечно. Исключения суть предмет искусства. Вы, дражайший Федор Александрович, великолепно обозначили: исключение…

* * *

«Исключение», — шепчет Бестужев, выйдя на улицу. Глазами, освоившимися в темноте, он различает на скамейке три изваяния в белых папахах. Как вчера, наверно, как неделю назад, быть может, как десять или сто лет тому назад.

Ветер не попадает в залитые грязью и навозом кривые улочки, настолько сжатые приплюснутыми домами, что буйвол, проходя, чертит рогами по стенам, обмазанным серой глиной. В застоялом воздухе удушливая гарь — жгли одежду умерших от холеры.

Тоской и убожеством, невежеством и дикостью веет от города, укрытого трухлявыми крепостными стенами. Четверть века русские владеют этим краем, добрые поползновения правительства остаются втуне, европейская образованность не насаждается, «просветителям» легче и приятнее быть бесконечными временщиками, нежели рачительными, неусыпными хозяевами. Есть, к счастью, исключения: комендант Шнитников…

Исключениями красно искусство, но для практического служения этого маловато. Не потому ли…

Он не жалеет о Петровской площади. Бережет в памяти имена, слова, лица. Они незримо окружают его, когда он летучей скорописью покрывает бумажный лист. И не отделить, что навеяно нынешним днем, а что — днем минувшим. Да и минуло ли? Куда ни ткнись, упираешься в далекий понедельник на разломе декабря двадцать пятого года. Даже тут, в жалком Дербенте, отгороженном от человечества скалами и соленым и

недвижным Каспийским морем.

13

Менее всего Бестужев запирался перед Шнитниковым. Но не открыл и десятой доли себя.

Загнан почище волка на облаве. Вопреки мнению коменданта и его жены, дубина Васильев — ничтожнейшая из помех. Каторга смягчена отправкой на поселение, ссылка — солдатской службой. Дозволено проливать кровь и чернила.

Редкая милость! Редчайшее коварство!

Рассечены сосуды, подающие живительную кровь воображению.

Он мечтал писать критику. Сколько наметок погребено в якутских снегах, растоптано вместе с недокуренными сигарами в тундре! Однако не по-джентльменски это выглядит, когда «Взгляд на словесность…» бросает аноним. К тому же «Взгляду…» должно быть быстрым, как поединок на шпагах: выпад, оборона, выпад, успевай поворачиваться. К Бестужеву журналы доставляют (коли доставляют) с опозданием. Не солдату дербентского гарнизона сочинять критики.

Вторая давняя страсть — история. Стихи и проза о доблестях седой старины. Но лишен исторических пособий, книг и карт, заперт вход к архивным бумагам.

Он хотел бы коснуться светских тем. Однако и тут будь точен: какие жилеты носят сегодня в Петербурге, как галстуки повязывают.

Обращая сюжет в повесть, надобно ее оснастить, как корабль в плавание. Сюжет — дитя фантазии, но подробности — плод наблюдения.

Кавказские странствия одарили «четками памяти». Бесценные бусы эти покуда неприменимы, — горские сюжеты в дымке, точно утренний Казбек. Надо карабкаться к вершине, а он все еще озирается у подножия…

Зафлаженный волк, он силой воображения прорвал осаду. Электричество бежит по разорванным жилам, вихрь выносит на поверхность давно заброшенное и забытое. Рассказы брата Николая и Константина Петровича Торсона о морских злоключениях, битвах в волнах, сказки, которые матушка, щадя своих малолеток, венчала счастливым концом. Еще что-то из книг о далеких племенах, из сонников, якутских преданий, из навеянного походными кавказскими картинами…

Александр Бестужев восстанет, поправ небытие, его герои

одержат победы, каких он сам не добыл.

Караульный разгоряченно вышагивает вдоль крепостной стены. Досталась вечерняя смена; освободившись, час-другой посвятит писанию.

Имени «Бестужев» высочайше запрещено красоваться на печатных страницах, книжной обложке; не мытьем, так катаньем. Только бабушка надвое сказала: поглядим, кто кого. Не мытьем, так катаньем.

Булгарин манит в сотрудники, угадывая все свои выгоды. «Вздору» поставит запруду, остальное пустит в свет, подмигивая публике касательно имени сочинителя. После расправ двадцать пятого года власти не прочь покрасоваться в платьях с либеральной отделкой. Нет либерализма удобнее, нежели тот, какой с одобрения Бенкендорфа позволяет себе Булгарин…

Почтительное письмо Фаддею, поклоны Гречу. Не пугать адресата фамильярностью; Булгарин пронырлив и заячьи труслив. Его роман «Самозванец» — ложный в постижении русской истории. «Не надо забывать, что Россия из-под тяжелого татарского ига упала под руку Грозного, потом бесхарактерного Федора, потом Годунова, которого народ не любил за то, что он слишком был умен для него». Это — в письме к матери, среди всяких дербентских мелочей.

Относительно «Самозванца» в письме к Фаддею ни гу-гу. Берется толмачить для журнала с немецкого, французского, английского и польского — лишь бы платили. Не помышляет дразнить Булгарина; посвящать его в русскую историю — зряшный труд. Фаддей печет пироги на любой вкус, сдабривает верноподданничеством.

Как это больно, несправедливо: Бестужева не допускают к родной истории, Булгарин кроит ее по своему усмотрению!

По своему усмотрению он будет обходиться и с рукописями Бестужева. Придется пообещать также сюжет о прикаспийской стороне Кавказа — «Аммалат-бек».

Попробовал на слух: «Аммалат-бек», «Аммалат-бек», Звучит интригующе!

Армейский прорыв тогда успешен, когда в него вошли полки, разворачивают наступление… Бестужеву прорываться сразу несколькими повестями. Чтоб издатели убедились, публика узрела: писатель! из Дагестана! на удивление многолик!

Быстрее кончить «Испытание». Замыслена повесть в Тифлисе, начало написано в дербентском лазарете (не было счастья, да несчастье помогло), после беседы со Шнитниковыми финал уже различим…

* * *

…Бестужев дочитал срывающимся голосом и утомленно отложил последний лист. Таисия Максимовна плакала навзрыд, синие глаза ее мужа блестели от слез. Автор и сам чуть не прослезился. Не от умиления пред счастьем, каким щедро наделил своих героев. От собственной тревоги, волнений, от того, что будущее зависит от этой стопки торопливо исписанной бумаги. Придется она по вкусу издателям? исторгнет ли слезы у избалованной публики?..

Шнитпиковы не заметили: сюжет «Испытания» не всегда оригинален, местами совпадает с пушкинским «Онегиным», но — сразу отклоняется. В ту сторону, какую Бестужев полагает более разумной. (Устремления автора весомее, чем игра человеческих страстей, чем сами герои, выступившие из пены писательского воображения.)

Пушкин подчинился Онегину, дал себя увлечь слабой личности. Досадный парадокс: детище повелевает родителем. И вот итог: убийство друга на дуэли, сломана собственная жалкая жизнь, попутно — жизнь чудесной женщины…

«Испытание» сочинялось не в опровержение Пушкину. Состязаться с гением бессмысленно.

Бестужев писал, возвращаясь в Петербург, в Финскую, как называл, Пальмиру, в общество, из коего изгнан. Останавливался на Сенной площади, в торговых рядах, не давая читателям усомниться: автор, угодивший в Дагестан, когда-то живал в столице. Это манило, будило молву.

Он старался все уравновесить. Но увлекался, вспоминал маменьку, ее grande-patience[38], младших сестер-смолянок в их платьях трех цветов; взял имя сестры Ольги для самой обаятельной героини. Оно, кстати, совпадало с именем героини Пушкина. Но своей Ольге Бестужев уготовил знаменательно несхожую судьбу.

В «Онегине» нелепый трагический поединок, у Бестужева Гремин и Стрелинский в последний момент от поединка отказываются.

В молодости бретер Бестужев отвергал беспричинную дуэль как абсурд. Отдав дань светским романам, он теперь воздавал должное законному браку, Стрелинский женился на обольстительной Алине Звездич. Даже Гремин, допустивший явную опрометчивость (надумал при посредстве друга испытывать верность возлюбленной!), удостаивался женитьбы, сулившей счастье. Ему автор великодушно дал в жены Ольгу.

Не чрезмерна доброта к герою? Нисколько. Людям

свойственно заблуждаться, и не в том суть — велика ошибка, мала. «Князь Гремин, энтузиаст всего высокого и благородного…»

Вникни, читатель: энтузиасты высокого и благородного способны ошибиться. Но не казнить их надобно, а поощрять, коль сознали свою оплошность и сохранили сердце.

В этом не было отказа от давних воззрений, от «вздора», но вперед выступала не столько благая политическая идея, сколько человек, для которого она — само собой разумеющееся. С такими людьми Бестужев связывал свои надежды. Их не видео среди окружающих? Нужно — появятся. Они — символ добра и вознаграждаемой добродетели.

Смысл бестужевского «добра» в чем-то совпадал, но и был отличен от «добра» пушкинского; Бестужев шел в том направлении, куда шли на сходках заговорщики.

Евгений Онегин сочувствовал мужикам: «…ярем он барщины старинной оброком легким заменил». Сочувствовал, ведя жизнь городскую, праздную, не обременяя себя заботой о деревенских обитателях.

Валериан Стрелинский шагнул решительнее Онегина.

«…Втайне делал все пожертвования для улучшения участи крестьян своих, которые, как большая часть господских, достались ему полуразоренными и полуиспорченными в нравственности. Он скоро убедился, что нельзя чужими руками и наемною головою устроить, просветить, обогатить крестьян своих, и решился уехать в деревню, чтобы упрочить благосостояние нескольких тысяч себе подобных, разоренных барским нерадением, хищностью управителей и собственным невежеством… Мысль облегчить, усладить свои будущие заботы любовью милой подруги и согласить долг гражданина с семейственным счастием ласкала Валериана…»

Из-за этого отрывка Бестужев выспрашивал Шнитниковых и обрадовался ответу, хотя он — ежели копнуть — не полностью шел к делу (майор с женой обрели счастье в браке, но долг гражданина исполняли, разве что помогая опальному поэту, о крестьянах они не пеклись, в деревню ехать не помышляли).

Хотелось, чтоб читатели, дойдя до этого места (только бы не вымарала цензура), задумались. Автор напоминал о «долге гражданина» — трудном, требующем жертв. Каково графине Звездич и ее мужу — блестящему офицеру удалиться в сельскую глушь, где вокруг невежественные крестьяне, полуразоренные, полуиспорченные в нравственности!

Не на площадь звал писатель, но прочь от городских соблазнов, в деревню. Не играл с огнем, но и не унимал пламень, позвавший к Сенату. Не пытался выплеснуть все, накопленное в

годы сочинительской немоты. Но метил сюжет знаками. Фамилия «Репетилов» у мелькнувшего персонажа, презрительное замечание о «слепках парижского мира в России»…

Рукопись заняла толстую тетрадь, Бестужев на обложке набросал по-немецки несколько слов Ленхен Булгариной, тетрадь навернул на деревянную палку, обшил холстом и отправил.

Он не почувствовал, однако, отдохновенного удовлетворения. Здесь, как при Байбурте: самозабвенный рывок — только начало, надо встать под пулями и — вперед…

Он бил дуплетом и слал в столицу вторую рукопись: «Вечер на Кавказских водах в 1824 году», потом рассказ «Страшное гаданье».

Внимательный книгочий заметил бы тонкий пунктир от говорливых «Вечеров на бивуаке» Александра Бестужева к «Вечеру на Кавказских водах…», подписанному инициалами «А. М.», и «Страшному гаданью» Александра Марлинского.

Теперь фантастичнее — привидения, русалки, мертвецы, которые иной раз оказываются вовсе и не мертвецами. Сквозь сказочные узоры выступает совсем не сказочное: дурные нравы дворянства, ложь, казнокрадство, взятки («пироги с золотой начинкою»)…

* * *

Бестужев томился, нервничал, ничего не получая от Фаддея, подумывал о московских издателях.

«Аммалат-бек» сперва катился, как под горку. Истинное происшествие, из которого вырастала повесть, хорошо знакомо. Но недостает мелочей. Их надо подсмотреть, выпытать у горцев…

Солдаты линейного батальона изнывали от муштры, караулов, зноя. К исходу августа холера покинула Дербент, начался карантин от чумы. Бестужев нюхал целебные соли, освежался в Каспии.

В эти дни пришла долгожданная весть: «Испытание» будет печататься в «Сыне отечества»!

Удастся вернуть тифлисские долги, отправить деньги в Сибирь. Он посвящал братьев в свои дела. Попутно рассказал о тифлисской холере. «…Одних чиновников умерло около 100; не знаю, потеря ли это для Грузии? — по крайней мере, раю не прибыль».

Он здоров, и печаль не затемняет рассудка.

«Ваша философия основана на надежде, моя выше ее; она велит мне быть в самой безнадежности, как бы в полном счастии;

но я чувствую в сердце своем, что я человек, которого сама природа, не краснея, могла бы назвать этим именем, но с этим вместе я признаюсь, что все слабости людские имели или имеют надо мною власть».

Жар исповеди не застил глаза: между ним и адресатами толчется кто-то третий, зорко вчитывается в строчки, и потому ни маменька, ни братья не оповещены о дружбе с семьей Шнитниковых.

Тактика Шиитникова себя оправдывала. Подполковник Васильев смирился с отлучками рядового Бестужева, ночевками вне казармы. Возможно, у него была собственная тактика, и, сообразуясь с ней, он велел нижнему чину сбрить усы.

Бестужев рассмеялся, он презентует батальонному командиру журнал, где напечатано «Испытание», подчеркнет фразу: «Я сам считаю усы благороднейшим украшением всех теплокровных и хладнокровных животных, начиная от трехбунчужного паши до осетра».

Завертелось, вздымая сухую пыль Дербента: караулы, рукописи, журналы, письма в Петербург, Москву, шагистика на плацу, ответы из редакций, вечера у Шнитниковых, поездки в горы, бивуачные ночевки, новые знакомицы…

14

Кто к тому приставлен, доложил подполковнику Васильеву, что рядовым Бестужевым ведутся записи, сберегает оные под тюфяком. Командир батальона спокойно приказал: когда будет уборка, все бумажки невзначай вышвырнуть.

Ко дню уборки ни листика в кровати Бестужева не обнаружили. Сам выкинул? перепрятал? унес куда-то?

К майору Шнитникову у подполковника Васильева нелюбовь с добавлением зависти. Всякий генерал, посещая гарнизон, беседовал с комендантом иначе, нежели с Васильевым, визитировал к Таисии Максимовне. Когда Шнитников походя заметил, что Бестужев — сочинитель, имеет поклонников и покровителей, Васильев, не полностью этому доверяя, все-таки удержал в уме. Ум у него невелик, но запавшее держит крепко, как кулак — плеть.

Осенью 1830 года генерал Розен сделал смотр дербентскому батальону. (Амуниция никудышная, солдаты отощали от дурной пищи, болезней, но шаг держат, грудь гнут колесом.) Васильев, ведя разведки, испросил дозволения представить Бестужева к унтер-офицерскому чину. Генерал многодумно сощурился.

Бестужев… Бестужев… Подождем, отличится в сражениях…

Когда по почте Бестужеву начали поступать деньги — и немалые, — когда Шнитников снова невзначай кинул, что сочинения Бестужева печатаются в столице, Васильев, посоветовавшись с супругой, разрешил ему жительствовать в сакле неподалеку. (У супруги свой интерес: говорят, у солдата-писателя пруэса с молоденькой офицершей, станет квартировать рядом, подполковничиха будет все знать, подобной осведомленности среди гарнизонных дам цепы нет…)

Бестужев от сердца благодарил батальонного командира. Васильев — каменный лик — выслушал рядового и уведомил: снисхождение не означает поблажек, в караул, на учения — к сроку, без опозданий. Он решил чаще ставить Бестужева на часы у дома Шнитникова: двойная оплеуха — подопечному и его покровителю.

И все-таки ему, Александру, повезло больше, чем бедняге Петру. Офицеры, наезжая из крепости Бурной, сказывают, что Петр Бестужев попал во власть командира-деспота, который не устает над ним измываться. А Петр, и без того склонный к ипохондрии, впадает в недоумение, иными словами, рассудок брата мутится.

Шнитниковы довольны: Александр Александрович публикуется в Петербурге, лиха беда начало, государь прочитает — смилуется.

Бестужев отгоняет всякие надежды — устал разочаровываться. За отличие ратное под Байбуртом наградили высылкой из Тифлиса…

Во время оно потешался над Булгарииым, Гречем. Теперь гнет перед ними шею. На просторе, образовавшемся после «Полярной звезды», вышли в дамки. Бестужев своими повестями приваживает к их журналу читателей.

Но свет клином не сошелся на «Сыне отечества».

* * *

В ночь на воскресенье (в такие непроглядные ночи вой шакалов дополнялся криками пьяных) при мерцающей свече Бестужев перелистывал «Московский телеграф». Почему не обратился к Николаю Алексеевичу Полевому?!

Чего, спрашивается, было обращаться, когда в последнем обзоре «Полярной звезды» осмеял «Московский телеграф»: неровен слог, самоуверенность и еще что-то высокомерно задевающее Полевого.

На удалении это рисовалось дурацкими курьезами, канувшими в Лету. Для него кануло, а для Полевого?

Вспомнились московские встречи, широкое во лбу лицо Николая Алексеевича, прицельный взгляд, удивленный излом бровей. Такой не забудет аристократической спеси, жалящей купеческого отпрыска.

Между Гречем, Булгариным и «Московским телеграфом» какая-то вражда; ее отголоски на журнальных страницах.

Полевой теперь видит, с кем бывший издатель «Полярной звезды». Откуда ему знать, что Бестужева гадливо передергивает от Фаддеевой низкопоклонности, что ему куда ближе воззрения «Московского телеграфа» на историю и нынешнее России? Еще в Якутске, радостно хлопая себя по коленям, он читал в журнале Полевого размышления некоего «А.» (Не Петра ли Андреевича Вяземского? Остро, смело): «Пора нам оставить несправедливую мысль, что восклицания доказывают что-нибудь; будто патриотизм непременно требует на сто маневров твердить одно и то же о нашей славе, о наших добродетелях, без всяких доказательств. Нет! истинная любовь к отечеству состоит не в том, чтобы, восклицая о славе предков, ставить фразы без связи и почитать космополитом того, кто в этих фразах не находит большого толку!»

Тогда, в якутской избе, задумался. Ночью в Дербенте вспомнил. Глубокая межа отделяет Полевого от Булгарина и Греча. Никаких резонов писать к Полевому.

Он горбился на стуле, кутаясь в два одеяла: одно на плечах, второе вокруг ног, и дул на озябшие пальцы.

В жаровне, огороженной кирпичом, алели угли (подбросить кизяка — будет теплее, но от дыму задохнешься), на земляном полу вперемешку журналы, книги, дамская перчатка, листки бумаги. Болели глаза, — дым тому виной? дурное освещение дома? яркость дневного солнца?

Сдул со стола пепел, досадливо покусал перо, подвинул свечу, чернильницу и — стремительно, без помарок написал письмо почтенному Николаю Алексеевичу. Не делал вида, будто ничего не было. Кошка пробежала, клевета распушила хвост, а Бестужев доверчив, Дон-Кихот, пагубное легкомыслие… Находясь в изгнании, испытывает к Николаю Алексеевичу дружеское сочувствие.

Все от души, от минутного огня, трепетного, как свеча.

Нашарил конверт, сунул листок, расплавил сургуч, запечатал. И утром отнес на почту. Работа урывками — дописал «Наезды», взялся за «Латпика», не оставлял «Аммалат-бека»; боязнь опоздать на службу, в караул, на свидание. Среди постоянно будоражащих

вопросов — часть из них обрушивал на старшую сестру вместе с просьбами — рефреном: что у Пушкина? женился? Пушкин волнуем теми же предметами, что и он, но волнение выливается по-своему, зазор между ними растет. Это ранит Бестужева, даже пушкинская женитьба, — поговаривают, на красавице.

Обещанную Булгарину «пиесу из голландской жизни» «Лейтенант Белозор» он украсил эпиграфом, взятым у Пушкина, романтического Пушкина, из стихотворения «К морю».

Увидев «Лейтенанта Белозора», Пушкин должен понять, что Бестужев, вынужденный именоваться Марлинским, почитает его лучшим поэтом России, как и почитал в додекабрьские времена, ни тогда, ни сейчас не отказываясь, однако, оборонять свой взгляд.

…Полевой откликнулся быстро. Не прохладно-вежливым письмом известного редактора опальному, полузабытому автору, но братским обращением, предлагая страницы в своем журнале и — верную дружбу.

Бестужев заметался. Уже послана рукопись «Лейтенанта Белозора» сестре Елене для Булгарина. Не согласится — отдать в «Московский телеграф».

Согласился. Угадал неизбежный успех «Лейтенанта».

Лишившись в декабре двадцать пятого года своих подлинных рыцарей, общество будет аплодировать бестужевским книжным, лейтенанту Белозору. «Я рад гибнуть там, куда призывает меня *долг чести и человечества».*

Гибнуть ему не приходится, подвиги на штормовых волнах кончаются счастливо; Белозор удостаивается любви обворожительной дочери голландского купца.

В Голландии Бестужев отродясь не бывал, но помнил рассказы Николая, помнил, как ждал его в кронштадтском порту. Эпилог говорил автору, его старшему брату и Любови Ивановне Степовой более, чем читателям.

«В 1822 году, под осень, я приехал в Кронштадт встретить моряка брата, который должен был возвратиться из крейсерства на флоте…»

Он продолжал помечать свои повести знаками для тех, кто умеет вчитываться, и за фантастическими приключениями героя угадать не менее фантастическую судьбу автора.

«Как бы то ни было, но в воображении я еще живу, — писал он Николаю и Михаилу, — хотя по сущности бытие мое бог знает что такое: смертью назвать грешно, а жизнию совестно».

Братьев перевели из Читы на Петровский завод. Новое место — новые мытарства. Не растравлять братьев жалобами, но найти слова, нет, не поддержки — он всегда завидовал их твердости, —

хотя бы умиротворения. Однако срывался. Мечтал написать роман, да отсутствуют средства, летописи, карты, досуг…

* * *

С весны 1831 года Кавказ охватило волнение, какого не было лет двадцать. Кази-Мулла объявил газават и в августе осадил каспийскую крепость.

Для рядового Бестужева в том нет неожиданности. Когда слухи о Кази-Мулле, опережая его конников, докатились до Дербента, он, нахлобучив на брови папаху, одевшись в чоху, смешался с толпой жителей, вслушиваясь в разговоры, отделяя правду от сплетен и небылиц. Правда такова: Кази-Мулла намерен взять Дербент с ходу.

* * *

Утром 20 августа впереди закурились дымы, — горели стога сена. Бестужева оставили болезни, тоска. Азартно рвался вперед, и, хотя значился рядовым, сотоварищи по батальону исполняли его команды.

В «Письмах из Дагестана» он даст хронику этих боев. В ней — неожиданное признание:

«Меня очень любят татары — за то, что я не чуждаюсь их обычаев, говорю их языком, — и потому каждый раз, когда я выходил на стены подразнить и побранить врагов, прогуливаясь с трубкою в зубах, куча дербентцев окружала меня. Я всегда приносил им полные карманы кремней и патронов и еще втрое более новостей; городишь им турусы на колесах, и они спокойны на несколько часов, а там опять новые рассказы и новые надежды».

Явить храбрость и покрасоваться ею, совершить подвиг и обрести право поведать о нем, то есть о самом себе. Как иначе вырваться из-под плитой навалившейся безвестности, наделить Марлинского плотью и характером?

Подполковник Васильев диву давался, — по его выкладкам, Бестужеву следовало уклоняться от атак. Он же очертя голову лезет в огонь. За смертью? Наградой?

Награда, даже смерть — попутное. Искал себя. В сражении его настигал душевный взлет, какого он не испытывал и в экстазе сочинительства.

К ночи вернулся в саклю. Бумагами, попавшими под руку,

вытер потное лицо. Рухнул на тахту. Утром увидел, что скомканные, изорванные листки — страницы «Аммалат-бека». Пожал плечами и — на линию.

В тот день он вынес с поля раненого солдата. Ослабевшее тело давило двойной тяжестью, кровь залила Бестужеву рубаху. На лекарском пункте высокая девушка с толстой косой — в серых глазах страх, сострадание.

— Скидай рубашку, дяденька!

— С какой стати, барышня?

— Я тебе не барышня… Осеклась.

— Простите, барин.

— Какой же я тебе, милая, барин?

— Слава богу, невредимы, я вам рубаху постираю.

Вечером принесла чистую рубаху («от папеньки осталась») и забрала окровавленную. Заодно и грязное белье. Назвалась унтер-офицерской дочерью Ольгой Нестерцовой и ушла.

…Дербент выдержал восьмидневную осаду, Кази-Мулла откатился от города. Но газават — священная война против «неверных» — продолжался. Русские части, взамен вызванного в Петербург Паскевича, возглавил генерал Панкратьев — человек доброго нрава, широких познаний и не настроен против разжалованных. Подготовленный Вольховским, он включил Бестужева в свою экспедицию; боевая смелость поможет писателю вырваться из Дербента.

Панкратьев слышал, что Бестужев отличился при осаде крепости, но не подозревал, какая дурная шутка с ним сыграна.

Линейному батальону дали два Георгиевских креста, солдаты и ротные командиры выбрали Бестужева («егории» присуждались такими выборами). Вместо того чтобы вручить Бестужеву крест, Васильев обратился за одобрением к командованию корпусом. Бумага утонула в канцелярских омутах. Либо умышленно потопили…

Экспедиция генерала Панкратьева под Эрпели увлекательна, но опасна. В «Письмах из Дагестана» батальные зарисовки будут чередоваться с пейзажами, психологические эскизы — с рассуждениями политическими. Автор смотрит и думает, слушает и думает, исподволь ведет свою линию, вернее, линии.

Первый герой «Писем» — полковник Миклашевский — отвага и мудрость с большой буквы. Он поступает, как и надлежит герою Марлинского; накануне славной кончины видит вещий сон. Его гибель — общее горе.

«Офицеры и солдаты рыдали. Татары плакали горькими слезами… Миклашевский пал, как жил, — героем!»

Жил Миклашевский достойно. Потому после «происшествия

14 декабря» попал на Кавказ.

О плачущих татарах тоже неспроста. Татары дорожат умными, смелыми и честными военачальниками, теми, кто внушает к себе доверие.

В «Письмах из Дагестана» уважительно говорится о доблести азиатских союзников, об Аббас-Кули Бакланове — «мусульманине, известном своей ученостью, достойной преданностью». Кази-Мулла развенчан как существо безнравственное, изуверски жестокое, нарушающее заповеди корана.

Бестужев вызывает на доверительность воина Кази-Муллы.

«— Зачем вы сражаетесь с нами? — сказал я. — Добрые люди должны быть друзьями!

— Зачем вы идете к нам, если вы добрые?»

Описывая, как разбирали завал, автор «Писем» вдруг откровенничает: «Прежняя наука пригодилась мне теперь (вы знаете, что я готовил себя когда-то в инженеры или в артиллеристы)».

Прямее некуда. Разве что так: «…где краше имя царское, как не в помиловании!»

* * *

…С тяжестью на сердце ехал Бестужев обратно к Каспийскому берегу. Побывав в Бурпой, он застал Петра в плачевном состоянии: брат ничего не ест, только пьет чай и молоко.

Добиться отставки Петра! Лишь семья родная спасет его. Но семья бессильна чего-либо добиться, о нижнем чипе Александре Бестужеве и говорить нечего…

Полковник Гофман направил бригадному командиру рапорт о рядовом десятого батальона Бестужеве: «Во всех делах сей экспедиции был в стрелках, охотно жертвовал собою и подавал пример отличной храбрости: при занятии неприятельских завалов при с. Эрпели с первыми ворвался в оный, а при селении Черкей первым открыл невозможность перейти на ту сторону реки по случаю разобрания неприятелем моста до основания; с охотниками оставался в передовой цепи, к заложению мостовой батареи способствовал и своеручно работал».

Отличий доставало на дюжину нижних чипов, но и одного обошли наградой. В третий раз обошли…

Несолоно хлебавши возвращался Бестужев в Дербент. В неприютную саклю, где дым разъедал глаза, холод сковывал рассудок.

В экспедиции согревала солдатская любовь — отблеск славы, озарявшей мучеников декабря.

Позже он написал братьям Полевым (Ксенофонт Алексеевич тоже предложил свою поддержку, вступил в переписку; Полевые завоевали полную его доверительность): «О, какие высокие души, какое ангельское терпение, какая чистота мыслей и поступков!.. Самая злая, наемная клевета не могла в 6 лет искушения найти ни одного пятнышка, и в какое бы болото ни бывали они Гфошены, приказное презрение превращалось в невольное уважение».

Из похода генерала Панкратьева он вынес восторг перед горцами, достойными сынами Кавказа, умеющими сражаться и геройски умирать.

По отдельности каждое из этих двух впечатлений окрыляло душу. Но, сопоставляясь, они вступали в тягостное несогласие.

…Поздней ночью Бестужев устало слез с лошади. Откинул щеколду и остановился, слыша гулкие удары своего сердца. Кто-то здесь побывал. Следы несколько странные — все разложено по местам, пол подметен, аккуратная кучка кизяка подле очага.

Метнулся к сундуку, где хранил бумаги. Ничего не тронуто, сюда не лазили.

Отлегло. Не ужиная, приготовился спать. Поверх сафьянового чехла на подушке красовалась вышитая накидка. Странно…

Подполковник Яков Естифеевич Васильев собрал гармошкой морщинистый лоб, перед ним вытянулся в струнку рядовой Бестужев. Признаков непокорности не обнаружил, но уверен: солдат в походе якшался с разной публикой, под началом у генерала Панкратьева немудрено набраться крамолы.

Впредь, решил Васильев, в боевые экспедиции Бестужева пускать не будет. Тем паче понапрасну голову подставляет, — ни наград, ни производства ему не видать, как своих ушей.

Еще раз с высоты собственных эполет посмотрел на рядового. И приказал сбрить отросшие в походе усы. Сей же час, в казарме… Потом идти домой, являться лишь по его вызову.

Дорогой Бестужев завернул на почту. Здесь его тоже ожидала новость: дурные слухи о жуликоватом пьянице-почтмейстере подтвердились, чиновник проворовался на солидную сумму, в нее входили и деньги, посланные рядовому Бестужеву.

15

Он мечтал верно служить России и сохранить чистую совесть. «О, нигде в мире не хотел бы я родиться, кроме России, и ее-то

должен я стараться забыть, потопить в Лете».

Колебаниями, нараставшими после экспедиции в Эрпели, Бестужев ни с кем другим не делился.

Зачем брал участие в походе? Хочешь отличиться — стреляй по горцам, заливай кровью их земли.

Можно, конечно, держаться за позиции политические, еще с Якутска он тверд: покорение Кавказа — историческая необходимость.

О подобной необходимости, однако, лучше, судить издалека, посасывая хорошо прокуренную трубку.

Побывав в аулах, Бестужев вообразил полемику между Драгунским капитаном и умудренным жизнью Полковником: как вести покорение Кавказа?

Нет для Капитана иной логики, кроме «трехгранной»: «…если вы хотите завоевать Кавказ картофелем да кашкой, так засейте его сперва картечью… На пепле всходят чудесные виноградники!..»

У Полковника своя программа: «Самые прочные, самые справедливые завоевания бывают с плугом или рублем в руке. Торговля опутает дикаря скорее своими серебряными цепями, чем крепости и пушки и военные линии…»

Полковник умилен: чудесное место для фермы! Капитан: какая славная позиция для засады!

Отрывок про Капитана и Полковника не ложился ни в «Аммалат-бека», ни в другие повести.

В «Рассказе офицера, бывшего в плену у горцев» Бестужев довольствуется ролью чичероне, который знакомит с племенными обычаями. Любовные похождения русского офицера и горянки должны ему помочь приманивать читателей.

Сам же он в этот час был далеко от экзотичных похождений. В тоске грыз перо, норовя прорвать цепь противоречий между Капитаном и Полковником. Не они спорили — он с самим собой…

После ночи над рукописью Бестужев ковылял в казарму; Васильев, как всегда, муштровал гарнизон к смотру, С повестью не ладилось, глаза слезились, открылись рези в животе.

Худо на плацу, того хуже — на часах, да и в пустой сакле не праздник.

Изредка саклю навещала Ольга Нестерцова, стараясь разминуться с хозяином. Это она наводила у него порядок, пока он ходил в Эрпели. Убирала и теперь, чинила, стирала амуницию. Но почему-то сторонилась его.

Над этим он голову не ломал. Хотя минутами слепая тревога подкатывала к сердцу. Бестужев гнал ее, заставляя себя думать о

рукописи, ждущей завершения.

Он обязался отправлять Павлу в год 500 рублей. Петербургские и московские журналы дрались из-за Марлинского, не скупясь на гонорары. Не попытать ли и младшему брату счастья на ниве сочинительства? Не описать ли ратные походы? «Свяжи это единою идеею: надо цель и целое, без этого сам Пушкин — пустоцвет».

Павла наставляет в письмах, Петра — в личных разговорах.

Генерал Панкратьев отпустил Петра Бестужева в Дербент для лечения, и летом 1832 года братья вместе в дербентской сакле.

Затравленный командиром, Петр сделался желчен, нелюдим. Александр тщится растормошить его, заставить что-нибудь поесть. Петр часами сидит, забившись в угол тахты, зверовато озирается, сорочка расстегнута, волосы в беспорядке.

Ночами, свободными от караула, Бестужев корпит над рукописью. Чадят свечи, со своей подушки за ним наблюдает Петр, враждебный взгляд жжет затылок, но надо писать, писать. Упущено столько времени! Не заработаны деньги, которых ждет семья.

В приказе об отставке Петра каверзные оговорки. Петру дозволено жить только в Сольцах. Где в деревне доктора?

Он обнимает безучастного, с остановившимися глазами брата. Провожает его на корабль, держащий курс в Астрахань.

16

Скрылись паруса, увозившие Петра. Александр спешно готовит дом, ожидая Павла, которому наконец обещан отпуск.

Вместо очага в сакле сложили печь, подогнали рамы и двери. Бестужев доставал гвозди и доски, что в Дербенте было непросто.

Его одолевали чирьи и ячмени, рези в животе.

Наградами снова обошли, в походы не пускают, донимают муштрой и караулами, как рекрута.

Известность Марлинского докатилась до Кавказского штаба, барон Розен, новый командующий корпусом, ценя писателя Марлинского, в грош не ставил рядового Бестужева…

Павел возмужал, обрел зычный бас, властные манеры. Уже изведал все кавказские наслаждения — лихорадку, завал желудка, болезнь печени. Рассуждал о походах, армии, об артиллерии и прицеле к пушкам. (Изобретенный им прицел назван бестужевским. Николай и Михаил построили в Забайкалье экипаж — «бестужевку»…)

Младший брат взял с конторки номера «Московского

телеграфа», Александр возбужденно объяснил: этот «Аммалат-бек» рождался несказанно тяжко. Истинную кавказскую быль нелегко обратить в романтическую историю…

Павлик удерживал зевоту. Старший брат все еще обуреваем головоломными идеями, будто философ-профессор, а не рядовой линейного батальона. Талант победил крепостные стены, каспийскую глушь, дал знаменитость и деньги. Вот и славно. Но постоянное копание во всяких отвлеченностях?

И эти чаепития Александра со старыми татарами, персами; седобородый бек Ферзаали — друг ему задушевный. К восхищению братом у Павла добавляется насмешливая нотка, какую вызывает всякое чудачество.

Павел полагает — Сашу тянет к старикам, потому что сам стареет: здесь мозжит, там колет, глаза гноятся, два дня не брит — серебряная щетина.

Александр лезет из кожи вон, угождая Павлику, развевая скуку, написанную на его лице. Ведет брата путаными улочками Дербента, пересказывая их историю: кто когда жил, кто кому наследовал, как строятся дома.

Павел, вероятно, и сам нашел бы чем занять себя. Вскоре они расстанутся: свидятся ли когда-нибудь?

Рукописные листы покоятся под тяжелым голышом, принесенным с берега Каспийского моря.

Павлу милы эти заботы, он и сам тревожится за Сашино зрение, — как-то сможет писать?

— Обойдется, — успокаивает Бестужев, — я заказал Лиошеньке очки.

Он снабдил Павла всем нужным для обратной дороги, дал пятьсот рублей. Матушку порадовал: «Павел стал прекрасным молодым человеком: солиден, умен, нравственен. Я ожил душой, пожив с ним».

С отъездом Павла — глухая пустота. Заполняя ее, Бестужев затеял переезд из сакли в татарский дом неподалеку от крепости. Здесь квартировал капитан Иван Петрович Жуков — лысеющий крепыш, добрый малый, судимый за причастность к Южному обществу, сосланный рядовым в Архангельск, на их свадьбу с дочерью коменданта явился незваный гость — фельдъегерь: жених переводится на Кавказ. За храбрость и рану теперь ему возвращен офицерский чин…

В этом доме снимали комнаты и другие офицеры. Все расположены к Бестужеву, — он ссужал их деньгами и не торопил с возвращением долга.

Подполковник Васильев тоже попал под впечатление от богатства, обрушившегося на подчиненного. Деньги текли не с

папенькиного банковского счета, не от оброчных крестьян, не из поместья, но за писания, какие этот нижний чин изготавливал в караульне. Странность, сбивавшая с толку Якова Естифеевича. Тем более что Бестужев был старателен на плацу и на часах. Своенравничал только вне казармы. Щеголял в шинели тонкого сукна, сам изобрел фасон, не спросясь, поселился в новую квартиру…

На подобное своеволие Васильев теперь взирал снисходительно. Выкажет государь августейшую милость к сочинителю — командир батальона заранее ее угадал; не выкажет — командир батальона не давал рядовому послаблений в службе.

Новое жилье Бестужева состоит из двух комнат: меньшая — кабинет, большая — спальня с выходом на галерею, опоясывающую со двора весь дом.

Переселение было хлопотное — вещей и мебели много, ковры, свернутые в тяжеленные трубки, перетянутые бечевой книги, коллекция сабель (выписывал оружие из Петербурга, заряженный пистолет держал под подушкой, кинжалами украшал стены). Возница опаздывал, ковры, книги, тюки с вещами свалены на землю. Тучи набухли дождем.

В разгар суматохи явилась Ольга Нестерцова. Словно не исчезала, провалясь как сквозь землю. Подогнала чью-то повозку, кликнула двух отставных унтеров; все завертелось в безостановочном движении, источник которого — сероглазая девица с косой.

Ливень грянул, когда переезд был завершен.

Вечером, вздув самовар, Бестужев благодарно всмотрелся в неожиданную помощницу. Под кавказским солнцем быстро созревали не только горянки.

Сравнение с горянкой не совсем подходило. У Ольги русская красота — румянец во всю щеку, черные ресницы при светлых волосах и ясных серых глазах, нежная линия подбородка.

— Встань-ка, пожалуйста, — Бестужев восхищенно цокнул языком.

— Ровно кобылу покупать собрались, — свободно улыбнулась Ольга.

— Прости меня, Оленька. Я видел в тебе ребенка, а ты… Давай чай пить. Как бы я без тебя нынче…

— Ты, Александр Александрыч, и без меня управлялся.

— Это о чем?

— Семеро на одном колесе проехали…

Смелость эта — от Бестужева не укрылось — напускная. «Ты», обращенное к дворянину, ей трудно. Однако дочь солдатской слободки смолоду знакома с армейской иерархией, рядовой для

нее — «ты».

Бестужеву нравится и такое обращение, и его затрудненность; девушка не развязна, сыплет вопрос за вопросом, но обходит темы, которые могли бы его царапнуть. Все более о походе в Эрпели, боевых случайностях, о наводке моста под пулями.

Бестужев отвечал, Ольга мыла посуду. Кончила, за платок и — на галерею. Скрылась в беззвездной дербентской ночи.

Следующие сутки он безотлучно провел на плацу о в караульне. Тем временем Ольга наводила порядок в новых комнатах, стараясь угадать вкусы хозяина. Надула губы, когда он сдвинул конторку к тахте. Утешая ее, Бестужев сказал, что конторка, конечно, уместнее возле окна, но он обычно пишет лежа.

Удивление Ольги не зпало предела — человек пишет лежа! Другой и сидя едва карябает!

О себе говорила мало — не о чем. Папенька, отслужив двадцать лет, почил в бозе, она с матушкой мечтает уехать на родину, в Воронежскую губернию. Тушуясь, попросила у Бестужева книжку «вашего сочинения» (к сочинителю — на «вы»).

Ольга не заполняла пустоты после отъезда Павла, но дни скрашивала. Кроме одного.

Накануне 14 декабря Бестужевым каждый год завладевала ипохондрия. Вся суматоха с зимним переездом — если как на духу, — чтобы утопить в ней этот день. Не утопил.

Проснулся рано, обмакнул перо в фаянсовую чернильницу.

Фраза не ладилась. Он досадливо кусал перо, рисовал чертиков, взял свежий лист. Но дело застопорилось.

На втором этаже встал Жуков, тяжелые шаги отдаются в бестужевской опочивальне. Испытывая трепет перед дарованием знаменитого автора, Жуков не заявится в гости поутру, сам ступает на цыпочках, убеждает соседей блюсти тишину.

Но сегодня и тишина не на пользу. Утром не заладится — весь день насмарку. Попив кофе, Бестужев переходит в кабинет, садится в кресла, подперев кулаком голову, смотрит в окно с дождевыми потеками. Муторно в четырех стенах.

«Сегодня день моей смерти», — бьется в мозгу.

Кряхтя, натягивает сапоги с толстой подошвой, доверху застегивает шинель и, подняв воротник, идет в дождь, в ненастье. Ноги сами ведут к загородному русскому кладбищу. «Сегодня день моей смерти».

Бродит среди покосившихся черных крестов и мокрых плит. Те, кого он помнил, подле кого стоял 14 декабря и содержался в Петропавловской крепости, погребены без могил.

У Александра Бестужева тоже нет могилы, он убит казнью

друзей, отравлен тухлятиной в форте «Слава», заморожен в якутской тундре, отдан на съедение дербентским скорпионам. Грубое палачество сочетается с утонченным: отторгнуть от близких, от матери, выбить из уготованной колеи…

Он слышал, как заколачивают гроб, слышал в равелине, эхо раскатывалось по морозной Якутии, кавказским вершинам.

«Сегодня день моей смерти».

В день своей смерти он шагает по топким дорожкам кладбища.

После смерти Бестужева, вопреки всем смертям, родился Марлинский. Он принимал наследство, копил жизненные соки, — у него не сразу прорезался голос, Илья Муромец сиднем сидел тридцать лет и три года…

Дождь кончился, но тучи все еще низко неслись с севера, вязкая грязь чавкала под сапогами, шинель набухла влагой.

Он остерегался простуды, нарывами осыпавшей тело, и вернулся в город.

По выщербленным, скользким от глины ступеням, держась за перила, спустился в духан. Хозяин прижал к груди грязное полотенце: «К нам пожаловал Искандер-бек». На стол — тонкогорлый кувшин дрянного, однако согревавшего вина, кусок шипевшего с жару мяса на шампуре.

Марлинский продолжал Бестужева. На свой манер, позволявший и отступить от предтечи, и взять кое-что из наследия. Он восславлял высокие порывы, какими грезил Бестужев. Свободно мыслил. Служил пером своей отчизне.

Теперь он знал эту отчизну, побывал в полуночных землях и полуденных, доверительно беседовал с жителями, даже когда они не говорили по-русски, постигал человеческие нужды, принимая в сердце свое чужие беды, родственные собственным.

В чем-то они обмишулились, его собратья и единомышленники по тайному обществу, грудью ставшие против пушек, коими свирепо командовал император. Но чего-чего, а отваги, верности родимым краям, благородных помыслов, самоотвержения им хватало. С душевным жаром восславлял Марлинский эти добродетели, нерушимо веря: они принесут свободу и счастье многострадальным соотечественникам.

…Грязные сапоги он оставил на галерее; шинель повесил возле печки, обогревавшей обе комнаты. Кто ее вторично топил — татарчонок? Ольга?

Чем движима Ольга? Добротой? Жалостью? Любопытством? Марлинский обладал одинаковой с Бестужевым способностью возбуждать женский интерес. В дамских салонах Петербурга и Москвы каких только небылиц не плетут о загадочном

сочинителе.

Но он помнит женскую руку, протянутую еще до того, как Марлинский стал кумиром, помнит — и «Фрегат «Надежда» посвятит Екатерине Ивановне Бухариной…

В долгополом персидском халате, перепоясанном шалью с кистями, он пишет Ксенофонту Алексеевичу Полевому.

Ноги в разношенных чунях на низкой скамеечке, умиротворяюще потрескивает фитиль, дождевые струи бьют в оконное стекло.

Марлинский не меньше Бестужева озабочен русской словесностью, радуется умножению сочинительского племени, хвалит роман Николая Полевого «Клятва при гробе господнем», сказки Луганского. Но «собственные вымыслы Луг-го не очень удачны: эти похвалы русакам, да насмешки над французами — куда больно изъездилось! Солдатских сказов невообразимое множество, и нередко они замысловаты очень. Дай-то бог, чтобы кто-нибудь их собрал: в них драгоценный, первобытный материал русского языка и отпечаток неподдельного русского духа».

У Марлинского, как и у Бестужева, свободный обзор по сторонам. Даже шире, смелее. Он всякого нагляделся и непримирим, когда речь заходит об участи людей, народов.

«…Если б знали, как сделалось переселение армян из Адербиджана — содрогнулись бы камни… Ничего не было приготовлено. Им отвели гибельный климат, бесплодную почву, и с этим ничтожную денежную помощь, и то одной части. Половина их померла, четверть разбежалась, последняя четверть влачит бедственную участь в чужбине… Вот наши колонии. Посмотрите, что теперь Эривань, что Ахалцых под нашим знаменем — это жалкие груды развалин, обитаемые шакалами. Все бежит, все сохнет…»

Письмо с просьбами и благодарностями на первой странице, с политическими идеями в середине вело к печальному финалу.

«Сегодня день моей смерти. В молчании и сокрушении правлю я тризну за упокой своей души, и когда найду я этот упокой? Воспоминания лежат в моем сердце, как трупы — но как трупы — мощи.

Я не могу более писать…»

* * *

В этот день однообразно стучащая машина в типографии Греча допечатывала тираж «Русских повестей и рассказов» — 2400 экземпляров.

Кто автор? Секрет. На обложке — ни фамилии, ни псевдонима. В томах чередуются додекабрьские сочинения Бестужева с недавними — Марлинского.

Молодому литератору Бестужеву и не снилась слава, какую за год-два снискал Марлинский. «Первый прозаик наш», «Луч высшего всеобъемлющего прозрения». Журналы осыпали похвалами, ставили рядом с Пушкиным (иной раз выше), с Гофманом, Гюго, Купером, Эженом Сю. Марлинский не усматривал в том чрезмерности и со своего главенствующего места готов был, воздавая должное, пожурить Пушкина: «Ты — надежда Руси — не измени ей, не измени своему веку, не топи в луже таланта своего, не спи на лаврах».

Бестужев сделал набросок мира, который с уму непостижимой быстротой и энергией творил Марлинский. В мире Марлинского совершались фантастические драмы, гремели выстрелы, скакали горцы, мореплаватели одолевали бури, идеальное выступало во всем великолепии, зло обнажало черную пасть, любовь, честь и верность стоили дороже несметных богатств. Мир этот, минутами совпадая с подлинным, разительно отличался от того, в каком день за днем жили люди, и потому был особенно притягателен. Вход в него открыт для всех — знатных и безродных, — лишь бы стремились к идеалу, как славные герои Марлинского. Иллюзорный мир манил пряной экзотикой, унося далеко от жалкой обыденности.

Марлинский не полагал себя небожителем, безразличным к земным заботам и тяготам. Отнюдь нет. Контраст между тем, что его соплеменники видели каждый день, и тем, о чем читали в написанных им книгах, не убаюкивал, подобно сказке на сон грядущий, но будил воображение и энергию, устремленную к разумно справедливому переустройству жизни.

Такую жизнь легенда сближала с таинственным автором, интриговавшим публику своей небывалой судьбой, недосказанностью исповеди.

* * *

Он зажмурил слезящиеся глаза, нащупал катышек ячменя на левом веке. Ломило ноги; за сегодняшнее гуляние под дождем не миновать расплаты.

Потолок поскрипывал под тяжелыми сапогами Жукова. Вечерами придерживавшийся чарки капитан не помышлял о покое квартиранта первого этажа.

Ноги опущены в лохань с теплой водой, он отдохновенно

пыхтит трубкой, в полудреме полирует ногти о шелковый лацкан халата.

В постели, засыпая, подумал, что «Фрегат «Надежда» должен удаться: там две дорогие ему стихии — любовь и море.

Пораньше встать, наверстывая упущенный сегодняшний день. Завершить «Фрегат» и — за роман…

17

Ольга давно искала такое зеркало — в круглой позолоченной оправе, на подставке с подвижным креплением. С Бестужевым у нее негласный уговор: она находит нужную ему вещь, торгуется до хрипоты, потом получает у него одобрение и деньги.

…Через не затянутое шторой окно на галерею он увидел ее с распущенными волосами перед новым зеркалом. Девушка собирала волосы копной и, отпустив, давала рассыпаться по плечам.

Бестужев опрокинул стул, на котором обычно стягивал сапоги, обрывая пуговицы распахнул шинель и обнял Ольгу. Она не уклонялась, но не отвечала на поцелуи.

Слабеющее тело, сдавленное мускулистыми объятиями, готово было сникнуть. Но не сникло, не уступило натиску. Ольга, зажмурившись, оттолкнула его. Изнеможенно опустилась на тахту, снизу вверх оторопело уставясь на Бестужева.

Он скинул шинель, сел рядом; она отодвинулась.

— Экий ты, Александр Александрович… Барская замашка. Девку испортить — тьфу. Только со мной не выйдет…

Он что-то бормотал, винясь, Ольга смотрела, смотрела. Пальцы сноровисто заплетали косу. Красные пятна сходили со щек.

— Правда, Александр Александрыч, ты царя извести хотел? С налету норовил, словно меня сейчас?

Бестужев расхохотался, смеялся долго, как давно не доводилось, и Ольга улыбнулась.

Подошла к зеркалу, оправила шторку на окне в галерею, вплотную — он уловил ровное дыхание — приблизилась к Бестужеву, к его лицу: отвисшие темные складки под глазами, кустистые брови с седыми волосинками, морщины на плохо выбритых щеках, след после нарыва на подбородке.

Поцеловала, едва коснувшись, взяла с вешалки длинный жакет, накинула платок, старательно притворила за собой дверь.

Жениться! Лучше, краше ему не сыскать. Простолюдинка? Папенька поднял до себя бедную мещанку. Стар для Ольги? А

Мазепа?..

Мария нежными очами

Глядит на старца своего…

Пушкин тут кстати. Бестужев все-таки не старец, но сдал изрядно — борозды у носа, седина, изнурительные чирьи, ячмени.

…Ольга бывала теперь чаще, держалась свободнее, ее любознательность не знала насыщения. «С чего это порох взрывается?», «Почему зеркало отражает?», «В Якутии медведи — белые?», «А французы едят лягушек и мышей?», «Отчего у людей разные языки, отчего у одних кожа темная, у других — светлая?..»

И слушает. Заберется на тахту, положит голову на согнутые колени, сидит тихонько, с удивленно застывшими глазами.

Потом, вознаграждая себя за неподвижность, пританцовывая и напевая, сновала по комнатам, по галерее, подбрасывала хворост в печку, укладывала диванные подушки. Все более уверенно входила в роль хозяйки, но властвовала пока что только над одеждой, вещами, съестными припасами, платяными щетками да веником. Изредка, догадываясь, что Александр Александрович не в казарме, а у кого-то из знакомых, посылала за ним Сысоева, денщика капитана Жукова. Бестужев, радуясь вызову, спешил к себе.

Обрадовался и в тот февральский день, когда запыхавшийся Сысоев выпалил: девица Нестерцова ждет господина Бестужева.

Ольга была в ударе, кого-то передразнивала, дурачилась. Резвясь, в шерстяных чулках вскочила на тахту.

Бестужев, не ища повода, заливался смехом. Как в далеком петербургском детстве. Но сегодня — он чувствовал — повод имелся, Оля позвала его неспроста, балуясь, оттягивает разговор.

Ольга подбросила подушку, все так же хохоча, упала на тахту.

Выстрел слился с отчаянным криком.

Случайно задет курок пистолета, спрятанного в изголовье.

Бестужев схватил со стола свечу, толкнул подставку зеркала, оно грохнулось об пол… Дурная примета.

Ольга распласталась на спине. Рванул платье: кровь хлестала из раны в плече.

Кинулся к Жукову. Пусть гонит Сысоева за лекарем, велит рапортовать дежурному по караулам, сам — сообщит Шнитникову…

Когда лекарь бинтовал плечо и грудь, к Ольге вернулось сознание.

— Это я сама… По нечаянности… Пистолет под подушкой.

В лазарете Бестужев сидел рядом, узнавая и не узнавая Олино — без кровинки — лицо.

Она выздоровеет, они сыграют свадьбу.

Превозмогая боль, Ольга улыбается, Он счастливо трясет головой.

На третьи сутки Ольга скончалась.

Бестужев одеревенело поднялся. Закрыл ей глаза. Веки успели похолодеть.

Он шел сквозь тьму дербентских улочек, нерушимо зная — зачем. Пистолет, выстреливший в Ольгу, на своем месте. Еще одна пуля…

Пистолета не было. Его уже изъяли, — вещественная улика…

Похороны непомерно пышные для дочери унтер-офицера. Лакированный катафалк, лошади цугом. У Бестужева не покрыта голова, расстегнута шинель. Олина мать, Матрена Лазаревна, в салопе и черном платке, с пустыми от слез глазами, дряхлый священник, старавшийся не ступать в лужи, соседи по слободке.

Миновав южную оконечность города, процессия повернула к русскому кладбищу.

Два с половиной месяца назад, 14 декабря, он брел по грязи мимо этих безвестных могил…

* * *

Услышав о несчастье, Шнитников нарядил для следствия секретаря Тернова и поручика Карабакова. Даже останься Нестерцова в живых, дело могло принять неблагоприятный оборот. Васильеву ничего не стоит смастерить капкан для Бестужева. Шнитников хотел упредить Васильева. И упредил, вызвав двойную ярость тяжелодумного командира батальона.

Васильев давно искал случая проучить Бестужева и дать щелчок Шнитникову. И еще одно заставляло действовать без лишних церемоний: с Васильева тоже могли взыскать за Бестужева. Почему нижний чин живет на приватной квартире? откуда пистолет?

Для дознания Васильев назначил подпоручика Рославцева, не выносившего Бестужева. Рославцев назойливо подсказывал свидетелям ответы и, записывая, обрабатывал их. Намеренное убийство; рядовой Бестужев ревновал Ольгу к духанщику.

Бессмыслица очевидная и оскорбительная.

С замедлением Бестужеву открывалось, какие великие выгоды обещает его недругам низкая ложь; одним пинком

втоптать в грязь былого заговорщика, сейчас — знаменитого писателя. Его пугал не приговор (и отъявленным крючкотворцам не отыскать состава преступления), но суд. Рапорт государю, снова отказ в наградах и чине… Он воззвал к Вольховскому о помощи. Барон Розен внял генералу Вольховскому; обвинение в убийстве и впрямь шито белыми нитками. Командующий не слишком жаловал солдафонов, но и выгораживать людей, замешанных в декабрьской смуте, не желал.

В глазах Розена это дело — отголосок подспудной борьбы, какая не стихала в кавказских полках между сторонниками высланных, и теми, кто старался их согнуть в бараний рог, сжить со света. В истории с Бестужевым командующему потребна осторожная взвешенность. Обвинения, чего уж там, топорные, на последнем этапе от них уцелело два пункта: держание дома заряженного пистолета и прелюбодеяние. Жуков отговорил Васильева от обвинения в убийстве. («Суд это отклонит, и ты, Яков Естифеевич, сядешь в лужу».)

Для барона Розена оба пункта смехотворны. В краю, где разбойничают днем и ночью, только отъявленный глупец не имеет рядом пистолета. Прелюбодеяние? Забота командующего — устав воинский, а не монастырский.

Но от однобокости увольте. Взыскания всем. Шнитникову и Тернову помягче, Васильеву и Рославцеву — построже.

Справедливость как бы восторжествовала, но Бестужев не желает смириться со вторым пунктом облыжного обвинения. Не было любовных утех. На Украине по два года жених безгрешно спит с невестой…

Жуков смеялся:

— Из тебя, батенька, безгрешный хохол, что из тарантаса балалайка.

— Я не о себе.

— Ей, покойнице, все едино. А у тебя, Александр, так и так ангельские крылышки не вырастут…

Бестужев перетащил тахту в меньшую комнату — кабинет. В бывшей спальне устроил кухню и столовую. Свободные часы он сиживал у Олиной матери.

В больнице Матрена Лазаревна чуть не прокляла дочь. Бестужев остановил ее: «Ольга мне невеста».

Теперь он расписывал вдове унтер-офицера трогательные сцены возможной — выздоровей Ольга — их семейной жизни. Нестерцова слушала его, как слушают сказки: самозабвенно и недоверчиво. Матрена Лазаревна и сама разоткровенничалась: ей здесь невмоготу, схоронила мужа и дочь ненаглядную…

Оставляла Дербент не только старая Нестерцова. Складывал

сундук и капитан Жуков — получил отставку.

На Бестужева обрушились болезни, тоска. Недавно еще петушился, читая, что Марлинского равняют с Пушкиным, европейскими знаменитостями. Чушь! Выйти бы из разряда средних; два-три человека скажут: «это не худо», он умиленно заплачет.

Скованный немотой, думал о Пушкине иначе, нежели в часы поднебесного парения. Тогда больше уповал на себя, теперь — на него. Только бы Пушкин не почивал на лаврах; у лавров для гения свои шипы, они мягки для посредственности, для Загоскина и Булгарина…

Собственный дар его — такая же химера, как и возвращение в Россию. Не видать ему снегов родины, за которые отдал бы весь виноград Кавказа, все розы Адербиджана.

* * *

Летом заказал надгробный камень Ольге Нестерцовой. На лицевой стороне фамилия и даты, на обратной — сломленная роза с оторванными лепестками, пораженная молнией. Под розой — единственное слово: «Судьба».

* * *

Полгода Бестужев почти не притрагивался к бумаге. Натолкнувшись на свой псевдоним в списке авторов какого-либо журнала, заходился бешенством: отыскали приманку…

Инженер Гене, снаряжая горную экспедицию, звал с собой Бестужева, уломал Васильева («Лучшего толмача нет»). Бестужев ехал под видом татарина. Вместе с солдатской амуницией оставил дома все тяготы. Будет слушать горные ручьи и любоваться зеленью листьев, глаза отдохнут на белоснежных вершинах…

Но глаза шарили по земле.

Повадки туземцев, обычаи ханов наводили на мысль о русских князьях — сходный, думается, образ жизни…

Зачем ему старинные князья? Он гнал прочь рождающиеся в уме сцены исторического романа. Для повести о современном Кавказе тоже не годилось. В письмо Ксенофонту Полевому вкраплено кое-что о записках, походя сделанных в экспедиции: «…едва ли могут быть скоро гласны, ибо я вижу Кавказ совсем в другом виде, как воображают его власти паши».

Ему знакомы два Кавказа: Кавказ страстного Аммплат-бека, Кази-Муллы, сраженного осколком гранаты, и Кавказ, где властвовали скука, дикость, водка.

Он воспевал романтический горный край, но сейчас кочевал по унылой местности. Не обманывал, скорее, обманывался, давая волю воображению, сверкающим краскам.

Один из зачарованных ими, Яков Иванович Костенецкий (выгнан из Московского университета за участие в Сунгуровском тайном обществе и направлен рядовым в Куринский полк), отыскал Бестужева в Дербенте. Кумир оказался человеком радушным, охотно открывающим свои сочинительские карты.

Взяться за повести, обличающие свет? Гнева достанет, сюжетов не занимать. Однако обязан досконально знать сегодняшние моды, покрой платья, убранство квартир.

Во «Фрегате «Надежда» описываются плафоны Александрийского театра, созданные после того, как он покинул столицу. Не словишь на неточности, а у автора под рукой были только письма…

В переписке Полевой невзначай заметил, что уже не носят чёрных галстуков; Бестужев схватился за голову: «Смешно мне было, что я так отстал от модного света и сделал подобную ошибку».

Когда бы только галстуки и плафоны!

В университетских аудиториях, кажется, возобладали новые настроения; Костенецкий дружил со студентами Герценом и Огаревым. Имена эти ничего не значили для Бестужева. Но чем-то тревожили: мужают иные властители дум, его кавказский ореол тускнеет. Это было тем вероятнее, что и Кавказ тускнел для Бестужева.

Живописные горцы — все больше невежды и разбойники. Но глупо ждать приветливости, идучи к ним с картечью и штыками.

Политика подкупа старшин и ханов близорука, как близоруки, ненавистны ему всякие полумеры.

Не упоминая декабрьскую неудачу, Бестужев связывал ее с паллиативными действиями. Но и правительство во многих пунктах бранил за половинчатость.

Перед оторопевшим Костенецким развертывалось небывалое по дерзновению полотно.

Русские, как удав, с каждым днем тесней стягивают свои кольца, отнимая у туземцев поле за полем, утес за утесом. Платятся своей кровью, солдатскими головами. Этих жертв, этих трат достало бы вылепить Кавказ из меди на Пулковской горе. Если бы все вложить в один поход (сколько солдат гибнет в два года от поносов, лихорадки!) и завладеть горами со здоровым

климатом, Кавказ станет раем…

У Костенецкого туманилось в голове, он смиренно ожидал, когда Александр Александрович заговорит о вещах более внятных. О русской старине, например, о кольце, которое выкопал когда-то на Куликовом поле и бережет, как святыню. Или о другом кольце — железном, на большом пальце, для удобного взвода тугих курков…

Купаясь в море, Костенецкий восхищался неутомимостью Бестужева-пловца.

На берегу Александр Александрович, поигрывая мускулами, вытирал полотенцем блестевшие от воды волосы, отбрасывал их назад, капли падали, скатывались с мощного торса. По-мальчишески, прыгая на одной ноге, попеременно наклоняя голову к правому плечу и левому, он удалял воду из ушей. Костенецкий не видел ничего комичного в тяжеловатых прыжках, не замечал венозных узлов, голубыми гроздьями набрякших на ногах Бестужева.

Молодой поклонник узрел в нем само здоровье, удаль — то, чего и добивался Бестужев, что питало легенду о Марлинском. Легенда эта бродила по столичным салонам, слухи о донжуанских похождениях сменялись вестью о геройской гибели, весть отступала, новые были и небылицы украшали имя Марлинского.

По настоянию Бестужева Костенецкий поселился у него на квартире вместе с молчуном Борисом Нероновичем Поповым. Батальонному лекарю Попову известно, что Бестужев страдает едва не всеми хворями, указанными в медицинских пособиях. Тиснение крови дает адские головные боли, рези в животе мешают застегнуть мундир, приступы вялости делают нелюдимым…

Хлопоты о переводе — в любой круг ада, только прочь из Дербента — увенчались успехом. Но как воспользоваться новым назначением? Слишком плох Бестужев, не сесть в седло. Ахалцых — смертельная скука, траты на устройство. Меняет шило на мыло.

В Дербенте удалось наконец поладить с Васильевым, обе стороны устали от распрей. И Шнитников под нажимом генерала Байкова протянул руку «этой дубине». На праздничном ужине распечатали шампанское и портер. Но Бестужеву нельзя ничего есть, пить…

У Павла тоже худо со здоровьем, длиннющий список болезней. С образцовой аккуратностью Александр переводит деньги, просьбами докучает редко, но «любезнейший Поль», состоящий теперь при канцелярии начальника артиллерии,

забывает о них, делает долги, за которые расплачиваться брату.

Бестужев жалуется Ксенофонту Алексеевичу на неумение ладить с «мадам цензурой», на тягостность своего положения в литературе.

«Не только за критику, да и за сказку страшно садиться — и положительно говорю вам, что это главная причина моего безмолвия… Малейшее слово мое перетолкуют, подольют своего яду в мое розовое масло — и вот я вновь и вновь страдалец за звуки бесполезные!!»

Он еще не окончил послание Полевому, где последними словами бранил Фаддея, как принесли письмо от Булгарина.

В сущности, Булгарин — добрый малый, любит Бестужева, еще больше, конечно, любит деньги. Почему, однако, клевещет на Полевого?

Быстро закончив послание Ксенофонту Алексеевичу, взяв новый лист и не меняя пера, Бестужев пишет к Булгарину.

Слишком откровенничать не станет. Но от защиты братьев Полевых он не отрекается, да будет Булгарину известно: для Бестужева «Московский телеграф» — лучший журнал. Чтобы легче глотать такое, надо смазать строки искупительным елеем. Полезно и для тех, кто будет читать письмо к Полевому.

«…Совесть моя чиста против бога и царя, а чистая совесть — копь неизменный».

Про чистую совесть, про царя и бога вполне уместно.

«Но талант мой убит в три доли, ибо я не знаю, что писать. Свет далек, историческое невозможно в этой глуши. Цензура пугает меня, а мелочи службы съедают досуг. Смею думать, положительно, что я более принес бы пользы как писатель, чем как гарнизонный солдат…»

Самое время опять насчет царя и бога.

«…Но царь далеко, а бог высоко, терплю больно, но безропотно».

Он устал от вечной необходимости чередовать прямоту и уклончивость, в правду добавлять лукавство.

Расстегнул верхнюю пуговицу халата; рядом с цепочкой нательного крестика шнурок из Олиных волос с золотыми зажимами.

Надо, стряхнув усталость, недомогание, обиды, настраивать себя на писательство.

Пламень славы пылает, когда его поддерживаешь. Откуда волочить поленья, никого не касается. Лишь бы свежие, легко загорались; публика любит экзотические породы…

«— Кто идет? — закричал часовой у въезда в Шемаху…

— Солдат.

— Да кто именно-с? — прибавил часовой, увидя, что я — проезжий.

— Александр Марлинский.

— Пожалуйте открытый лист!..»

Унтер-офицерские нашивки для Бестужева недостижимы, но в его власти уступить Марлинскому свою солдатскую шинель и снабдить открытым листом. Ноша на собственных плечах от этого не уменьшалась; Марлинский был слишком возвышен, чтобы брать прозу бытия всерьез; всякие там денежные хлопоты и желудочные рези. Ко времени переезда в Ахалцых его характер сложился, и невинная подстановка оправдывалась, — Марлинский замещал Бестужева. Не в самом путешествии, так в рассказе о нем. Марлинский и рожден, чтобы рассказывать, отбирая у Бестужева все для того годное, используя кое-какие соображения. Кое-какие. Повивальной бабкой при его рождении была цензура.

Тяжкое путешествие Бестужева Марлинский обратил в ироничный и увлекательный «Путь до города Кубы».

Марлинский благодушен, но не прекраснодушен и по-бестужевски зорок, его фантазия — свободная птица, мысль стремительна. Кстати, об этом движении.

«Человек может вам картиною, барельефом, звуком, книгой передать только свое понятие о вещи, а не самую вещь, свой взгляд на нее, а не точный ее вид. Вот почему нелепо требовать от поэта портретного сходства местностей: он перестанет быть поэтом, если возьмется не за свое дело. Его циркуль — ум, его палитра — сердце, его кисть — фантазия…»

За каждой строкой, всяким эпизодом читатель должен угадывать того, кто держит перо. «Дело в том, чтобы выследить развитие гражданственности у разных народов и… и…»

На ровном месте одно многоточие, второе… «Куда это взвезла меня верховая метафизика? Господа читатели, тысячу извинений!» Ничего предосудительного. Марлинский доказывал лишь, что во всех описаниях публика может видеть только умение художника изображать предметы, а не само отображение предметов. «…Если кто воображает по моим очеркам познакомиться с Кавказом, а не со мною, тот горько ошибется».

Но и с автором познакомиться нелегко. В давней жизни ему

случилось наблюдать, как сердобольная барыня отдала в солдаты своего кучера за то, что он на Невском задавил голубя. Не желала барыня быть безвинной соучастницей гибели сизокрылого. Но совесть ее не рисовала семью кучера, лишившуюся кормильца.

Загадочна натура человеческая! Кто-то с бранью выталкивает из канцелярии бедную сироту, а вечером льет слезы в театре над мнимыми несчастьями…

Память и фантазия не мешают Марлинскому возвращаться на каменистую горную тропу. К ней он привязан открытым листом, что лежит в переметной сумке Бестужева.

— Кто идет? — окликнул часовой, поднимая шлагбаум, на въездной заставе в Тифлисе.

— Солдат Александр Бестужев.

— С тобой кто?

— Мой человек Щербаков.

Часовой сложил и почтительно вернул открытый лист: грамоте он не умел. Нижний чин, серебряная пряжка на шинели, сшитой не по форме, странствует барином со своим человеком, лошади — на зависть офицеру.

С берега Куры черноголовые мальчишки забрасывали сеть. Когда ловилась цоцхали, малолетний рыбак босиком, не обременяя себя штанами, бежал в духан, чтобы швырнуть ее, трепещущую, на стол и поймать монету.

Шелестели молодой листвой редкие пирамидальные тополя и акации, персик и миндаль отцвели, но аромат недавнего цветения еще держался в садах Мтацмипды. Ветер заставлял женщин придерживать белые чадры и широкие подолы черных юбок. Эриванская площадь с рассвета оглушала гортанным многоголосием. Вечерами по кровлям плясали армянки.

За годы, миновавшие после изгнания Бестужева, Тифлис разросся, увеличилось число домов и мусорных куч.

Павел жил поблизости от Гаджинских ворот, в старом доме с перилами у окон, где когда-то поселились они втроем. В квартире спертый воздух, запахи мазей я лекарств. На голом, без скатерти, столе пузырьки, склянки, баночки, рядом какие-то таблицы, журналы с оторванными обложками. Пол не метен, куски ваты, клочья корпии, пепел. Неуют удручающий, но оправданный. Павла скрутил ревматизм, лицо землистое, в уголках рта черпая накипь.

Бестужев сокрушенно сидел в продавленных креслах. И Ваплика доконал Кавказ. Как самого Александра. Как уже доконал Петра…

Излиться бы — боли в животе, перебои сердца, нарывы. Но он молча сострадал, внимая брату, слушая жалобы его и стенания.

Бестужеву хотелось рассказать, как торжественно провожали его дербентские татары: ружейная пальба, факелы, бубны… Провожали русского солдата…

Однако не перебивал Павла. Младший брат подал в отставку, ей дан ход. Но вернуться в Петербург больным и нищим…

Александра ветром сдуло с кресел: от недугов и хворей Павел вылечится, он снабдит деньгами для поездки на воды, облегчит столичное проживание…

У самого Бестужева ни гроша за душой. Но ничего, возьмет в долг, Марлинскому открывают кошельки.

— Остановишься у меня, — не то спрашивая, не то предлагая, обратился Павел, укрываясь несвежим пододеяльником.

— Я устроился в гостинице.

— Здоровье твое?..

— Слава богу.

— А вот я…

Павел снова в жалобы, Александр — в свои думы. Они не лучились оптимизмом.

«Московский телеграф» прихлопнули. Николай Полевой критиковал драму Кукольника «Рука всевышнего отечество спасла»: ложный патриотизм своими преувеличениями вредит истине. (Бестужев успел получить февральскую книжку журнала, возрадовался статье Полевого, не угадывая зловещих последствий.)

«Мы слышали, что сочинение г. Кукольника заслужило в Петербурге много рукоплесканий на сцене. Но рукоплескания зрителей не должны приводить в заблуждение автора…»

На беду Полевого, рукоплескала Кукольнику и царская ложа. Император пожаловал на четвертый спектакль — давали бенефис Каратыгина, — умилялся, держал платок у рачьих глаз. В кои веки на сцене творение, исполненное трепетной верности престолу. Не зря он патронировал постановку.

Исконный недруг «Московского телеграфа», составивший целую тетрадь крамольных выписок, министр народного просвещения Уваров смекнул, радостно узрев в драме Кукольника воплощение своей идеи: «истинно русские охранительные начала православия, самодержавия и народности, составляющие последний якорь нашего спасения и вернейший залог силы и величия нашего отечества», — вот он, вожделенный момент.

Одобрение драмы Кукольника императором, тетрадка Уварова, доносы Булгарина и — крест на «Московском телеграфе». Дымком над пепелищем — ехидная эпиграммка:

«Рука всевышнего» три чуда совершила:

Отечество спасла,

Поэту ход дала

И Полевого погубила.

Строки эти, дошедшие до Тифлиса, не веселили Бестужева. Задушено издание, ставшее ему домом родным, погублен редактор, ставший другом: «Присылайте, сколько хотите. Вам всегда почетное место». Ни разу эта заповедь не нарушалась, не подводили братья Полевые, бережно печатали тексты, блюли его денежный интерес…

Одно к одному: болезнь Павла, собственное нездоровье, конец «Московского телеграфа».

Он попробует ободрить Полевых. Как сумел ободрить брата.

«Я всегда предпочитал саблю — пуле. Мелкие неудовольствия труднее переносить, чем сильные огорчения».

Придя в свой гостиничный номер (ржавый таз с кувшином на железной подставке), он надел партикулярное платье, нафабрил короткие усы, выросшие после отбытия из Дербента, тронул пилочкой ногти, напомадил волосы и пустился визитировать — обновлять старые знакомства, завязывать новые. Делать долги.

В грузинских домах что-то изменилось с тех пор, как он бывал в них, не все хозяева на месте. Об отсутствующих упоминали глухо.

Все-таки Бестужев дознался о грузинском заговоре с намерением ниспровергнуть русское владычество. И на берегах Куры закипал протест.

Что сие означает — грузинский заговор? возмущения горцев?

Бестужев не соглашался с грузинами. Нашел бы аргументы, урезонивая тифлисских заговорщиков, позвал бы в свидетели историю, политику, географическую карту…

Он с жаром взялся лечить Павла. Доктор назначил новые лекарства. Ваплик пошел на поправку. Получив деньги, раздобытые Александром, и совсем воспрянул.

Младшему брату путь на курортные воды, старшему — в Ахалцых.

* * *

Двое суток, промокнув до нитки — дождь не стихал, —

Александр Бестужев ехал из Тифлиса.

Ахалцых — городишко жалкий, но старинный, опаленный войной, неподалеку в развалинах монастырь, на каменных стенах резьба и фрески. Климат — это отчасти мирило с Ахалцыхом — почти российский, в мае еще надевай шубу.

Вспоминая Тифлис и Боржомское ущелье, признался Ксенофонту Полевому: «Плавкая природа моя на время переливается во все формы, принимает цвет окружающих ее предметов; забывает мысли и думу на груди природы, как забывает иногда тело и мир на газовых крыльях думы».

Но тело и мир возвращали к житейскому унынию. Расставляй по полкам книги, журналы, обзаводись горшками и ведерками, оседай в городке, где ничего не достать и за все платишь втридорога.

Тоска отодвигала роман («Вадим» либо «Вадимов») так далеко, что терялась нить, связующая подробности.

Местное начальство, наслышанное о знаменитом сочинителе Марлинском, оставило в покое рядового Бестужева, не гоняло по караулам, не учило вытягивать носки. Но в комнатной тиши роились черные мысли.

Снова — в какой раз! — молить, чтоб дали жертвовать собой. Талдычить о верности его императорскому величеству, о мечте положить свой живот, лечь костьми…

Бестужева не без стараний Вольховского направили в экспедицию генерала Вельяминова. Рыжеволосый, по-солдатски выносливый Вельяминов не щадил ни себя, в и подчиненных, мог мерзнуть шесть часов в снегу, дабы рядовые и офицеры видели — их начальнику нипочем тяготы зимнего похода.

На сборы ушла уйма денег. Две лошади — вьючная и боевая, всякая дорожная оснастка, и ухнуло полторы тысячи рублей.

Бестужев прощально оглянулся на ахалцыхскую комнату — стены с книжными полками, стол между окном и тахтой, старинный канделябр, купленный у соседа, ковер, спускавшийся со стены на тахту и стелившийся но полу.

Новую шинель он оставил в шкафу, на плечи накинул старую, с дырами от пуль и черными подпалинами от костра. Накинул — и отстранил от себя эту комнату, книги, полки, эту тишину.

Вырваться, уйти от гробовых видений, одурманиться пороховой гарью. Жизнь тогда лишь чего-то стоила, когда висела на волоске.

«Наконец я опять в своей стихии: в дыму пороха и в пламени сожигаемых нами аулов».

Жителями аулов и их защитниками Бестужев восхищался: «Прелесть что за народ!». «Шапсуги, враги паши, истинно

молодцы, кидались в шашки на нас раз пять, и я так близко видел их лицо, что мог бы узнать теперь из тысячи». «Опасность для меня наслаждение, не только удовольствие».

Падали наземь сраженные, дымными факелами пылала селения; Бестужев на седьмом небе. По двое суток не спал, терпел голод, мок под осенним дождем. «…Я дерусь совершенно без цели, без долга даже, бескорыстно и непринужденно».

Опасность раскрывает людей, обозначая предел и беспредельность сил человеческих. Еще из Дербента он однажды написал старшему Полевому — Николаю Алексеевичу:

«Чтобы узнать добрый, смышленый народ наш, надо жизнью пожить с ним, надо его языком заставить его разговориться… А солдат наш? Какое оригинальное существо… и какой чудный вверь с этим вместе!.. Кто видел солдат только на разводе, тот их не знает; кто видел их с фухтелем[39] в руках, тот их и не узнает никогда, хоть бы век прослужил с ними. Надо спать с ними на одной доске в карауле, лежать в морозную ночь в секрете, идти грудь с грудью на завал, на батарею; лежать под пулями в траншеях, под перевязкой в лазарете… Я был бы так счастлив (или, пожалуй, так несчастлив), что вблизи разглядел народ наш и, кажется, многое угадал в нем».

Теперь надобно узнать горцев. Давние экспедиции, беседы с дербентскими старцами, с Аббас-Кули Баклановым — все к делу. Но чего-то недостает, и надо искать в этих стычках, отчаянных бросках через завалы, угадывать в бородатых лицах шапсугов, гарцующих на расстоянии пистолетного выстрела. Повесть, зревшая последние месяцы, гнала в нехоженое; иначе, как через огонь, туда не попасть.

Шашка отучает от пера, пальцы зябнут, но страницы памятной книжки испещрены новыми заметками.

Рука Марлинского потяжелела, пока Бестужев воевал в отряде генерала Вельяминова, мостившего дорогу к Геленджику. (Государственная задача: соорудить систему крепостей, разобщить воинственные племена, учредить узлы опоры русского владычества и охраны торговых сообщений.)

Но когда, укрывшись в ночной палатке — пахнущее конским потом седло вместо стола, — слыша сонное посапывание товарищей, Бестужев доставал дневник, имперские мотивы его не занимали. Азарт дневной битвы сходил, как полая вода.

«Хотят, чтоб я стал писателем! Но знают ли эти советники, как тяжело писать человеку с душою и для души, знают ли, что дарование есть бытие автора и что он расточает для забавы света лучшие мгновения этого бытия, отравляя заботами остальные?»

Гусарская лихость израсходована в атаках, бодрости ни на

грош. Стоило коснуться бумаги, уготованной не для стороннего глаза, и наваливалась вялость.

Однако и укромные листки не защищены от чужих глаз. Генерал Вельяминов, когда Бестужев рапортовался ему на прибрежной площадке пенистого Абина, прочел нотацию о сдержанности в знакомствах и в писании.

Его ли, вечно помнящего о господах перлюстраторах, уметь оглядчивости, эзопову языку? Лишнего он не доверят и книжке, что хранится в заплечном ранце, но с кляпом во рту весь век сидеть не собирается.

«Тяжело таить на сердце угли безнадежной любви и холодно улыбаться; внимать стону собственного сердца и в то же время слушать чужие нелепости; небрежно поправлять волосы, когда под ними кипят ядовитые думы; молчать, когда бунтующие, воспламененные чувства готовы разорвать грудь и пролиться лавою признания; но еще тяжелее, ужаснее выражать все это с гневом, что не можем высказать души своей вполне, с опасением, что высказанное будет брошено в миг равнодушия или — что того хуже — стоптано невежеством в грязь».

Жизнь устроена так, что писатель с отзывчивым сердцем обречен на непонимание, стреножен правилами света и правилами языка, вынужден «подбирать падежи и созвучия, когда бы хотел… выразить себя ревом льва, песнью вольного ветра, безмолвным укором зеркала, клятвою прожигающего взора, хотел бы пронзить громового стрелою, увлеченною бурным водопадом, — и чтобы эхо моей тоски роптало, стонало в душах слушателей, чтобы молния страстей моих раскаляла, плавила, сжигала их сердца, чтобы они безумствовали моей радостью и замерзали ужасом вместе со мною!

Не могу я так выражаться, а иначе не хочу: это бы значило пускаться в бег со скованными ногами».

Автор дневниковых заметок соединял в себе игривую легкость Марли некого и полынный опыт Бестужева. Хватало с избытком того и другого.

«Не разрушайте хрустального мира поэта, но и не завидуйте ему. Как Мидас, он превращает в золото все, к чему ни коснется; зато и гибнет, как Мидас, ломая с голода зубы на слитке.

Вследствие сего, я бы посоветовал одному человеку зарубить на носок — а этот человек едва ли не сам я — что обыкновенные котлеты гораздо выгоднее для смертного желудка, чем золотые котлеты, и что на земле милее кругленькая Ангелика, нежели недоступный, неосязаемый ангел».

Эти страницы памятной книжки исписаны в тот же день, когда строчилось письмо к матушке о наслаждении опасностью, о

своей стихии — дыме и пламени аулов, о горцах, бросавшихся в шашки.

Назавтра от ратного угара ничего не уцелело. Будущее так же бесприютно, как и минувшее.

«Для меня вчера и завтра — два тяжкие жернова, дробящие мое сердце. И скоро, скоро это бедное сердце распадется прахом: я это предчувствую…»

2 октября 1834 года в послании Ксенофопту Полевому было сказано все возможное о восторгах битвы, мелодиях стрельбы, воздана дань доблести шапсугов, а в памятную книжку занесено о строках Данте, вызывающих слезы, о задушевных строфах Гёте и Байрона, ямбах Пушкина, терцинах Ариоста…

Сколько всего вмещало израненное сердце Бестужева, какие выдерживало взлеты и падения!

19

От дождя набухли темный верх палатки и подветренная стенка, огарок, проволокой закрепленный на луке, мигает, грозя погаснуть. Опершись о локоть, нацепив очки, Бестужев склонился к седлу, заменяющему стол.

В обычной жизни — в Дербенте, Тифлисе, Ахалцыхе — он опрятен и привередлив. Белье, верхняя одежда из Петербурга — батист, тонкий лен, сукно — все на заказ. Утром плещется в лохани, брызжет колонской водой грудь, подмышки.

Сейчас — давно не стиранная нательная рубашка с тесемками, шерстяные носки, портянки сохнут рядом, свешиваясь из заляпанных грязью сапог.

Только бы тлел сальный огарок, отвоевывая у сырого мрака лист бумаги, не кончались чернила, которые, унижаясь, выпросил у писаря.

Заметки из памятной книжки, наброски — все соединить идеей, что сотрясет сердца. Считанные страницы будут весить больше, чем остальные его повести-побасенки, литературные забавы.

Отныне рукой не шевельнет метать бисер на потеху досужим дамам. Он заглянул в глаза смерти и увидел свой приговор…

В верхней части листа крупно выводится: «Он был убит».

Далее — исступление прозы:

«Он был убит, бедный молодой человек! убит наповал! Впереди всех бросился он на засаду — и позади всех остался…»

Автор в отчаянии застыл над бездыханным телом. Что есть смерть и посмертная слава?

Смерть неодолима, осязаема, слава — эфемерна.

Не все имена обречены на забвение. «Конечно, не все!»

После восклицания ждешь имен незабываемых. Но — громоотводный поворот, излюбленный Марлинским.

Погибший друг — всего только добрый, благородный, умный человек, каких мало, и храбрый офицер, каких много.

Куда подевались люди, известные умом своим, благородством, добротой?

«Грезы счастья и величия не тревожат покоя могилы. Там есть черви, но нет змей; там разрушение совершается без терзаний».

Снова сочинителя относит в нежелательную сторону, — могила милее жизни, уготованной благородному, умному, доброму человеку. Какова эта жизнь? — подумай-ка, читатель.

Зачем повторять такую жизнь в детях? Зачем ученому истощать ее над книгами? Воину во имя ее умирать на щите?..

Дрыхнувший по соседству унтер-офицер, поддерживая штаны, перешагнул через Бестужева, откинул полог шатра и, не высовываясь под дождь, справил малую нужду. Незряче вернулся обратно, набросил шинель.

Рядовой Бестужев дописывал страницу. Очерк «Он был убит» открывал шлагбаум листкам из памятной книжки. Достаточно малой хитрости, ловкого хода — свой дневник он выдаст за дневник убитого офицера. С мертвого взятки гладки.

В письме к Ксенофонту Алексеевичу, извещая об отправке записок убитого офицера, Бестужев не удержался: «…если вы не будете плакать, их читая, — или вы, или я без сердца».

Памятная книжка велась до конца экспедиции генерала Вельяминова, до выхода к Черному морю. «И вдруг конь мой стал, храпя и фыркая, уперся испуганный всплеском моря, которого не видел сроду. Роняю взоры вниз — новое очарование! Все прибрежье горело фосфорной пеной прибоя».

Экспедиция не баловала уединением. Ночевки в изношенной палатке; нижние чины лежат вповалку, духотища — свеча и та гаснет.

После этих ночей, после бросков на завалы — величавый морской прибой, безлюдье песчаной отмели.

Конские копыта впечатались в мокрый песок; невзирая на дождь, Бестужев сунул шапку за пазуху. Отпустив поводья, ехал кромкой рябой воды, созерцал умиротворяющую зыбь.

«Не таков ли сон вечности? Дайте же мне скорее морскую волну в изголовье; плотнее задерните полог ночи…

Пусть не будит меня петух раным-рано. Хочу спать долго и крепко, покуда ангел не разбудит меня лобзанием примирения».

Строки о «сне вечности» датированы 14 октября 1834 года.

«Четыре дня потом» занесено в дневник:

«Показалась кровь горлом — повестка адской почты, зовут на получение савана… Не замедлю я, не замедлю!..

Хочу и не могу быть веселым. Нет сна на мое утомление; нет слез на тоску. Мысль о смерти гнездится в душе; порох пахнет ладаном. А мир прекрасен!»

Сменяются дни, «кажется, 23-го октября, рано», последние заметки в походном журнале, между ними:

«То была песня лебедя: его желание разразилось над ним его судьбою. Он был убит, убит наповал, и в самое сердце».

* * *

Переход отряда Вельяминова из станицы Ольгинской в крепость Геленджик — тягчайшая из экспедиций, в каких участвовал Бестужев. Природа выступала заодно с горцами. Оттеснить их, спалить аул — полдела, надо одолевать болота и плавни, карабкаться по скалам.

Дружелюбный дом коменданта крепости полковника Чайковского — единственный дом в Геленджике — селении, что состоит из отрытых в земле нор, более подобающих зверям, чем человеку.

После бивуачных ночевок Бестужев возлежал на мягкой постели, устав от унтер-офицерской матерщины, наслаждался обществом Чайковского — заядлого книгочея, который берег в памяти «драгунские полемики» Бестужева далеких времен, когда всходила «Полярная звезда». Чайковский оплакивал кончину таланта, замурованного в петропавловском каземате. Радостно ухватился за Марлинского: неужто Бестужев?

Попивая искусно заваренный чай, полируя обгрызенные ногти, победно улыбается, воспрянув из мертвых, сочинитель-декабрист, кумир последекабрьской России.

Поход к Черному морю и обратно в Ставрополь одарил впечатлениями, отличными от прежних. Рыжеволосый Вельяминов скуп на слова, бесстрашен в действиях, удерживается на грани, где жестокость теряет свою непременность. Вскоре случай свел Бестужева с другим военачальником, исполнявшим ту же миссию — укреплять русское владычество на берегах Эвксинских.

Свободой отношений усатый Засс не уступал Вельяминову. Включил в свой отряд опальных и разжалованных; смелости ему не занимать, сам черт не брат. Ходил Засс, прихрамывая, раздробленная стопа болезненно напоминала о себе. Когда стоял,

переминался с ноги на ногу; это вошло в привычку. Как черкесский наряд, плеть у пояса.

Но восторги по поводу ума Засса, живописной внешности, лихости гаснут. Честолюбив до мелочности, бредит крестами. Созидательные почины, торговля, политическая стратегия для него не существуют. Он наслаждается огненными языками, слизывающими жалкие хижины, командует засыпать гранатами толпу безоружных горцев. Блюдолизы из штабного окружения, вызывая улыбку на багровой усатой физиономии, напевали, пьяно раскачиваясь:

Аллах, услышь правоверных молитвы,

Избавь нас от Засса и страшной с ним битвы!

Поход Засса, не в пример вельяминовскому, — разбойничий. Бестужев «без метафор» пишет об этом: «До сих пор я учился воевать, а теперь выучился и разбойничать. Засс — мастер своего дела». Участвуя в набегах, Бестужев до донышка постиг «воровской образ этой войны, доселе… худо знакомый».

Смельчак Засс вызывал омерзение. Уже не Вельяминов оттенял его пороки, иная фигура, поднимаясь, маячила в дыму.

* * *

О Мулла-Нуре Бестужев слышал еще в Дербенте. Этот абрек — докатилась молва — довольствуется малым, безразличен к золоту, дорогим товарам. Возьмет рубля два, от силы — червонец и пропускает путешественника, не отбивая охоты пользоваться дорогой из Кубы в Шемаху. Благосклонен к русским, провожает через порожистую речку, дарит яблоко или гранат: «Помни Мулла-Нура!»

Когда кубинец известил о Мулла-Нуре плац-адъютанта, ловившего разбойника, кончилось это для корыстолюбивого Багира плачевно — зарядом червонцев в сердце…

В ущелье, на берегу взбухшей от ливней Тенги, Мулла-Нур, держа в уме маршрут Бестужева, следующего в Кубу, Шемаху, далее в Тифлис, ждал гостя. Он был не прочь завязать знакомство с Искандер-беком, как горцы называют Бестужева.

Первый жест при встрече — обмен оружием. Мулла-Нур, взяв пистолет Бестужева, наводит его на хозяина, держа палец на курке. Не пистолет он испытывает, а гостя — насколько доверился, насколько тверд.

Бестужев принимает ритуал и — этого стройного горца в эриванской папахе, сбитой на затылок. На деликатные расспросы Мулла-Нур отвечает с восточной уклончивостью и вопрошает в той же манере.

— Этот самый? — Мулла-Нур подбрасывает в воздух пистолет русского и ловит его за ствол.

— Из него вылетела пуля, сразившая ее…

Краем уха Мулла-Нур слышал о русской красавице, убитой этим солдатом или застрелившейся. Но не лезет в душу. Ответ достаточен, чтобы сочувственно наклонить эриванскую папаху.

Мулла-Нур дает понять, что рад был бы видеть в Искандер-беке не только кунака, но и соратника.

Теперь Бестужев почтительно склоняет голову, но вытягивает вперед правую руку, и пальцем левой указывает на серебряный под чернью перстень. Не растолковывает, что перстень этот с Куликова поля; да и что скажет дагестанскому горцу такое название! Но горец уже схватил: кольцо связывает Искандер-бека с далекой отчизной, и говорить тут не о чем. Но рассказать о себе, своей жгутом скрученной жизни он готов, удовлетворяя любопытство, тлеющее в глазах русского гостя.

«— Я положу свое сердце на ладонь твою, я расскажу тебе все».

Бестужев без труда выдумывал подобных героев, стократно рисковавших собой, чтобы помочь коварно обиженным и покарать обидчиков. Выдуманность ощущалась им самим, возможно, кое-кем из читателей. Она не в укор сочинителю и не преграда к успеху, ибо словесность — плод земного опыта, одухотворенного высоким полетом воображения.

На мохнатой бурке, по-турецки скрестив ноги, сидел разбойник, будто сошедший с книжных страниц Марлинского.

Не все, конечно, совпадало. Но и алмазы нуждаются в ювелирной шлифовке. Ею занимался Бестужев в кубанских походах. Услышанного в Тенгинском ущелье достало бы на толстый том. Но он ухватился за историю небогатого, верного в любви и отважного в битве тезки — Искандер-бека, сделав его героем своей повести.

Любовь торжествует, не потому лишь, что неподкупна, горяча. Ей покровительствует праведный кинжал. Без Мулла-Нура простаку Искандер-беку не порвать тенета лжи и хитрости, не соединиться со своей Кичкене.

Подобающее место отведено и честнейшему дербентскому коменданту, умеющему отличить правду от кривды. Без русского коменданта и без кавказского разбойника Искандер-беку не видать счастья как своих ушей.

Благородство свободно от предубеждений. Мулла-Нур — не враг русским, комендант — не враг детям гор. Оба они отвергают «трехгранную логику».

Марлинский не разрушал сказочный мир Кавказа, созданный прежними очерками и повестями, но меркли белоснежные вершины и солнце, восходящее над ними.

«Заключение», подобно всем главам, снабжено было эпиграфом в переводе с татарского: «Из родного племени возникают враги». Вражда растет изнутри, племя отторгнет своего сына, коли он слепо и покорно не следует его установлениям.

…Не случайный встречный переломил чурек с властелином Тенгинского ущелья. Сошлись два изгоя, обреченных на бездомность, скитания под свинцом,

20

Хлопотно иметь под началом нижнего чина, слывущего среди первых сочинителей России. Донельзя хлопотно. Прямым его командирам, и штабу корпуса, и самому государю императору. Где-то за тридевять земель солдат чихнул, а в петербургских салонах: «Будьте здоровы!», «ох!», «ах!», «смертельный недуг…»

После Кубани Бестужев не корчил из себя здоровяка, как при Костенецком; все, кто любопытствовали — приезжие и офицеры Кавказского корпуса, — слышали безрадостные новости, обменивались ими, кое-что добавляли, снежный ком катился на север, рос, сопровождаемый подобием ропота. Это выводило Николая из равновесия. Пекутся о преступнике-бумагомарателе…

Не бумагомаратель, царь разбирается в талантах, у Марлинского есть недурные страницы во славу русской отваги. Когда бы такое перо брало за образец драму «Рука всевышнего отечество спасла»!

Теперь государь видел, какой надлежит быть словесности. Но не тешил себя иллюзиями. Пушкина не заставишь писать под Кукольника, и покойный Карамзин — на что был верен престолу — не писал; и ныне здравствующий, несмотря на всеобщие стенания, Бестужев, именующийся Марлинским, не сотворит ничего похожего на «Руку всевышнего». Это умозаключение, вопреки рассудку, настраивало императора против Кукольника: истинный дар, как бы ни был направлен, даже в верноподданничестве целомудрен, чурается грубой лести.

Десять лет просидел на троне Николай Павлович, с годами испытывая все меньшее ликование от давней декабрьской победы, но находя ей все больше оправданий. Теперь, на удалении, он

видел себя прежнего спасителем не собственной жизни, царской фамилии, но и священных государственных устоев. Укрепляя эти устои, он — думалось ему сегодня — готов был на далеко идущие преобразования, осуществлению коих воспрепятствовали злонамеренные заговорщики. Его жестокость продиктована высшими видами. Она восторжествовала, но честолюбивые идеи обновления на здоровых началах не сбывались. Придворные лебезили, министры подобострастно поддакивали — чем глупее, тем подобострастнее, — однако державная машина буксовала, высочайшие распоряжения, подхваченные на лету, тонули в чернильных омутах, в удушливой канцелярской пыли. Нечто безликое, бесформенное и бесхребетное, преисполненное верноподданнической прыти, делало то, чего не сотворили бы никакие враги отечества. Гниение было повсеместным, казна разворовывалась, лихоимство процветало, ржавчина лжи разъедала департаментскую деятельность. Единственная государева отрада — плац, строй, где ничего не скрыть, все как на ладони. Ему еще невдомек было, что на учениях его дурачат: ставят в переднюю шеренгу здоровых, рослых солдат, а заморенных, шатающихся от голода прячут в глубине каре.

Сцепив руки за спиной, Николай размеренными шагами топтал черно-коричневый узор паркета. Весенняя сырость на него действовала дурно, ее он винил в скверном расположении духа, отвергая заключения и советы лекарей.

Откуда такая изнеженность у рядового Бестужева? Государь отлично его помнил: косая сажень в плечах, гвардейская осанка… Послал письмо, которое не шло из памяти, вызывая смешанное чувство злобы и удивления.

Не будь дерзости в писаниях и поступках, сегодня Бестужеву носить бы генеральские эполеты, стоять подле тропа. Царя огорчало, что среди сподвижников, министров по большей части немощные, старые, кособокие. Ему по нраву крепкие, стройные, пышущие здоровьем; прямые и честные.

Даже в собственной семье обман. Александра Федоровна корчит из себя доброго гения фамилии и утешается с князем Александром Трубецким, со своим Бархатом.

Император выше ревности, вольно Бархату хороводиться с женщиной, у которой от нервного тика (последствие 14 декабря) передергивается увядшее лицо, В ее романе с красавцем кавалергардом Трубецким своя оправданность. Николай держит в Зимнем дворце юную скромницу Вареньку Нелидову (братец Михаил по-солдатски шутит: «Молодое тело — совсем другое дело»), и Александра Федоровна должна иметь поклонника. Симметрия уместна не только в архитектуре, градостроительстве.

Идея эта, если развить…

Но, как всегда, чуть император устремится к материям, взывающим к сосредоточенности, на глаза лезут досадные мелочи.

На зеленом сукне пустого, как утренний плац, письменного стола, «всеподданнейшая записка» министра Уварова, уловившего пагубность книжки Павлова «Три повести».

Николай, не садясь, обмакнул перо в массивную серебряную чернильницу, начертал: «Прочел книгу со вниманием и отметил, что неприлично, но третья статья («Ятаган») по своему содержанию никогда не должна была пропускаться цензором…» Гусиное перо треснуло от нажима.

Держа в руках бразды правления, по-цензорски читать книги невесть кого, запрещать «Московский телеграф», вникать в участь злоумышленника Бестужева!

Раздражение грозило вытеснить справедливость. Это было бы несовместимо с высоким саном и джентльменским кодексом. Он смирял себя, созерцая из высокого, в белом переплете окна смену караулов.

Нежелательно в государственных видах, дабы Бестужев, он же Марлинский, сдох, как собака, на Кубани. Это императора рисует мелким мстителем, доконавшим жертву. Он отнюдь не таков.

Бестужев болен? Пускай лечится, глотает порошки, бултыхается в целебных ваннах. Вел бы здоровый порядок жизни, был умерен в еде, не излишествовал с женщинами… Вот он, Николай…

Из зеркала на него с рачьим недоумением смотрел высокий, длиннорукий, хорошо сложенный генерал. Затянутые в лосины ляжки, правда, несколько толстоваты, живот натягивает золоченые пуговицы мундира…

Бенкендорфу выяснить насчет здоровья, поведения, мыслей рядового Бестужева.

Чего, казалось бы, проще, барон Розен в Петербурге, у него личные сношения с Бестужевым и — негласное наблюдение.

Однако за десять лет царствования Николай Павлович настолько усовершенствовал государственный механизм, что пустяковый запрос предполагал пространный, сопровождаемый канцелярским словоизвержением ответ.

И пошла писать губерния. Сперва граф Бенкендорф к барону Розену, потом барон Розен к графу Бенкендорфу, потом опять неудовлетворенный граф…

«Г. И., получив частным образом сведения о неблагонамеренном расположении находящегося на службе во вверенном вам Отдельном Кавказском Корпусе государственного

преступника Бестужева, хотя и не изволит давать сведениям сим полной веры, но не менее того изъявил Высочайшую Свою волю, дабы вы, по возвращении в управляемый вами край, приказали внезапным образом осмотреть все его вещи и бумаги, и о последующем уведомили меня, для доклада Е. И. В.».

Розен, получив щелчок по баронскому носу, огладил жидкие волосы. За Бестужевым велась слежка и в обход командующего.

Бестужев не подозревал, что его болезнь подняла бумажный шторм в петербургских канцеляриях. Кончились походы, у него усилилось сердцебиение, ночью лежал, как на гробовой доске. Однажды уже исповедовали и причащали.

В Екатеринодаре лекарь Дейбел дал спасительное средство. Но весной сгустился болотный смрад и снова замаячил призрак в белом саване.

Дейбел рекомендовал поездку в Пятигорск: там целителен горный воздух, горячие воды, там чудодействовал Николай Васильевич Мейер[40]. Бестужев, встречаясь с Мейером в Ставрополе, распознал в хромом сыне масона не только модного лекаря, но и человека безупречной порядочности.

Никуда не деться — сочиняй слезницу к генералу Вельяминову:

«…Теряя с каждым днем силы, измученный трехнедельною бессонницею и ухудшением сердца, я приведен на край могилы…»

В Пятигорск Бестужев добрался полумертвым.

Мейер, зачитывавшийся Марлинским, и слушать не желал, чтобы Бестужев квартировал где-нибудь, кроме как у него. Здесь живет прапорщик Степан Михайлович Палицын; Александр Александрович должен его помнить по Петербургу. Мейер не уточнил: по Северному обществу.

Как раз из-за Палицына лучше селиться в другом доме, не дразнить гусей. Но возражать у Бестужева не было сил, а гусей, не желая того, он дразнил и безобидными письмами, и своими бонмо, и кавказскими сочинениями.

Жизнь в нем едва теплилась, язвы, усыпавшие тело, мешали шевельнуться.

Мейер — голова большой каплей, вытянувшейся с широкого лба к острому подбородку, волосы стрижены под гребенку, эфиопские губы — не оставлял больного, предписал строгую диету. Ему не попадался пациент, настолько осведомленный в медицине и так верно умевший определять симптомы своих недугов.

Начинали с медицины, перекидывались на словесность; Бестужев оживал, вступал Палицын, хлопала дверь, гости шли

косяком.

Пятигорск встрепенулся: в городе Марлинский! живет у доктора Николая Васильевича! там собирается общество!..

Наваливаясь на суковатую палку, Бестужев расхаживал по комнате. Портной шил венгерку и цветную шапочку для выхода.

В этой венгерке, поигрывая хлыстиком, Бестужев притащился к источнику. На него глядели, кругом стоял шепот.

Дамы в белых платьях с кружевными зонтиками гуляли под пыльными деревьями, отдыхали в тени крытой галереи, полукольцом опоясывающей Елисаветинский источник.

На него пахнуло жизнью праздничной, курортно расслабленной. Он сел на скамейку, кто-то — рядом, кто-то остановился, дымя трубкой… Отбоя не было от приглашений, не было конца восторгам и расспросам.

Да, ему случалось схватываться с горцами. Завидного мало, смерть всегда смерть, горцы не хуже и не лучше нас, грешных. Героев списывает с подлинных лиц, но наделяет добродетелями, какие им подобают. Сколь на самом деле великолепна Селтанета из «Аммалат-бека»? Великолепна? — заливался Бестужев, — я вовсю разрисовал эту здоровенную тютюлю.

Долли Ухтомская, воспитанница княгини Голицыной, хохотала до упаду.

Бестужев еще слишком слаб, чтобы волочиться за дамами, но достаточно воспрял, чтоб строить различные планы, в том числе — матримониальные. Но все это несбыточно. Щегольская венгерка, цветная шапчонка нелепы, когда такие, как Роман Сангушко, участник польского восстания, ходят по Пятигорску в лоснящемся сюртуке, в панталонах с бахромой.

Венгерку он отложил до лучших времен, достал старую, заслуженную шинель с дырами.

Возвращаясь по виноградной аллее домой, увидел Захара Чернышева с дамой в светлой шляпке с перьями, юбка колоколом.

— Познакомься, Александр, жена моя, Екатерина Алексеевна.

Бестужев склонился к вялой, словно бескостной руке.

— Прошу ко мне обедать! — он лучился радушием.

— С удовольствием, милый. Но мы нынче званы.

— Тогда завтра.

— Завтра? Завтра у нас тоже визиты, Я прав, дорогая?

Жена подтвердила: визиты, потом в церковь, они каждый день ходят к заутрене и вечерне.

Якутский Чернышев набожностью не выделялся. Пятигорский был измучен солдатчиной, отказами в офицерском чине, раной в левом боку. Бестужев тщетно прорывался в Якутск, в бревенчатую избу, норовил достучаться до Захара, в сигарном дыму

декламировавшего Байрона…

Еще дважды они встречались на ухоженных пятигорских аллеях. Бестужев радостно воспламенялся, Чернышев вежливо гасил огонь: «Моя жена — поклонница твоего дарования». Екатерина Алексеевна безучастно вертела костяную ручку зонтика, слабо кивнула: поклонница. Даже не спросил о братьях…

Чернышев не сломался, не избрал другую сторону. Но не хотел ничем удваивать, утраивать усталость, спасался в отъединенности от минувшего, в браке, в молитве.

Мейер терялся в догадках — откуда пасмурность Александра Александровича? Палицын манил в дружественный дом, где будут хорошенькие девицы и тоскующие на водах дамы. Сангушко сыпал польскими анекдотами.

Бестужев не вышел к вечернему чаю.

Набравшись сил, он снова добьется экспедиции. Хорошо бы с Зассом — набеги, огонь, пожары, разбойный хмель… Либо пан, либо пропал.

Со дна походного сундучка извлек рукопись «Мулла-Нура» и сидел над ней до поздней ночи.

Когда барон Розен, сообщая генералу Вольховскому петербургские новости, вскользь бросил, что император оповещен о недуге рядового Бестужева, Владимир Дмитриевич подтвердил: хворает, нервное расстройство, сердечное.

Ежели Бестужев, рассуждал Розен, одной ногой в могиле, не разумнее ли явить к нему снисхождение?

Вольховский присовокупил: милость к Бестужеву снижает сочувствие к нему публики.

— Сочувствие, симпатия к государственному преступнику чреваты антипатией к государю, — рек Розен.

Угадывая желание командующего, Вольховский заметил, что отличившегося в боях Бестужева не резонно держать рядовым.

— Пред ликом всевышнего все мы — рядовые, — философски парировал барон.

Вольховский тут же достал из кожаной малиновой папки с медной застежкой приказ о производстве группы солдат в унтер-офицеры. В списке значился и Александр Бестужев.

Командующему ничего не оставалось, как скрепить бумагу своей подписью.

А через неделю барону Розену донесли, что «умирающий» Бестужев разгуливает по Пятигорску в окружении почитателей; у доктора Мейера собираются разжалованные лица, офицеры, статские.

Не доверяя не только Вольховскому, но и писарю, барон

Розен собственноручно составил напутствие жандармскому подполковнику Казасси.

«Так как вы проедете из Черноморья в Закубанский отряд, то предлагаю во время своего там нахождения обратить особенное внимание на состоящих там государственных преступников и в особенности имеете наклонить благовидным образом от сношения с ними молодых офицеров, в отряде находящихся…»

(Связи, связи — вот где корень зла, твердил граф Бенкендорф в Петербурге…)

«Сострадание, столь свойственное молодым и неопытным людям, а еще более любопытство, — скрипел пером барон Розен, — могут их сблизить и особенно тогда, как некоторые из преступников имеют хорошие способности и одарены талантами.

При проезде через Пятигорск не оставьте также обратить внимание на образ жизни и поведение тех из государственных преступников, которые находятся там на службе или для излечения от болезней, а равно и на тех, которые на каком-либо особенном замечании. Обо всем том, что вы найдете заслуживающим внимания, прошу мне доносить в подробности».

Подполковник Иван Антонович Казасси, три года назад впервые вкусивший от таинств жандармской службы, взял след. Начал с Абинского укрепления, где прежде живал Бестужев, выведал, с кем общался, и — верхом в Пятигорск. Не целебные воды там были, а зараза!

В пять часов пополуночи 24 июля 1835 года в стеклянную дверь доктора Мейера настырно забарабанили.

Человечек со смуглым лицом и черными усищами, отрекомендовавшись подполковником Казасси, объявил, что назначен провести обыск. Сопровождавшие его комендант пятигорского гарнизона полковник Жилипский и жандармский капитан Несмеянов чувствовали себя скверно.

Жилинский испытывал крайнее неудобство; он поддерживал отношения с Мейером (как после такого вторжения звать на чай? заикаться о врачебных услугах?), насколько совместимо с честью русского офицера быть свидетелем, чище того — соучастником полицейского обыска? Полковник Жилинский замешкался на галерее, всем своим видом отстраняясь от Казасси.

У капитана Несмеянова раскалывалась голова: допоздна дулись в вист, раскупорили бутылку, вторую. Он не пил месяцами, но, пригубив, не мог остановиться. Знал, что последует головная боль, давал клятву и — надо же — вчера сорвался, а сегодня ни свет ни заря поднят с постели; жажда сводит с ума, вся воля употреблена на то, чтобы держать вертикальное положение и чтоб не вывернуло наизнанку.

Николай Васильевич растерянно ковылял по комнате. Пробковая подошва сапога скрадывала хромоту, но сейчас, в домашних туфлях, он выглядел беспомощно-колченогим.

Степан Михайлович Палицын уже на другой квартире, но часть вещей лежала у Мейера; достаточно пустяка, и Палицыну с Бестужевым не миновать нового наказания.

Бестужев в долгополом халате с бранденбурами, закинув ногу на ногу, полируя ногти, вальяжно попыхивал сигарой.

Какие внутренние пружины должны заставить боевого офицера — на груди у Казасси Георгий четвертой степени, говорят, отличился при Ахалцыхе — стать сволочью в голубом мундире?

— Не вашего сочинения? — Казасси несет Бестужеву книгу, полученную от Ксенофонта Полевого.

— Соблаговолите раскрыть, печатными литерами обозначено «Эн. Эф. Павлов».

— А сия? — не унимается жандарм.

— «Миргород», сочинение господина Гоголя.

Казасси, слюнявя короткие пальцы, нумерует рукописи, прошнуровывает, ставит число страниц, печать. В них нет ничего предосудительного. В письмах к Бестужеву тоже. Но он все-таки изъял два, отправленные К. Полевым. Фамилия эта у жандармского подполковника расплывчато связывалась с чем-то неблагонадежным.

Один крамольный предмет он опознал! Серая шляпа, выписанная все тем же Полевым из Петербурга. В таких шляпах щеголяли карбонарии.

— Чья шляпа, господа? Мейер опередил Бестужева.

— Моя.

Казасси испытал удовлетворение. И завершил дело по всем правилам жандармского этикета: отобрал у Бестужева подписку, что бумаги сохранятся в том виде, в каком опечатаны, факт обыска не будет разглашен.

— Разве производился обыск? — удивленно воскликнул Бестужев, не вставая с кресел. — Вы, господин подполковник, забрали чужую шляпу. Но не заглянули ни мне, ни доктору Мейеру в черепную коробку…

Злая шутка не задела Казасси. Он был выше ее, успешно осуществил изъятие и вывел из себя этого спесивого сочинителя. Чистоплюй полковник Жилинский больше не посмеет свысока взирать на жандармского офицера, — сам соучаствовал в обыске. Как и безразлично икающий пьянчуга Несмеяпов. (И какая только шваль, прости господи, не пятнает небесно-голубой мундир!)

Обо всем том барон уведомил графа Бенкендорфа. Было

приказано шляпу и конфискованные письма вернуть владельцу. «Его императорское величество повелеть соизволил продолжать строго за ним смотреть», — оповещал граф Бенкендорф барона Розена отношением от 21 ноября 1835 года за № 3699.

Как пошла писать губерния, так и не останавливалась…

21

Новая экспедиция генерала Вельяминова проходила через пень-колоду. Утренний барабан будил прикомандированного к Тенгинскому полку унтер-офицера Бестужева, спавшего на росистой земле. Телом он окреп, сносил тяготы осенней кампании. Однако сочинительство забросил. «Бивуаки — плохой верстак для поэзии, а дух мой чернее, нежели когда-нибудь».

Черноморские пешие стрелки, пользовавшиеся дурной славой, под водительством нового унтер-офицера стали застрельщиками в цепи. Шинель у Бестужева пробита, лошадь ранена. Но чего ради терпит беспрестанный ливень и град, зачем гонит вперед своих черноморцев и подставляет пулям собственную поседевшую голову?

* * *

Барон Розен, инспектируя отряд Вельяминова, остановил коня возле Бестужева, скривился, как от кислого яблока: «Вы, батенька, Геркулес, нас с Алексеем Александровичем переживете… А слухи, будто на смертном одре». Бестужев вытянулся: «Виноват, ваше превосходительство, еще не отдал богу душу… Счастлив служить под вашим командованием, но в тюрьме слаще, в Сибири милее».

Вельяминов ожидал скандала, но командующий улыбнулся — ценит шутки, пусть и дерзкие, дал шенкеля. Кавалькада поскакала вперед.

Осев на зиму в станице Ивановке, Бестужев не жалел, что показал начальству зубы — хуже не будет; некуда хуже.

Вечером 31 декабря, отбросив осторожность, все подряд выкладывал в письме к Павлу. Младший брат в этот новогодний час на балу. Пенится шампанское, искрится хрусталь люстр, с хоров обрушивается музыка, танцуют котильон, — нет, скорее, мазурку или что-нибудь новое…

На его грубо сколоченном из досок столе сальный огарок в граненой рюмке. Под короткой ножкой стола — чурка…

Офицерские эполеты, самые маленькие, помогут выбраться из «песьих дней», писал он Павлу.

Павлик должен сообщить Смирдину, что «Мулла-Нура» он постарается отправить недели через три. Первые страницы писались гладко. Но поставил точку и усомнился. Пошел от начала, раздвигая гуттаперчевые рамки сюжета, втискивая мысли, навеянные последним походом.

Вельяминов не злодей, не кровожаден, подобно Зассу. Однако, каков бы ни был начальник, всякая экспедиция — разбой. Этот разбой отличен от набегов Мулла-Нура.

Ветеран походов Засса и Вельяминова, взяв перо, он отдавал должное бескорыстному абреку из Тенгинского ущелья, его заповедям: верь немногим, а берегись всех, суд совести выше всего…

Жизнь Бестужева в Ивановке текла тремя потоками; каждый сам по себе.

Когда отпускала лихорадка и донимала скука, наезжал в Екатеринодар к бывшему камер-юнкеру Голицыну, бывшему флотскому лейтенанту Акулову, бывшему офицеру-артиллеристу Кривцову. Люди, близкие по умонастроению; потому слишком-то сближаться с ними нежелательно. Им во вред и себе не на пользу.

Второй слой — письма. Тоскливые, полные стенаний (донимают болезни, тревога за матушку, одиночество — нет даже портретов братьев). В посланиях и деловые советы — как распорядиться рукописями и деньгами? Павел в этом несерьезен, Елена нуждалась в руководстве.

Письма — отдых и память, тающий отсвет додекабрьских дней. При мысли об Иване Пущине у него «распускается сердце».

Но на первый план, тесня поездки и письма, выступил «Мулла-Нур». Долгие утренние и ночные часы над рукописью, не поддающейся завершению. Будто сводил счеты с Кавказом… Быть может, и с собой.

Зима ушла на повесть, которую еще осенью полагал почти законченной, подсчитывал доход. Денежные заботы осложнялись будущим переводом «сибирских братьев» на поселение; десять тысяч уйдет на первые хозяйственные надобности. Эту кругленькую сумму, чего бы то ни стоило, он им отправит.

Уличная жижа окаменела под сугробами, снег успел стаять, грязь опять текла непролазной гущей, лошади тонули по уши, Бестужев все корпел над «Мулла-Нуром».

Ко всем огорчениям добавилась обида на Пушкина: не уведомил о выпуске своего «Современника». Все же статью для него напишет. Пока что, ожидая переезда в Геленджик, просил Павлика отправить в Ивановку чайник, сахарницу, молочник,

четыре стакана. Чтобы младший брат по легкомыслию не напутал, он нарисовал каждый предмет.

Столь скверно, как в Геленджике, Бестужев еще не жил: грязная, полутемная нора, под полом — вечная лужа, сверху течет сквозь дырявую, как сито, кровлю; за ночь сапоги покрываются плесенью. «Вот гнездо, в котором придется мне нести орлиные яйца», — невесело шутил он в письме Ксенофонту Полевому. Люди мрут в Геленджике быстрее мух, есть нечего, куры дороже, чем в Москве невесты. На огород жители идут с конвоем, коров пасут с пушками…

«29-го мая больной, в лихорадке, после тяжелой дремы глянул на часы — стоят из-за сырости. Входит писарь с пакетом из Керчи. Журналы, в том числе *Инвалид,* — подчеркнуто: «у. о. Б-в в прапорщики»! Я думал, что у меня лопнула артерия, — так громко послышалось влияние крови в сердце, в глазах потемнело, я упал на подушки».

Приступа лихорадки как не бывало. Добыть шампанского, закатить «пирок»! Заказать Елене эполеты — «модные и хорошенькие»…

* * *

Офицерским чином Бестужев обязан был не только царю, но и генералу Вельяминову. В Петербурге на аудиенции у императора рыжеволосый генерал подал голос в защиту опального унтер-офицера.

Николай ленивым зевком остановил Вельяминова. Ежели Пушкин — камер-юнкер, Марлинскому сам господь велел быть прапорщиком.

Вельяминов потерялся, — самодержец шутит или всерьез? Не догадывался он, что царь намеревается офицерскими эполетами лишить Бестужева мученического ореола, но отнюдь не избавить от мучений.

За десять с лишком лет, проведенных Николаем на царстве, а Бестужевым в ссылке и в солдатчине, первый укрепился в настороженной недоверчивости ко второму. Он не ждал от него поступков в духе 14 декабря — Бестужев рыцарски верен слову, — но был уверен в дурном развитии мыслей. Они заразнее холеры. Войдут в легковерные молодые головы и — все сначала, опять гололедица на Петровской площади…

Как это в его казематном письме: *«… все роптали на настоящее, все жаждали лучшего…»*

Царь тронул надушенным платком вдруг увлажнившиеся

залысины и напомнил, что собирается почтить своим присутствием усмиренный Кавказ (Вельяминов ушам не верил — Кавказ еще усмирять и усмирять).

Государь надеется избежать встреч с «друзьями по 14 декабря». (Это уже приказ — убрать, спрятать неугодных.)

Путешествие по Кавказу рисовалось его величеству и как апофеоз многолетнего кровопролития, и как некое сведение счетов. Если он чем-то и был обязан Бестужеву, то теперь, швырнув эполеты, окончательно сквитался.

— Ты, Алексей Александрович, печешься о прапорщике Бестужеве…

Вельяминов уловил скрытую угрозу.

— …Служить ему впредь в пятом Черноморском батальоне!

Памяти императора позавидовал бы каждый, особенно по части номеров полков, батальонов и мест дислокации. Пятый Черноморский батальон стоял в Гаграх и в Пицунде — гибельных абхазских поселках.

* * *

Бестужев был рад переходу «от безымянной вещи в лицо, имеющее права, от совершенной безнадежности к обетам семейного счастья, от унижения, которое мог встретить от всякого, к неприкосновенности самой чести… Тут сверкнул луч первой позволенной надежды, может быть, обманчивой, как и прежние, но все-таки позволенной», — сбивчиво изъяснялся он с «сибирскими братьями».

Письмо писалось в Керчи, где Бестужев заказывал офицерское обмундирование и где встретил новороссийского наместника, графа Воронцова, изъявившего желание принять в нем участие.

На корвете «Ифигения» Воронцов отправился в вояж вдоль восточного берега Черного моря; Бестужев, удостоившийся включения в свиту, всех ослепил своим знанием края, экзотического быта туземцев, красочностью речей. Воронцов сообразил, что осведомленность Бестужева будет к месту, если употребить его по гражданской части.

Помимо того, граф не излечился от застарелой нелюбви к Пушкину, когда-то состоявшему под его началом. (Нелюбовь питали злые эпиграммы, ревность обманутого мужа.) Уловив критическую нотку в словах Бестужева о Пушкине, Воронцов обещал содействовать его переводу из гибельной Абхазии в свою канцелярию. Но и сам Бестужев должен хлопотать. Надо обратиться к Бенкендорфу, граф сообщнически кивнул

прапорщику, к кому-нибудь из влиятельных при дворе особ.

Обращаясь к «сиятельнейшему графу», Бестужев сразу попал пальцем в небо. «Я убежден, что его и-ое в-во, назначая меня при производстве в 5-й Черноморский батальон в крепость Гагры, не предполагал, сколь смертоносен этот берег Черного моря, погребенный между раскаленных солнцем скал, лишенный круглый год свежей пищи и воды, даже воздуха».

Еще как знал! Само допущение: император чего-то не предполагал — граничит с крамолой.

Не высохли чернила, какими подписано производство в офицеры, а облагодетельствованный уже хлопочет насчет отставки.

«Увольнение к статским делам от военной службы, на которую стечение болезней сделало меня неспособным, было бы для меня высшим благодеянием».

Из Керчи Бестужев явился в бухту Суджук-Кале, в штаб Вельяминова. Генерал обедал в своем шатре, штабные офицеры и адъютанты — в большой палатке по соседству. Напомаженный прапорщик в шитом болотом мундире выделялся среди них, как новенький пятак.

Сонный после обеда Вельяминов окатил Бестужева холодной водой. Это государь высочайше распорядился упечь прапорщика в Гагры. Но и в Гаграх за ним будут неусыпно следить.

Генерал указал на раскладной стул, огладил пятерней рыжие с сединой волосы, оттянул ворот мундира.

Прапорщику должно зарубить на носу: нет гостиницы, куда бы ни вкрались шпионы, нет собрания, куда бы ни затесались соглядатаи.

— Но я ничего дурного…

— Достаточно читать журнал, тем паче иностранный. Вот вы и либерал, вот и якобинец…

Вельяминову не известна была записка военного министра графа Чернышева начальнику Почтового департамента еще в декабре 1834 года:

«…Государю императору благоугодно, дабы обращено было особое внимание почтового начальства на переписку Александра Бестужева с Полевым».

* * *

Возвращаясь на Кубань, Бестужев повстречался с молодым офицером Иваном Романовичем фон-дер Ховеном (прежде того они вместе обедали в палатке с адъютантами Вельяминова).

Разомлев от жары, Бестужев отдыхал в тени, шашка висела на ветке, холщовый китель лежал рядом, рубашка в пятнах красного вина.

Иван Романович сбросил сюртук, сел на бревно и начал один из тех разговоров, которые осточертели Бестужеву.

Начитавшись очерков и повестей Александра Марлинского, окрыленный фон-дер Ховен летел на темя Кавказа и — что же…

— Дурна природа? Низко темя гор? — перевернулся на живот Бестужев.

— Не к тому я, Александр Александрович. Угадывая тяготы и мерзости войны, никогда бы по доброй воле не стремился сюда. Провались они пропадом, кресты и чины.

— Для кого — провались, а для кого в них жизнь, — отбивался Бестужев.

Они его не понимали, эти молодые. Не умели читать, постигая текст. Зря он поддакивал Воронцову касательно Пушкина: не вельможам судить о поэтах. В письмах Павлу пошлет привет Пушкину, попросит Пушкина извинить за попреки и резкости. Он живет не на розах, временами желчен…

Начиналась новая экспедиция в сторону Анапы; в схватках с горцами многое отступит вдаль.

Офицерский чин действовал на него живительно. Но поход не оправдал упований; война была скучная, быстро кончилась.

Вельяминов добивался отчисления Бестужева в Тенгинский полк, однако последнее слово оставалось за Розеном, а он в вечных неладах с рыжеволосым генералом. Все кончилось назначением в Кутаис, где те же радости, что и в Гаграх: лихорадка, жара.

«Об одном молю я, — вырвалось в письме к Павлу, — чтоб мне дали уголок, где бы я мог поставить свой посох и, служа в статской службе государю, служил бы русской словесности пером».

* * *

Граф Воронцов, верный обещанию и своим расчетам, пытался спасти опального сочинителя и заполучить всем ему обязанного сотрудника. В послании царю подтвердил, что Бестужев страдает лихорадкой в скверной форме, Гагры его доконают.

Это послание вместе с письмом Бестужева к Бенкендорфу легло на зеленое Сукно царского стола между чернильницей в виде колонны, подпираемой миниатюрными пушечными ядрами, и такого же — только повыше — серебряного стакана для перьев,

тоже окруженного сверкающими шариками. Две — одна поверх другой — бумаги породили вспышку августейшего гнева.

Хватит этих россказней о хвором государственном преступнике! В Пятигорске Бестужев отдавал богу душу, а выяснилось — кружит головы не одним лишь вертихвосткам. Обыск обнаружил как раз ту книжку, за которую царь дал нагоняй цензуре. Все-то сам, ни на кого не положиться.

Откуда берется дурацкая уверенность, будто кто-то лучше его знает, что во благо отечеству, что — во вред.

Оренбургский губернатор Петровский обратился с прошением на высочайшее имя о переводе Бестужева к нему в канцелярию для статистического описания края. Кроме как Бестужеву, такое занятие, видите ли, поручить некому.

На прошении Петровского царь наложил резолюцию, делавшую честь его уму, лаконизму и державной твердости: «Бестужева следует посылать не туда, где он может быть полезен, а туда, где он может быть безвреднее».

На бумаге графа Воронцова Николай начертал: «Не Бестужеву с пользой заниматься словесностью, он должен служить там, где сие возможно без вреда для службы».

Резолюции недоставало завершенности. Николай Павлович обмакнул перо и размашисто дописал: «Перевести его можно, но в другой батальон».

Царь гордился своими резолюциями, читал вслух, дабы уловить звучание. Резолюции заносились на специальные листы, по ним цесаревич учился государственному уму-разуму.

22

Облачным зимним днем тифлисскую заставу миновал офицер в отлично сидевшей на нем шинели, осененный громкой писательской славой.

Бестужев свободно двигался в спутанном клубке горбатых улиц и выехал к тому именно дому, куда стремился. Снял пустовавшую, на счастье, квартиру, в которой жил с братьями в двадцать девятом году. Его обрадовали выцветшие от времени обои, замусоренный дворик со стеной, увитой виноградом» Чем ближе к неповторимо давним дням, тем милее.

Утром он нанял открытую коляску и поехал к Куре. Обернулся на оставшийся позади духан. У дверей, по-собачьи опустив на вытянутые лапы тяжелую морду, спал старый облезший медведь.

Бестужев рассчитался с возницей, поеживаясь от речной свежести, облокотился на холодные перила моста. Годы берут свое, он запахнул шинель; раньше не страшила ледяная Нева, купался в студеной Лене.

Он отгонял призрак Петербурга. Любовался Курой, чтобы не видеть Неву, штабс-капитана в треугольной шляпе, размашисто шагавшего по Васильевскому острову…

После голодного Геленджика Тифлис слепил изобилием. Рынок не вмещал несметных богатств, они оседали в окрестных лавках и лавчонках, торговцы, выбежав на улицу, хватали за полы, азартно нахваливали свои товары.

Бестужев был равнодушен к этим дарам земли и творениям рук человеческих, к знаменитым баням — месту встреч, пирушек, смотрин. Он приучил себя мало есть, довольствовался постной пищей и лишь купил у молоденького кинто ветку винограда. Его влекли разве что мастерские оружейников. Здесь видели, что немолодой русский офицер знает толк в старинном ремесле, и выкладывали перед ним лучшие экземпляры…

Ботаник из Германии, Карл Кох, встретивший Бестужева в эти тифлисские дни, был покорен широтой его познаний в немецкой литературе. Доведись Коху коснуться с Бестужевым биологических тем, он изумился бы, насколько сведущ прапорщик и в естественных науках. Как не уставали этому удивляться отечественные и иноземные путешественники, один из которых даже отнес Бестужева к самым ученым людям империи.

Карл Кох выразил на бумаге свои впечатления.

«Бестужев был высокого роста, красив, в лучшей поре своей жизни. На лице его не отразились вынесенные им страдания и сказывалось только воодушевление, владевшее им. В больших темных глазах светился ясный ум. При всей природной живости, в обществе был он молчаливее, чем можно было ожидать; мне кажется, что в нем было сильно развито чувство собственного достоинства. Одна дама просила его написать в ее альбоме, в нескольких словах, что считает он для себя самым важным и значительным. Бестужев, недолго думая, написал среди белого листа «Moi» [41]и подписал свое имя».

Лучшая пора жизни… В сорок лет сподобиться первого офицерского чина, избавиться от угрозы телесного наказания, но не от произвола.

Обладая большой, удобно обставленной квартирой, досуг Бестужев проводил у полковника Шелиги-Потоцкого, оставался у него ночевать.

Войцеха Альберта Шелигу-Потоцкого из учебного класса

Варшавского лицея отправили в тюремную камеру за противуправительственные речи. Как все однообразно, до чего сходно.

Но дальше — фантасмагория: бегство в Южную Америку с намерением вступить в армию Боливара; корабль возвращен в Англию, Потоцкий — в Россию. Солдат не у Боливара — у Ермолова, который расположен к варшавскому вольнолюбцу… Черт сломает ногу, ища, где кончается правда и плещет вымысел, когда лысый толстяк серьезен, когда разводит турусы на колесах. Опухшее лицо непроницаемее маски, в прорезях — хитроватые глаза.

Тифлисская знать заполняет гостеприимные покои обрусевшего шляхтича, живущего на широкую ногу.

Генерал Вольховский соглашался — полковник Потоцкий неглуп, сведущ в языках, к тому же дипломат и стихотворец. Но дозволяет себе едкие замечания; ох, не подвел бы Бестужева под монастырь.

Бестужев отшучивается: Потоцкий прежде подведет под монастырь барона Розена.

Альберт Игнатьевич (так на русский лад величали Потоцкого) вхож к командующему, баронесса и его дочери без ума от него, от французских стихов, какими он заполняет девицам альбомы, обтянутые бархатом.

У Бестужева тайный умысел — натолкнуть ясновельможного полковника на идею заступничества перед Розеном. Избавиться бы от неумолимой отправки в Кутаис. Но Потоцкому не в тягость служба, он любит Кавказ, ему невдомек, что «сердечный приятель» Александр Александрович бредит Петербургом, свободой от армейского ранжира.

Бестужев окунулся в поток новых знакомств, остановив выбор на том, кто ему всего ближе.

Мирза Фатали Ахундов — тонкие брови, ранняя седина в коротко стриженых волосах — толмач при канцелярии главноуправляющего на Кавказе (командующий корпусом совмещал две должности). У Ахундова точеный профиль, и весь он — будто выточен, Но впечатление внутренней хрупкости обманчиво. Кинжал тоже тонок.

Сперва Бестужев держался покровительственно. Ахундов моложе лет на пятнадцать, невысок чипом; татарин, и самый образованный, все же — азиатец…

У Ахундова — ни тени обиды; почтение к старшему, к страдальчеству, к писательскому дарованию. Бестужев и ее уловил, как Ахундов встал с ним вровень, покровительственный тон улетучился.

Мирза Фатали в той поре, когда они с Кондратием создавали «Полярную звезду»; пора головокружительных упований… Между прочим, выясняется, что Ахундов посвящен в историю альманаха. Бестужев онемел. Мирза Фатали бровью не повел. Русским трудно вообразить степень осведомленности молодого татарина. Увидев, как она высока, иные пугливо отшатываются — почто азиату такая образованность? Бестужев ценит и чужие знания.

Ахундов откровенен, но без исповедей. Любит слушать о русской словесности, так же Бестужев — о восточной литературе. Ахундов читает на память татарских поэтов и персидских.

— Перевести вам, Искандер-бек?

Ахундов изъясняется по-русски лучше, чем Бестужев по-татарски. Но, пожалуй, никто из русских так не владеет татарским и так не стремится к совершенствованию в нем.

— Вы меня поправляйте, Мирза Фатали, в том нахожу ваш долг дружбы.

Ахундов вежливо улыбается; поправляет одну ошибку из трех.

Его манили идеалы, что вывели русских офицеров на зимнюю площадь в двадцать пятом году. Бестужев почувствовал: его собеседник миновал те же неизбежные ступени, что и они, читал те же политические сочинения, вникал в перевороты, сотрясавшие европейские столицы в начале века. И для Ахундова этот век шел под знаком революционных преобразований, был пронизан духом решительных перемен.

Александр Бестужев узнавал свою молодость, давние надежды, свой приход в стан заговорщиков.

При разговорах, впрочем, столь далеко взаимная откровенность не простиралась. Бестужев свыкся уже с вынужденной недосказанностью, научился распознавать единомышленника по намеку, ровно бы невзначай кинутому словцу, по фамилии, за которой сами собой выстраиваются и другие, угадывается круг идей.

Близость порой возникала неожиданно, не требуя клятв и заверений. Достаточно того, что каждый отдает себе отчет в умонастроении собеседника и не сомневается в его памяти о далеком, но неистребимо живом декабре.

Для Ахундова все чуть-чуть осложнялось. На доверительность русских он не слишком надеялся, хотя и видел: Бестужев стал держаться как ровня, не напускает туман таинственности, однако все же не ступает далее определенного рубежа. «Ну и не надо», — усмехался про себя проницательный кавказец.

Бестужев ценил такт нового приятеля, догадывался, что мысли Ахундова текут во вполне определенном направлении,

опережая его сдержанные речи.

В государственной службе он наблюдал людей исполнительных и ревностных, оттенок мыслей которых, симпатии шли вразрез с должностью. Щуплый почтмейстер в Екатеринбурге и скромный переводчик в Тифлисе, покойный Панкратьев и ныне здравствующий Вельяминов… Столпы режима, открыто и почти открыто осуждали его, потешались над ним, привечали ниспровергателей и — служили ему, не страдая от раздвоения личности, Быть может, страдали? Быть может, режим равнодушен к подобной раздвоенности? Более того, она ему на руку? Оппозиционность выходит вместе со словесным паром…

Не вчера началось это раздвоение. Еще до роковой декабрьской поры — вольнолюбивые спичи при свечах, задернутых шторах, а утром на плацу лайковая офицерская перчатка в солдатской кровушке.

Ежели люди, рисковавшие всем, что даровано человеку, нет-нет да и предавались сомнениям (для себя, смертельно уставшего от раздвоенности, Бестужев не делал исключения), то удивляться ли раздвоенности других, не вступивших в заговор?

Со временем Бестужев сделал и еще одно открытие: либералистские разглагольствования способны услаждать мелкую душу, обеляя ее в собственных глазах. Не напрасно барона Штейнгеля Владимира Ивановича до тошноты коробило от полупьяного вольнолюбия Булгарина на обеде у Прокофьева. Однако и честных людей, живущих в двух, казалось бы, непримиримых пластах, пруд пруди. Не будь их, давно бы истлели бестужевские косточки…

Обходным маневром Бестужев подвел Ахундова к грузинскому заговору тридцать второго года. Мирза Фатали отвечал осторожно, но достаточно вразумительно, сопровождая слова свои отрывистым жестом в сторону домов именитых тифлисцев. (Фланировали по главной улице, ведущей от рыночного майдана к штабу. Воскресенье, послеобеденный час; на Ахундове туго стянутая в поясе чоха с позументами.)

Заговор — либералистское витийствование и зыбкие дворянские планы отделения Грузии. На песке строилось и в песок ушло. Царь сердился, но не лютовал, расправился без казней и каторги — высылка в русские города. Многие уже вернулись в свои полки и поместья, к прежним должностям.

— Откуда подобная снисходительность, почтенный Мирза Фатали?

Вопрос в лоб, не укрыться в словесных дебрях. Слуге престола, инородцу надлежит верить в безмерное милосердие белого царя.

— Прямая государственная выгода…

Мягче кара — меньше шума, слабее эхо. Чему-то царя научили «друзья по 14 декабря», Но и «друзьям» не грех взять уроки…

Похоже, Мирзе Фатали Ахундову многое известно, тем более что читал и французских вольнолюбцев прошлого века.

Но так далеко любознательность Бестужева не простирается. У каждого оно свое, это раздвоение, и уважаемого человека негоже ставить в двусмысленное положение…

В беседах с Ахундовым мелькало имя Грибоедова. Тифлис для Бестужева неотторжим от него.

* * *

С Ниной Грибоедовой и ее отцом, русским генералом Чавчавадзиевым, грузинским стихотворцем Чавчавадзе, в доме Розена Бестужева свел всеобщий знакомец Потоцкий. На балу при блеске эполет и бриллиантов, мундиров, аксельбантов, обнаженных плеч. Нужно уединиться с Ниной, открыть ей, чем для Бестужева, для России был и пребудет Грибоедов.

С мягкой настойчивостью кавказца Александр Чавчавадзе зовет к себе в имение; назначен день поездки в Цинандали.

Двухэтажный особняк, как у русского барина средней руки. Только национальный узор вокруг окоп, на портретах мужчины в черкесках. Строгая роскошь кабинета и комнат, два рояля. На них играл Грибоедов. Нина, еще девочка, слушала, упершись локтями о черную зеркальную гладь.

В парке подметенные желтые дорожки между магнолиями и липами. Главный Кавказский хребет с карнизом фирновых льдов вытянулся зубчатой линией горизонта.

Грибоедов расхаживал с тростью по этим дорожкам, щурился на белоснежную кайму гор. Он часто щурился…

Бестужев судорожно цепляется за совпадения. Но совпадения мнимые. Грибоедов вернулся на Кавказ если не победителем, то и не раздавленным, не обреченным карабкаться по лестнице, когда тебя сбрасывают с каждой ступеньки.

И все-таки — подозрение не покидало Бестужева — многомудрого Александра Сергеевича тоже терзал вопрос, как с честью служить последекабрьской России («служить бы рад»), а не прислуживать императору («прислуживаться тошно»). Замышлял Компанию Закавказскую, обдумывал экономические прожекты. И Бестужев тратил чернила, доказывая выгоды торговли для русского владычества на берегах Черноморья, для выхода к

Индии. Кого, однако, манят идеи, выношенные изгоями? Император клал солдатские головы там, где надо было выложить товар, торить путь для коммерции…

Розовый дом в Цинандали — веселые голоса, музыка, радостная суета. Все необременительно — вино, общение, смесь языков — русского, грузинского, французского.

Поэт Григол Орбелиани недавно из России, еще не остыл от офицерских пирушек. (Был сослан за принадлежность к грузинскому заговору, как и у Чавчавадзе, седьмой разряд — служба под строгим надзором полиции.) Орбелиани тянется к Бестужеву. Какие совпадения в их участи! («И этот ищет совпадения».) Когда-то любезный Александр Александрович сочинил «Замок Венден». Недавно поручика Орбелиани занесло в достославный городок, в Венден.

Орбелиани заливается смехом; белые ровные зубы под черной щетинкой. В доме барона Шторха он — шасть в комнату к племяннице хозяина; она играла на фортепьянах. Грузин упал на колени, приник губами к кружевному подолу… Немки чувствительны, тают от стихов. Даже непонятных, — Орбелиани декламировал по-грузински.

Бестужев вымученно улыбнулся. Менее всего ему хочется вспоминать «Замок Венден». «Ненавижу в Серрате злодея…» Каховский с печатью отвержения на челе!..

Милейший Григол Орбелиани перевел на грузинский язык «Исповедь Наливайки» и сейчас нараспев читает ее.

Бестужев ожесточенно полирует ногти. Зачем этот общительный стихотворец-офицер посыпает солью его плохо заживающие рапы? Десять лет назад он встал бы и вышел, сейчас — страдальчески морщится.

Только Нина Грибоедова заметила это. Сдерживающе протянув руки, выросла между двумя поэтами. Безнадежно влюбленный в нее Григол смолк на полуслове.

Нина повела агатовыми глазами. Грибоедов не зря называл ее мадонной Мурильо.

— Александр Александрович впервые в нашем доме. Он не воспротивится, если я буду его провожатой?

…Какая наивность! Вообразить, будто молодая женщина, овдовевшая восемь лет назад, поныне льет слезы, нуждается в чьих-то утешениях!

— Мне ваше имя назвал Александр Сергеевич. Он был добр к вам. Этого достаточно, чтобы вы у нас стали желанным гостем.

Бестужев поклонился.

— Но и если б он вас не назвал, мы всегда рады русским писателям.

Бестужев снова кивнул. Однако не предложил спутнице руку.

— Мы надеемся часто видеть вас в кругу наших гостей… Это, — она указала на этажерку, — ноты Александра Сергеевича.

Голос не дрогнул; она многих водила по дому.

Невозмутимость воспитанной на европейский лад восточной женщины. Она и глаза-то прикрывала, как Грибоедов, таясь ото всех. Но таилась, сохраняя спокойное великодушие. Бестужев, винясь, почувствовал: разделяя общую жизнь, Нина оставалась в глухом одиночестве, с глазу на глаз со своим горем.

Грибоедов и после смерти недосягаем. Бестужев им восхищался, но никогда не завидовал. И в новом постижении не было зависти, только горечь: но мне не останется такой вдовы, никакой не останется.

23

Барон Розен праздновал серебряную свадьбу. Вместе с супругой он возвышался на верхней площадке беломраморной лестницы. Парадный мундир усыпан орденами, муаровая лента через плечо, редкие волосы старательно зачесаны на низкий лоб и впалые виски.

Бестужев стукнул начищенными каблуками.

— Вижу вас в отменном здравии, Александр Александрович.

Командующий обращается к нему по имени-отчеству; это — добрый знак, но Бестужев не унял беса, шевельнувшегося внутри.

— Целебны пятигорские воды…

— Чудодейственна шляпа карбонария, — не задолжал барон.

— Здравие воина в руце начальника.

Розен, удерживая улыбку, заметил, что будет начальствовать над Бестужевым в новой экспедиции.

— Пока что, ваше превосходительство, мне уготован Кутаис.

— Имеретия — не худший край.

— Точнее — «Умеретия».

Короткий хохоток барона убедил Бестужева, что командующий сменил гнев на милость, не такой, в концо концов, дурной человек.

Обмениваясь с гостями кивками и шутками, Бестужев двигался через разряженную, благоухающую толпу. К нему в длинном светло-голубом платье шла Нина Грибоедова, глядя перед собой застывшими глазами-агатами. Даже в этом людском скоплении, где каждая вторая женщина могла сойти за красавицу, вдова Грибоедова выделялась своим отрешенным великолепием. Она никого не видела, кроме Бестужева, будто они были в пустой

зале.

Он вздрогнул. Нина тихо, но не шепотом, а сдавленно произнесла:

— Убит Пушкин… Дуэль…

Достала из лифа смятый листок.

Веселое шествие обтекало их. Люди понимающе оглядывались: известный писатель и вдова известного поэта. Толпа уважает известность.

Бестужев, не взяв письма, повернул к выходу, В безввездной ночи редкие собаки отзывались на далекий вой шакалов. Лишь утренний ветер заставил почувствовать холод. Шинель он забыл в гардеробе у Розена.

Впереди вздымалась Мтацминда. С могилой Грибоедова.

По круто извивающемуся подъему он спешил к храму святого Давида. Дождался, когда откроют, и заказал панихиду по убиенным болярам Александру и Александру.

Немощный, высушенный временем священник, сострадая, взирал на поседевшего, безумно глядящего офицера в парадном мундире.

— Сын мой, до господа дойдет молитва и за того, кто не назван тобою, но чье имя в сердце твоем.

Бестужев в слезах упал на колени. Как осенило старика, что в сердце его и еще один убиенный поэт — друг далекой младости…

Убивают поэтов — умирает поэзия. Близка и его смерть.

Он жил неотделимо от Пушкина. Преклоняясь, браня, соревнуясь с ним, негодуя, надеясь убедить, удостоиться похвалы…

Последняя мечта — уйти в отставку, печататься у Пушкина в «Современнике» — рушилась, погребая его под обломками. Ему даже не дано отомстить за Пушкина, расквитаться с убийцей.

Немногое удерживало его в этой бренной, страдальческой жизни. С этого часа — того меньше.

Бестужев вернулся в свою пустую квартиру; сонному денщику Алешке Шарапову наказал никого но принимать.

Спустя три дня Бестужев написал Нине Грибоедовой о двух вершинах русской поэзии, о молнии, бьющей по вершинам…

Он писал о том, во что верил, но знал больше, чем писал. Отчаяние затопит, потом возможен жизнелюбивый всплеск. Но всплески такие все короче и реже. Темень беспросветнее.

* * *

…Потоцкий, первый собиратель тифлисских новостей,

восхищенно присвистнул. Многие охотились за этой дивной птахой, но успешно только «сердечный приятель» Алек; как говорят по-русски, — раз, два и в дамки.

Не было никакого «раз, два», Екатерина Петровна сама выказала упорство. Заметив, как переменился в лицо Бестужев, разговаривая средь бала с Грибоедовой, поняла, что стряслась какая-то беда, и исполнилась сочувствия. К бестужевской пассивности добавлялась и осмотрительность. Муж Лачиновой — генерал, прикомандирован к штабу Кавказского корпуса, менее всего хотелось очередного скандала.

Катрин, зардевшись, созналась, что пробует писать.

— Умоляю — воздержитесь от уверений: «Не женское дело».

Она сложила на груди розовые ладошки.

Очарование Лачиновой не ослепляет с первой минуты. Лишь сейчас, когда она, разрумянившись, обмахивалась веером рядом на софе, он в нее всмотрелся. Чем-то напоминает Оленьку, Олю Нестерцову… Серые глаза, смоляные брови и пшеничные волосы, косы вокруг головы, волнующая белизна тонкой шеи.

— Не только не женское, но и не мужское, — сурово поучал Бестужев.

— Однако вы, Александр Александрович… Он обреченно пожал плечами.

— Сперва от юной беззаботности, потом…

— Потом? — подтолкнула Екатерина Петровна. Терпение, кажется, не входило в число ее добродетелей.

— Горькая необходимость.

Его не удивило, когда после трех встреч в доме Розена Катрин назначила свидание у себя, удивило другое — сочувствие воззрениям и судьбе Бестужева.

Слова о воззрениях насторожили. Но не настолько, чтобы вникать в них безмолвной тифлисской ночью.

Утром, обняв Бестужева, Катрин с болью прошептала:

— Эту голову царь хотел отрубить.

Такого ему слышать не доводилось…

Вскоре выяснилось, что Катрин знакома с Пестелевой «Русской правдой», ей известны имена декабристов-южан. Своими крамольными сведениями она была обязана деверю.

Офицер штаба Второй армии Евдоким Лачинов, как а многие другие заговорщики, поплатился эполетами, ссылкой на Кавказ, где после боев, в двадцать девятом году, получил чин прапорщика. К золовке он испытывал большее доверие, чем к брату-генералу.

Бестужев не сумел упросить Катрин показать манускрипты. В их отношениях он вообще ни на чем не настаивал, уступая

Катрин первенство.

Его надежды на нее росли.

Ему не поведать всего, что скопилось, не успеть — век близится к закату. А красавица генеральша умна, грешит писательством… Чем черт не шутит.

Он открывал ей правду кавказской войны, которую не узреть с решетчатого балкона тифлисского особняка.

Лачинову изумляли познания Бестужева. До тонкостей разбирается в нравах туземных племен, свободно судит о действиях полковников и генералов. Однако это еще объяснимо: ее Александр соединяет в себе сочинителя и ученого, но откуда ему ведома мышиная возня в штабных канцеляриях, житейские дрязги, таинства бумажной волокиты? Он так возвышен, так далек от этого.

Восхищение Катрин подгоняло Бестужева, как шпоры доброго коня. Иной раз, правда, бывало больно.

— Зачем ты рвешься в эти отвратительные экспедиции? Истребляешь несчастные аулы?.. Я и Евдокима пытала: одним людям хотели даровать свободу, другим — навязать неволю?

У нее положительно мужское упорство в постижении истины. В том залог будущей повести. Не плетение кружев, не россказни досужей путешественницы, но правда, которую сам он жалкими крохами бросал публике… Ему позарез нужны ратные стычки — как это втолкуешь? — без них удушье, плесень, недуги. Бой сулит награду, новый чин, вожделенную отставку.

Об отставке он умалчивает, умалчивает о химерических планах какой-либо выгодной женитьбы…

Но разглагольствует о присяге, политических мотивах. России необходим Кавказ, кулак под носом Порты, противовес ненасытному Альбиону.

— Тебя утомляют, Катрин, политика и география?

— Нисколько. Я хочу уразуметь, в чем виноваты несчастные горцы? В том лишь, что их аулы лежат на пути России к великому ее жребию?

Она сидит у зеркала, чешет гребнем пшеничные волосы, подсвеченные солнцем, укладывает вокруг головы косу, доставая шпильки, зажатые в зубах.

Встав от зеркала, Лачинова припоминает, как Евдоким рисовал ей будущее России. Набравшись государственной мощи, русский народ обретет свободу и братски дарует ее всем народам страны.

— Нам самим не худо поучиться вольнолюбию у горцев, — размышляет вслух Бестужев. — Но история жестока.

— Жестоки люди.

Бестужев пытался доказать собственную правоту. Конечно, личность отпечатывается на истории.

— И меняет порядок вещей? — воспряла Катрин.

— Нет. Александр Македонский и Наполеон были велики, но история не пошла за ними, взяла свое.

— Однако платили люди, тысячи…

У себя дома Екатерина Петровна мелким почерком заполняла разлинованные страницы дневника. Делала это, вняв Сашиному совету, по-французски («Наши аргусы и в русской грамоте не сильны»).

Бестужев испытывал удовлетворение, какого не давали прежние романы: он обманет судьбу, оставит с носом своих гонителей, Расскажет о Зассе (горцы окрестили его «шайтаном») и о Ермолове, Вельяминове, о той, насколько выгоднее в высших интересах гуманный военачальник.

Бестужев уверовал в будущую книгу и заклинал Катрин: «Пиши, пиши, пиши».

Ей слышалось: «Прощай, прощай, прощай». Но она выспрашивала, каков собой Засс, радуя Бестужева ненасытной любознательностью.

— Ты нарисуй чудовище — хромой, багровая рожа, глазищи набухли кровью. Фраза эта, кажется, императора, однако в ней немалая правда: «Русские дворяне служат государству, немцы — нам».

Катрин наморщила гладкий лоб, стараясь усвоить еще одну истину.

Бестужев обнял ее, простоволосую: «Пиши, пиши, пиши».

В ответ он хотел услышать клятву сдержать обещание [42].

Она коснулась губами его лба.

Он снова квартировал у Потоцкого; после обеда и допоздна на столе самовар, серебряный кофейник, кувшины с вином, блюда с фруктами.

Едва начнется любое застолье, вскоре снова — Пушкин, смерть… Потоцкий горячился: закатилась звезда, уничтожено божество.

— Смею тебя уверить, Алек, Мицкевич этого не простит, он из Парижа пошлет картель Дантесу…

Где бы Бестужев ни оказывался, он слышал все то же. Будто ему выражали сочувствие как близкому другу Пушкина. Дружба не возбуждала сомнений.

И в тифлисских домах — печаль, негодование. У Ахундова брови сведены в узкую, как углом прочерченную линию между бледным лбом и глазами.

— Хочу воздать гению Пушкина. Сочиняю поэму.

Бестужев поддержал: Пушкин воспел Кавказ, его муза внятна всем языкам и сословиям. Теперь он в этом удостоверился, как никогда до сей горькой поры.

Самого Бестужева не тянуло писать, что-то надломилось, смерть Пушкина углубила надлом.

Кончен их долгий союз-спор. Для Пушкина спор давно, вероятно, иссяк. Бестужев все еще сравнивал, то гордился своим первенством, то уступал его, клял собственную малость. Не состязание длилось — его, Александра Бестужева (Марлинского), жизнь, неприкаянная, сумеречная; лишь далекий свет — Пушкин. Свет угас. Всеобщее горе доказало победу Пушкина и печальную, растянувшуюся на годы неправоту Бестужева…

Коли Пушкин покинул этот мир, давно загнанному в угол Бестужеву и вовсе ничего не остается. Желание вывести себя «в расход» крепло. Довольно жалких уверток, от судьбы не укроешься и в пылких объятиях Катрин. Он просвещал и заклинал ее, угадывая роковой исход.

Жажда жизни, однако, неиссякаема. Хотя все запасы энергии израсходованы.

Отправиться в экспедицию (даст бог, забудешься, беснуясь в сече) или, послав к чертям все, затаиться где-нибудь в тиши?

Затаиться не удавалось, приказано после похода отбыть в Кутаис. Задача похода — смирить Цебельду, морем выйти к мысу Адлер, овладеть им, укрепиться среди скал и расселин (подле такой дороги Фермопилы — Невский проспект). Обосновавшись, дождаться царя.

Барон Розен лично возглавлял экспедицию, с ним поедет генерал Вольховский, который обещал держать Бестужева своим адъютантом.

Ранней весной Бестужев прибыл в боевой лагерь на песчаном сухумском берегу. Накануне отъезда в Сухум он писал матушке: «Страх есть чувство мне неизвестное. Что будет, — будет; чему не быть, — не бывать. Это моя вера».

Оплакивающий Пушкина Тифлис далеко. Однако тифлисские собеседники Потоцкий и Ахундов включены в экспедицию. Снова, снова о Пушкине…

Радуйся морю, слушай шелест платанов, утром бросайся в волны. Но и в этот рассветный час не по себе. Благословенный край во власти невежества и угнетения.

Отряд вызволяет русских солдат, плененных горцами либо бежавших к ним и сделавшихся рабами. Рабы рабов…

Не нужно большой прозорливости, чтобы угадать, как дорого обойдется подарок императору — мыс Адлер.

«Не знаю ничего гибельнее для занятий умственных, как

военная служба, — пишет Бестужев Ксенофонту Полевому, — она не только отнимает настоящее время, но истребляет всякую привычку к занятиям в будущем».

«Что чахоточная словесность наша? — что ее поклонники и работники? Мне все и вся надоели».

Он уже распорядился, кого из братьев какой суммой ссудить. Из-под Сухума напоминает Елене: шесть тысяч рублей Николаю и Михаилу, им же про запас четыре тысячи; с Павла не взыскивать две тысячи, которые задолжал… Хорошо бы получить от Павла перстень с резьбой и эмалью, с восьмиугольным аметистом для гербовой печати. Это станет памятью о младшем брате. Если брат поспешит…

После гибели Пушкина барон Розен помягчел к Бестужеву. Гуляючи на сухумском берегу (сухой песок скрипел под сапогами), барон рассказал, как еще два года назад взывал к императору отставить Бестужева от службы из-за дурного здоровья.

Розен теребил редкие волосы, страдальчески морщил лоб.

— Велено было сохранить вас в прежнем положении и держать подальше от прочих…

Не посвященный во многие обстоятельства гибели Пушкина, Бестужев догадывался, что царь удовлетворенно потирает руки.

Лицо императора не удержалось в памяти, портреты врали, а нервно дрожавшая белая кисть, пальцы с длинными, узловатыми фалангами, розовыми закругленными ногтями — на черном лакированном столике запомнились. Царь старался унять дрожь, бесплодие усилий еще более его озлобляло…

«Доложат, что мне каюк, мстительно потрет руки». Бестужев снова увидел бледные пальцы, что радостно трутся друг о друга.

Вечером в каюте командующего собралась свита, был зван и Бестужев. Барон Розен участвовал в общем разговоре о Пушкине и повернулся к Бестужеву, когда речь зашла о поэме Ахундова.

Ахундов встал, стройный, легкий, ловко затянутый в летний мундир.

Вольховский усомнился, — обществу далека поэма, написанная по-татарски.

— По-персидски, ваше превосходительство, — уточнил Ахундов.

— Нашему брату что персидский, что татарский — один шут, — внес ясность Розен.

— Господин Бестужев сведущ в татарском и в персидском, — ответил Ахундов.

— Отлично, — подхватил Розен. — Бестужев переложит поэму на русский язык. Кавказ стихами почтит память убиенного

гения.

Высказывание это звучало излишне смело; до Черноморья донеслась молва о стихах молодого петербургского офицера, винившего двор в гибели Пушкина. Вскоре, ждал Розен, автор окажется у него под началом. Если не укатают в Сибирь…

Той же ночью Бестужев и Ахундов взялись за дело. Переводчика увлекала восточная красочность слога, он соглашался и с ахундовским расположением звезд на небосклоне русской словесности.

«Державин завоевал державу поэзии — но властелином ее Пушкин был избран свыше.

Карамзин наполнил чашу вином знания — Пушкин выпил вино этой полной чаши…»

Ахундов не возражал, когда Бестужев, сохраняя пышность строк, кое-что уточнял и вместо «О, жертва смерти» ставил: «Убитый злодейской рукой разбойника мира!»

Бестужев видел, что на бумаге Ахундов словоохотливее, чем в общении. Поэтому его обрадовала похвала «Мулла-Нуру»: ни один русский не постиг столь верно и сочувственно кавказца, не описал его с такой правдивостью.

Дни, завершавшие экспедицию в Цебельду, Бестужев отдал переводу. Он прощался с Пушкиным строфами Ахундова.

24

3 нюня отряд барона Розена, разместившись на семнадцати кораблях, вышел из Сухумской бухты и взял курс на Адлер.

Бестужев, как адъютант Вольховского, вместе со штабом плыл на борту сорокачетырехпушечного фрегата «Анна».

Море успокаивало, отдаляло от земли. Когда Розен, не приказывая, не прося даже, между прочим бросил, что не худо бы взбодрить солдат лихой песней, — ветер капризничает, многих укачало, сражение грянет жаркое, — Бестужев насторожился. Что барону известно о песнях, которые когда-то он сложил вместе с Рылеевым?

Через минуту у Розена вылетело из головы. Подумал о солдатской песне, под боком — сочинитель, только и всего.

Бестужев взыграл, велел заспанному Алешке принесть походную чернильницу и бумагу. Устроился в затишке, на корме.

Плывет по морю стена кораблей,

Словно стадо лебедей, лебедей…

Он осмотрелся по сторонам. Белые фрегаты, покачиваясь, рассекали зеленовато-синие волны. Возле ноги вперевалочку ползла мохнатая гусеница. Как ее занесло сюда? Мир был полон чудес. Но песня должна восславлять совсем иное чудо. Стрелки, что лежат вповалку на палубах, маются морской болезнью, высыпят на враждебный берег и — бегом вперед. Волны вопрошают:

Уж не будет ли турецкая кровь

Нас румянить по-старинному вновь?

Тучи подхватывают!

Уж недаром слетаются орлы,

Как на пир, на черкесские скалы…

Пир будет кровав. Рекрутам это невдомек, но ефрейторы-усачи знают, что почем на цветущей кавказской земле. Ловкость понадобится, спайка, отчаянный бросок под защитой корабельных пушек.

А чуть на мель, мы вперед, усачи,

Сумы в зубы, в воду по пояс скачи…

Беглым шагом на завал, на завал,

Тому честь и крест, кто прежде добежал…

В рукопашную пали и коли,

И вали, и усами шевели…

Валиться будут не только черкесы; кресты не только на грудь, но и могильные. Ради чего боевые кличи мешаются с последним стоном?

Незамутненно веря в праведность войны, Бестужев когда-то тиснул в «Тифлисских ведомостях» «Солдатскую песню»:

За святую Русь — вперед!

Все вперед, все прямо…

Это на Кавказе-то — прямо… Он безрадостно усмехнулся, задержал перо в чернильнице с бронзовой крышкой. Не за святую Русь падут солдаты при Адлере. К чему обманывать их, себя?

Нам похвально, гренадеры, егеря,

Молодцами умирать за царя.

Длинновата песня — два десятка куплетов. Но запоминается. Благо в исконно русском стиле, в манере разговора.

Барон Розен с Вольховским спасались от солнца под тентом, курили в походных креслах на носу фрегата. Выслушали, похвалили. Вольховский, покусывая ус, напомнил, что Бестужев учит не токмо солдат, но и офицеров, в «Мулла-Нуре» имеется практическое описание, как форсировать горные потоки. (Бестужев благодарно подумал о Вольховском: читает, не упускает повода внушить командующему симпатии к опальному прапорщику.)

Розен спросил, на какой мотив поется «Адлерская песня»? Бестужев напел «Как по камешкам чиста реченька течет…»

Последовал приказ писарям размножить текст, не медля, учить во всех взводах. Барон обещал доложить о песне императору.

Менее всего Бестужев хотел, чтоб царю докладывали о его песенном сочинительстве. Недолго связать новые куплеты со старыми…

В своей каютке Бестужев повалился на койку. С лёта писавшаяся песня опустошила его. В ней — прощание с морем, с комочками облаков в полуденной сини, с молодыми солдатами и усачами-ефрейторами.

Он настолько свыкся с чувством прощания, что, не понуждая себя, вел обычную жизнь. Писал письма, выполнял необременительные обязанности адъютанта. Даже сложил песню; полюбится солдатам — переживет автора. Век доброй песни дольше человеческого. Но скорее всего, возьмут мыс Адлер и — канет в Лету «Адлерская песня»…

Не давало покоя письмо, отправленное матушке и Павлу накануне выхода в море. Он никогда не рисовал свое житье слаще, чем оно было; искренность с близкими — первая заповедь.

Но в этом письме к родным слишком много прощального. И в денежных распоряжениях, и в поцелуях, посланных «петровским братьям», и в просьбе о матушкином благословении, и в целовании образа, даже в привете всем, кто не поминает лихом…

Бестужев сделал приписку, обращенную к Павлу:

«Обнимаю тебя, любезный брат. Если не приведет бог свидеться, будь счастлив. Ты знаешь, что я любил тебя много. Впрочем, это не эпитафия; я не думаю и не надеюсь умереть скоро, но все-таки, на всякий случай, лучше проститься. Не худо сделаешь, если задержишь письмо к матушке до следующего известия, чтобы не дать ей напрасного беспокойства».

Он звал смерть и гнал ее от себя, готовился к смерти, особенно после известия о гибели Пушкина, и готовился — нерешительно, растерянно — к дальнейшей жизни.

Противоречивые начала забирали силы, нужные, чтобы встретить череду дней, таящихся в тоскливой неизвестности…

6 июня гренадеры распевали песню, сочиненную прапорщиком Бестужевым. Он подошел к взводу и затянул вместе со всеми.

Вот когда, вот где сбылось — услышал, как солдаты поют его песню, пел с ними… Да слова не те…

Солнце стало в зенит, и эскадра бросила якоря. Шхуна «Гонец» пустилась разведать берег для десанта да мыс Адлер.

Бестужев хотел в шхуну, но его задержал Вольховский. Требовалось расписать порядок, в каком высадятся роты, определить значки для каждой гребной лодки во избежание путаницы при высадке.

Вольховского тревожит полное неведение насчет противника. Бинокль упирается в таинственный горны кряж, непроницаемую чащу.

Нагнувшись над бортом, Бестужев вместе с Потоцким смотрит на черную воду, зыбкую серебристую дорожку, отражающую луну.

— Вы — счастливец, Альберт Игнатьевич, видели океан… Мне не суждено насладиться океанским простором. И Пушкин…

— У вас, милый Алек, многое впереди, — Потоцкому не нравится настроение Бестужева.

— Впереди у меня…

Бестужев складывает три пальца.

Потоцкий опускает мягкую ладонь на плечо Александра. Откуда печаль? Солдаты поют его бравую песню. О ней узнает император.

Бестужев осторожно снимает руку Потоцкого и, пожелав доброй ночи, уходит в свою тесную каюту.

На рассвете, не вставая с корабельной койки, кладет листок на табурет, привинченный к полу. За двойным стеклом круглого окна зеленеет мыс Адлер.

«Если меня убьют, прошу все, здесь найти имеющееся… («нескладно, бог с ним, разберут…»)… платье отдать денщику моему Алексею Шарапову. Бумаги же и прочие вещи небольшого объема отослать брату моему Павлу в Петербург. Денег в моем портфеле около 450 р.; до 500 осталось с вещами в Кутаиси у поручика Кириллова. Прочие вещи в квартире Потоцкого в Тифлисе. Прошу благословения у матери, целую родных, всем добрым людям привет…»

Запнулся. От кого привет? Для солдат он — «их благородие». Для людей, с которыми сводила судьба, он был государственным преступником, ссыльным, разжалованным, был путешественником, наблюдателем, сочинителем, был нижним чином…

Он всматривался сквозь корабельное оконце в утреннюю игру волн.

«…привет русского».

Кем бы он ни был, но жил для России, жаждал ее благоденствия.

В кубрике, где пахнет щами и жареным салом, солдаты обряжаются в чистые нательные рубашки. Чарка поутру — обещание высадки.

Бестужев с трапа наблюдает за этими совместными — без слов — приготовлениями к схваткам, к смерти.

Ветер, менявший направление и силу, вынуждая крейсировать вдоль берега, теперь стих, корабли застыли полукругом на пушечный выстрел от суши, Люковые орудия ощупывают берег.

Контр-адмирал Эсмант, барон Розен и Вольховский, укрывшись под полосатым навесом, в подзорные трубы рассматривают заросли.

Чужой в душном кубрике, Бестужев и здесь никому не нужен.

— Владимир Дмитриевич, — Бестужев сзади приближается к сосредоточенному Вольховскому, на котором белый чесучовый сюртук, тяжелые эполеты с бахромой.—

Я разом с солдатами.

— Нет нужды; место адъютанта подле генерала.

Смягчая начальственную резкость, Вольховский цедит относительно жизни Бестужева, коя дорога всем.

— Всем? — саркастически удивляется Бестужев.

Не желая того, Вольховский задел больное место. Бестужев уверен: ему самому впору быть генералом. С Вольховским они

погодки, тот был замешан в заговоре, теперь, однако, начальник штаба корпуса, а он — сорокалетний адъютантишка с растущим животом, чье место в цепи определяют другие, поелику «дорожат» его жизнью.

— Слушаюсь, ваше превосходительство!

— Полно, Александр Александрович, — примирительно отозвался Вольховский. — Дело заваривается горячее. У черкесов укрытия, окопы. Станут стрелять с деревьев, из-за камней…

«А вы ожидали хлеба-соли?»— хотел огрызнуться Бестужев, но прикусил язык. Он высадится вместе с Вольховским, Розеном, однако на берегу…

Грянули полтысячи корабельных орудий. Мыс затопило дымом. Но гранаты не слишком опасны черкесам в их глубоких рвах. Вольховский прав: дело начинается куда какое жаркое.

Бестужев выпрыгнул из лодки до того, как плоское дно ее прошуршало по песчаной отмели. Зачерпнув сапогом воду, бегом в окоп, рубанул шашкой не успевшего удрать горца.

Лодка за лодкой подходили к берегу. Стрелки, согнувшись, быстро проскочив открытое место, исчезали в зеленых зарослях.

Авангардом командовал худощавый, подвижный капитан Альбрандт. Разгоряченный Бестужев крикнул ему что-то веселое. Он старался не отставать.

Следом за мингрельской милицией в пестрых одеяниях высадился штаб. Вольховский сложил рупором руки: «Бестужев! Бес-ту-жев!» Эхо повторило: «Шев!» Насмешливый голос откликнулся: «Еще жив!»

Цепь капитана Альбрандта втягивалась в чащу, продираясь сквозь заросли.

Альбрандт выскочил около Бестужева:

— Кажись, оторвались от своих, Александр Александрыч…

— Какая теперь ретирада! Постреляют не хуже куропаток!

В голосе Бестужева радостное возбуждение, Альбрандт недоуменно покосился на него. Отступать разумнее, чем гибельно отрываться от главных сил и соседей. Черкесы освоились после первого натиска, бьют из укрытий, не жалея пуль и пороха.

До берега было уже добрых версты три, впереди — лесной аул; горцы не уступят его задаром.

Капитан Альбрандт скомандовал своим стрелкам отходить по одному, отстреливаясь из ружей.

Распрямившись, Бестужев грузно ломился через гибкое сплетение ветвей, колючий кустарник трещал под мокрыми, в болотной грязи сапогами, Он не слышал посвиста пуль, залихватских выкриков черкесов. Сердце стучало гулко, кровь толчками билась в жилах…

* * *

Вечером в палатке темно и прохладно. Огарок бросает свет на угол стола, где, склонив набок голову, пыхтит писарь.

Дежурный штаб-офицер капитан Агеев гоголем расхаживает по палатке, через плечо писаря посматривает, как составляется «Ведомость убитым и раненым при занятии десантом мыса Адлера 7-го июня 1837 года». Каждая буковка сама по себе, любо-дорого глянуть — восточная миниатюрка, да и только.

Когда капитан вошел, писарь трудился, напевая под нос: «Плывет по морю стена кораблей, словно стадо лебедей, лебедей…» Куплет прицепился к Агееву, он весело мурлычет: «Словно стадо лебедей, лебедей…»

Командующий выразил свое удовлетворение десантом, среди отличившихся упомянул и Агеева. Несмотря на яростную оборону черкесов, мысом Адлер завладели без лишних потерь. (Убито четыре офицера, одиннадцать нижних чинов, ранено тридцать четыре нижних чина.) Розен пожурил Альбрандта — увлекся отчаянный капитан, но удаль молодцу не в укор. Поутру солдатам рубить лес, расчищать местность для будущего укрепления Святого духа. Так ему именоваться, а мысу Адлер, с высочайшего его императорского благосоизволения, — мысом Константиновским.

Все это сулит ордена, новые чины, и, сменившись с дежурства, капитан Агеев вместе с приятелями осушит бокал.

— Ваше благородие, — писарь поднимает слипающиеся глаза, — докладывают насчет прапорщика линейного нумер десять батальона господина Бестужева…

— Докладывают — исполняй.

— Их превосходительство генерал Вольховский сказали…

— Не тебе сказали — не твоя забота.

В раздел «убиты» писарь вносит прапорщика «Безстужева».

— Дурак ты, дурак, — сокрушается капитан Агеев. Он помнит: Бестужев писался только через «с». Но какое это имеет значение… Командующий не выносит помарок, из-за лишней буквы затевать новую ведомость — не резон.

— Дурак ты, дурак, — досадливо повторяет Агеев, щелкая гравированной крышкой часов. Длинный, однако ж, день. — И песня твоя дурацкая: «Словно стадо лебедей, лебедей…» — передразнил капитан.

Писарь спешил кончить ведомость, — спать хотелось нестерпимо; свеча чадила, фитилек дрожал, догорая.

Вместо эпилога

К легендам, клубившимся вокруг имени Шамиля, прибавилась новая: отныне у него помощником русский офицер, обратившийся в магометанство.

Перебежчики — не редкость. Но этот не такой, как все: был знаменитым писателем, теперь начальствует над черкесской артиллерией, издает в горах газету…

Линейный казак повстречал сподвижника Шамиля и узнал его: Бестужев! Глаза черные, усы густые; малость постарел, однако на карабахском жеребце сидит молодецки, песню поет про лебедей. Наказал, чтоб его не искали, отныне он русским чужой…

Очевидец вызвал недоверие; ранее пронесся слух, что Бестужев не помощник Шамиля, а и есть сам Шамиль.

В целях установления истины казака заперли в «холодную», и вскоре он усомнился в своей встрече. Если начистоту, то не он видел черноглазого перебежчика на коне, знакомый матрос сказывал…

Меж тем поступали новые подробности.

Офицер, попавший в плен, живет, не тужит в Лазистане, привечаем туземцами, у него пять жен, одна — редкостная красавица. От родины не отрекся, от сочинительства не отказался; допишет повесть, вернется в Петербург, посрамит своих недругов.

В других устах эта история, сохраняя за Бестужевым место жительства в Лазистане, звучала более воинственно: собрал шайку головорезов, разбойничает на дорогах…

Вести были противоречивы и тревожны. Командование отрядило курьера договориться о выкупе. Черкесы получат за Бестужева двести пудов соли.

Горцы несказанно обрадовались, — они не чаяли избавиться от прапорщика, спьяну угодившего к ним в руки и смертельно всем надоевшего. Они пьянчугу Вышеславцева без всякой соли отдадут…

Путаница это! Вышеславцев ни при чем. Бестужев послал с нарочным бумагу главнокомандующему: он-де в плену, но не изменил родине и вере отцов. Связному велено скакать обратно, вручить пленному засургученный пакет с коротким распоряжением: «Александру Бестужеву не сметь возвращаться до полного покорения Кавказа, иначе он сгниет в крепости».

Но и эта версия, вовлекшая в легенду командующего и сановных лиц (письмо Бестужева с фельдъегерем якобы отправлено в Петербург), вызвала протест. У Бестужева,

возмущались опровергатели, совсем другой жребий. Он укрылся отшельником в глухих горах, где именно, знает лишь его воспитанница, юная черкешенка Нина, — сирота, подобранная им, когда сожгли аул. Иногда к ней в хижину наведывается Искандер-бек. Иногда Нина, боготворившая своего спасителя, отправлялась к нему вместе со здоровенным рыжим псом, носившим странную кличку — Декабрь. Так и жили эти двое — беглый русский офицер и юная черкешенка, — отгороженные своей тайной от всех людей. Потом офицер уехал за границу, у девушки с горя помутился рассудок, она умерла…

* * *

…Писарь, составлявший «Ведомость убитым и раненым», напевая про стадо лебедей, споткнулся перед фамилией Бестужева неспроста. На сырой адлерской земле тела Бестужева не нашли. Рассказы очевидцев его гибели столь между собой несхожи, что принять их за чистую монету — принять грех на душу.

Обычный обряд, именуемый «обмен телами», ничего не дал, — трупа Бестужева не было. Оставалось допустить, будто он изрублен в куски (кто-то видел, как папахи с саблями накинулись на упавшего офицера). Допущение обрастало деталями. У кого-то из горцев видели пистолеты Бестужева, кто-то вроде бы продавал его перстень…

Все расплывчато, шатко. Только бездыханное тело, преданное земле, подтверждает смерть. Когда такого доказательства нет, плодятся сомнения, надежды, апокрифы.

Бестужева не раз хоронили, сам он не раз предрекал свою кончину, и теперь люди не мирились с его гибелью. Слишком долго, назло всем смертям, он искал приключения.

То, что он искал покоя, безмерно устал от гонений и недугов, известно было единицам.

Слухи, один невероятнее другого, распространялись, начиная с закатного часа, когда Бестужев исчез. Свидетелям несть числа, среди них и такие, кто не участвовал в адлерском десанте…

Для офицера-кавказца раньше было достаточно выдать себя за друга Бестужева, и распахивались двери именитых домов Петербурга, Москвы. С июня тридцать седьмого года таким магическим действием обладало заверение: «Я видел смерть Марлинского».

Мемуаристы-ветераны подхватили россказни, каждый в меру собственного воображения расцвечивал свои записи. Не отставали

и беллетристы, соблазненные головокружительными сюжетами. Интерес не угасал, апокрифы множились.

Еще когда история Ольги Нестерцовой, украшенная бесконечными домыслами, гуляла по жаждущим сплетен петербургским гостиным, Бестужев, философствуя, написал Ксенофонту Полевому: люди так любят все чудесное; естественный ход вещей для них не в угоду.

Естественный ход вещей слишком уныл, Бестужев взламывал его. Своей судьбой, зычными командами на Петровской площади, резким, как удар клинка, письмом императору, сочинениями, манящими в романтическую даль, где невероятное сопутствовало беспощадно обыденному. За цветистыми строками вставал человек, упрямо одолевавший неодолимые преграды. Победитель в проигранном сражении. Смерть, вызвав небылицы, тоже оборачивалась победой.

В легендах этих Бестужев упорно продолжает самого себя, своих героев, писателя, покорившего читающую Россию под прозрачной маской Марлинского. Воплощались не успевшие воплотиться возможности, исправлялось оставшееся позади; колебания, терзавшие его ум и душу, возрождались легендами. Можно сомневаться в их достоверности, отрицать ее, но логическая вероятность каждой вне сомнения.

Легендарный Марлинский совершал то, что мог совершить Бестужев, сохранив вольнолюбивые идеалы и любвеобильное сердце. Кто за него поручится, кто знает наверняка, как распорядился бы он собой, если бы не искал и не нашел смерть в душных, словно парники, чащобах летнего Адлера.

notes

Примечания

1

Утренний час ценнее золота (нем.).

2

Цвет «совершенной невинности», «неземной улыбки», «подавленного вздоха» (фр.).

3

Филиппоны — религиозная секта, отделившаяся от беспоповщины.

4

Зимцерла — как считалось, имя одной из богинь славянской мифологии.

5

Господин Александр — истинный поляк (польск.).

6

Пушкин пользуется именем Вальтера Скотта, обращаясь к Бестужеву.

«Исторические песни» (польск.).

8

Сумасшествие (нем.).

9

Моя вина (лат.).

10

В Смольном монастыре воспитанницы младшего возраста носили платья кофейного цвета, среднего — голубые, старшего — белые.

11

Все кончено, покажите теперь пример мужества (фр.).

12

Девиз (итал.).

13

Имеется в виду насильственная смерть жены придворного ювелира Араужо после того, как Константин Павлович ее обесчестил.

14

Покончить с этим правительством (фр.).

Так называли тогда интуицию.

16

Любитель (фр.). Здесь — дилетант.

17

Опера Вебера «Фрейшютц» («Вольный стрелок»), популярнейшая в те годы.

18

Другу — грудь (лат.).

19

«Отряд обреченных» (фр.).

20

Делать хорошую мину при плохой игре (фр.).

21

Сколько угодно (фр.).

22

Ахилл — кличка, полученная Батюшковым при вступлении в литературное общество «Арзамас». Из-за постоянных тяжелых болезней Батюшкова кличку обращали в каламбур.

23

Второе «я» (лат.).

24

Цареубийца.

25

Кошелек, мошна.

26

На следствии выдвинули версию: десятка и четверка — 14 декабря, туз бьет короля.

27

Утверждение приговора.

28

Приговор.

29

Солдаты или унтер-офицеры, надзирающие за арестованными, приводящие в исполнение приговор о телесном наказании.

30

Гневливое племя поэтов (Гораций) (лат.).

31

Нет большего горя, как вспоминать о счастливом времени в несчастье… (итал.).

32

Впоследствии М. И. Муравьев-Апостол, будучи в Якутске, обратил внимание на эпитафию на гробнице Михалевых. Она произвела такое сильное впечатление, что он ее списал. Позже узнал: автор — А. Бестужев.

Им был С. Шевырев, отлично знавший, кто автор поэмы.

34

Как, кузен, вы тоже виновны? (фр.).

35

Возможно, виновен, но вам я не кузен (фр.).

36

Носилки, влекомые мулами.

37

Картонный обруч, обтянутый бархатом.

38

Большой пасьянс.

39

Плоская сторона клинка холодного оружия.

40

Н. В. Мейер — прототип доктора Вернера в романе М. Ю. Лермонтова «Герой вашего времени».

41

Я (фр.).

42

В 1844 году вышла книга Е. Хамар-Дабанова «Проделки на Кавказе», сразу же изъятая из продажи и уничтоженная. Запрещена была и хвалебная статья в «Отечественных записках», в номере, подготовленном к печати. (Статья анонимная, ее автор, как выяснилось, В. Белинский.) Под псевдонимом «Е. Хамар-Дабанов» скрывалась Екатерина Петровна Лачинова, жена генерал-лейтенанта Кавказского корпуса, тут же взятая под полицейский надзор. Граф Чернышев, прочитав «Проделки на Кавказе», изрек: «Книга эта тем вредна, что в ней что ни строчка, то правда».

Герой повести — честный и великодушный Александр Пустогородов разжалован и сослан на Кавказ за участие в политическом заговоре. Кавказская жизнь, война, походы, нравы офицерства, административные мерзости… В самом Пустогородове немало от Бестужева. Но многое взято также у Евдокима Лачинова. Существует мнение, что он не только дал материал Екатерине Петровне, но и соучаствовал в написании. Е. Лачиновой потребовались годы, чтобы создать книгу, но волю Бестужева, ставшую последней, она выполнила.